# Новый Журнал

122

THE NEW REVIEW

## ИЗДАТЕЛЬСТВО YMCA — PRESS

книжный магазин: Les Editeurs Reunis 11, Rue de la Montagne-Ste-Genevieve

75005 Paris France

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА YMCA — PRESS US S
TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER
СОЛЖЕНИЦЫН А. — Архипелаг ГУЛаг, том III (части V-VI-VII) 10,25
СОЛЖЕНИЦЫН А. — Бодался телёнок с дубом (очерки
литературной жизни)11,50
и все произведения Солженицына
АЛДАНОВ М. — Истоки (роман, в 2-х томах, об "истоках"
Революции в историческом прошлом России) 10,45
БЕРБЕРОВА Н. — Облегчение участи (6 повестей)
БЕРДЯЕВ Н. — Русская идея (основные проблемы русской мысли
XIX и начала XX вв.)
БЕРДЯЕВ Н. — Миросозерцание Достоевского 5,75
БЕРДЯЕВ Н. — Смысл истории
БУЛГАКОВ С. прот. — Православие
БУЛГАКОВ М. Собачье сердие
ВЕЙДЛЕ В. — О поэтах и поэзии (сборник статей)
ГИППИУС 3. — Дмитрий Мережковский
ГЛАДКОВ А. — Встречи с Пастернаком
ГЕРЦЫК Е. — Воспоминания (Бердяев, В. Иванов, Волошин,
С. Булгаков, А. Герцык) 5,75
новинки европейских издательств:
ВЕСТНИК Русского Христианского Движения (Париж — Нью Йорк — Москва),
ежеквартальный журнал, номер 117 6,00
ИВАНОВ Г. — Собрание сочинений (с изд. 1912-1956 + Неизданное) 39,60
КАМЕНЕВ Л. — Чернышевский (с изд. 1933), стр. 193, Израиль 1971 12,75
<b>ЛЕОНТЬЕВ К.</b> — Собрание сочинений (с изд. М. 1912), 4 тома 145,50
"МЫ" — Стихотворения Бальмонта, В. Иванова, Ивнева, Кусикова,
Никулина, Пастернака, Рубановича, Хлебникова, и др.
(с изд. 1920), стр. 63, Израиль 1969
ОДОЕВСКИЙ В. — Романтические повести (с изд. 1929)
"СТЫК" — Первый сборник стихов московского цеха поэтов (предисл.
А. Луначарского) (с изд. М. 1925)
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ter = tr
ТОЛСТОЙ Л. — В чём моя вера (с изд. тома 23 1957) 3,85
ХЕТСО Г. — Евгений Баратынский, жизнь и творчество (Осло 1976) 21,90
не посылайте пожалуйста денег вперед!
КАТАЛОГ 1976 ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

# THE NEW REVIEW HOBЫЙЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

Тридцать пятый год издания

#### РЕДАКЦИЯ:

Г. Андреев (Хомяков), Р. Гуль (главный редактор), Л. Ржевский Секретарь редакции: Зоя Юрьева

NEW REVIEW, March 1976
Quarterly No. 122
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$20 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.

### ОГЛАВЛЕНИЕ

Дм. Кленовский — Стихотворения	5
Ю. Мамлеев — Голубой	8
И. Чиннов — Стихи	14
А. Коротюков — Одолжение	16
<i>E. Таубер</i> — Стихи	25
В. Перелешин — Стихи	26
А. Герц — К вольной воле заповедные пути	27
А. Величковский — Стихи	77
<i>М. Крепс</i> — Стихи	78
Г. Андреев — Минометчики	79
Н. Моршен — Иванушка	111
Ю. Иваск — Венеция Мандельштама и Блока	113
А. Раннит — Поль Сезанн	126
Г. Глинка — Стихи	127
Н. Арсеньев — А. Н. Толстой	128
А. Волохонский — Стихи	141
<i>Р. Герра</i> — Профиль Шаршуна	142
воспоминания и документы:	
Письма Андрея Белого (публ. Роджера Кийза)	151
О. Чернова — Холодная зима	167
С. Луцкий — Exodus 1947	183
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
В. Варшавский — "Чевенгур" и "Новый Град"	193
В. Зубов — Киноманы и киноклубы в СССР	
Ф. Силницкий — Коммунистический блок	228
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: Письма в редакцию: Поправка Б. Суварина, Об "Аскания Нова" Ник. Набокова, О слушании Сахарова Э. Эстергаза и О. Ф. Андресена, Я вас обвиняю г-жа Шаховская Б. Караватского	241

БИБЛИОГРАФИЯ: Е. Климов — В. Гращенков. Рафаэль. И. Бэр
— N. Ingham. E. T. A. Hoffmann's Reception in Russia Ф. Сил-
ницкий — Р. Купчинский. Национальный вопрос в СССР.
В. Рудинский — Поругание Пушкина (о книге А. Терца). Ю.
Иваск — Вяч. Иванов. Собрание сочинений. Том II 246

Нагрянет все и навсегда Решающая переделка! Пошли мне, Господи, тогда Посимпатичнее сиделку!

Нет, мне, конечно, не нужна Красавица! К чему? Но все же Нельзя ли, чтоб была она И постройней и помоложе!

Вот если б русской! Чтобы ей Не обернулось криптограммой То, что в одну из злых ночей В бреду наговорю стихами.

Не так уж важно может быть Когда, Онегину подобна, Она хорея отличить От ямба будет неспособна.

Зато, когда наедине Останусь я с самим собою, Она глаза закроет мне Своею русскою рукою —

Как будто родина со мною Прощается в чужой стране!

Ты пришла ко мне сегодня, Но пришла во сне. Я проснулся. Старой сводней Дремлет ночь в окне. Я зову, я жду ответа! Объясни же мне Почему пришла ко мне ты Именно во сне?

Ты живешь неподалеку Пять минут пути, Ты могла бы ненароком Наяву зайти!

Я ответ твой все больнее В сердце берегу. Ты сказала "Лишь во сне я Прежней быть могу!"

Прежней будешь лишь со спящим? Все понятно мне! Приходи ко мне почаще, Но всегда во сне!

Я молюсь ему стихами Мне мерещится давно, Что общенье между нами Тем прочней закреплено,

Что порой одной строкою Вся молитва решена И летит тогда стрелою Ко Всевышнему она.

Что Он делать будет с нею Я не знаю. Может быть С ангелом мою затею Он захочет обсудить.

И велит ему пожалуй Осторожно мне внушить, Что такой молитвы мало, Чтоб просимого достичь.

Чтоб от гордости лечился, Не всегда считал, что прав, И молиться научился Без лирических приправ.

С каждым изменением названья Что-то милое идет на слом.

Город Пушкин у меня в сознаньи Царским не становится Селом.

Петроград, с его тяжелой тризною, Петербургу нашему не брат И уже совсем зловещим призраком Нынешний маячит Ленинград.

А за ним пришло на память множество Оскверненных сел и городов — Жалкое словесное убожество, Повторенье омертвелых слов.

Вновь и вновь шагами молча мерю я Кладбище погубленных имен. Что же: примириться мне с потерею Или мертвый будет воскрешен?

Может быть в часовне, за околицей, Где-нибудь в олонецкой глуши, Сам Господь наш за Россию молится, За спасение ее души?

Дм. Кленовский, 1975

# ГОЛУБОЙ

Деревня Большие Хари расположилась среди затаенного уюта приволжских лесов. Напротив — через речонку — Малые Хари, чуть поменьше домами. Сюда-то и направился отдохнуть (а скорее поразмышлять) москвич Николай Рязанов — не совсем обычный человек, совершенно стёртого возраста. Возраста, по всей видимости, вообще не было. Голова его была взъерошена, взгляд — тревожно-бегающий, а на пиджаке — значок отличника учебы. Николай как-то умудрялся сочетать тихую рациональную учебу 20-го века и службу при начальстве с общим беспокойством в душе. Даже чай пил, посвистывая. А в кармане засаленных брюк всегда носил большой, рваный от времени, блокнот с надписью: "Основные тайны". Тень этих тайн и влекла его в эту деревушку Большие Хари — что-то он прослышал о ней, содрогаясь по вечерам от стаканов московской водки.

Деревня встретила его смирно, но как-то полупомешанно. Впрочем, может быть, ему так показалось. Дальняя родственница его Марья отвела ему комнатку в уголке. И в первый же день Николай потерялся. Но не сказать, чтобы насовсем. Вышел в лес за грибком, и вдруг как-то бесповоротно, точно в голубом болоте, заблудился. Как будто ничего в мире не осталось, кроме этого бесконечно-шелестящего леса. И песни в нем...

Марья пожаловалась на его отсутствие. Уже шел второй день. Пришлось девкам собирать на чай дедушке лесовому. Нашли пень на перекрестке, пошептали, покрошили. Песенку пропели, ласковую такую, просительную:

Батюшка лесовой Приведи его домой...

Поплутали немножечко, глянь: а Николай тут как тут, из-за берёзки вышел. Свет не без добрых леших!

Справили возвращение. Ручьи самогона так и текли от каждой избы. Весна, хлопотно, птички поют. На седьмой день опохмеления Николай уже знал почти все про две деревушки. Знал про спелых старичков, выходивших перед войной из оврагов, чтобы предупредить народ-дитё о бедствии. Знал про колдуна из местных, где-то под Тулою заговорившего немецкую артиллерию, чтоб не палила зря и не мешала ему с котом спать. Но главное, что заворожило Николая, было не прошлое, а настоящее: две ведьмы-старушки, жившие — одна в Больших Харях, другая — в Малых. Та, которая в Малых, была подобрее, и обычно охотнее расколдовывала то, что напускала первая. Впрочем, это могло быть от соревнования... Забавы со скотом, "навешиванье кисты" (т.е. волшебное возникновение опухоли) были самым обычным делом, и бабоньки, кряхтя, бегали из одной деревни в другую, чтобы просить одну "развязать" то, что "завязала" противоположная.

Но в жизни старушек старались избегать: больно уж нечеловечьи были глазки, глядевшие как из кустов. "Мы одному миру принадлежим, они — уже другому, — вздыхая, говорили пугливые деревенские старички. — Что они знают, от того у людей ум расколется".

Опасаясь такого раскола, люди осторожно обходили не только дома ведьм, но и шарахались от их животных: петуха, козла и кошки, которая в сущности никогда и не была никакой кошкой. Понимали, что главное происходило за стенами их крепких домов. Только иногда зимой, при свете золотой луны и метущейся зеркальной снежной равнины, видели, как из трубы на помеле, нагло и ни с чем не считаясь, вылетали Бог весть куда некрасивые ведьмы.

Сам Николай, хоть и мучился со своими "основными тайнами", не мог подластиться к старушкам, чтобы разузнать про

это. Не подпускали они его и близко. Даже кисту не навешивали. Наверное, просто неинтересен он им был. Вместо этого сдружился он с колхозным бригадиром Пантелеем, увесистым мужиком, который был знаменит тем, что его однажды обернули свиньей.

Рассказывал об этом Пантелей неохотно, с подозрением, но от факта никогда не отказывался. "Что было, то было", — угрюмо, за стаканом, говорил он. Да и так все видели, как закрутился вихрь, как по улице на месте Пантелея оказалась дикая черная свинья, которая с утробным воем (выделяя, однако далеков стороны жуткий самогонный перегар, что явно говорило о её человечьем происхождении) понеслась вперёд. Как попалась чортова жертва под руки кудрявым ребятам, которые отдубасили её так, что потом, когда Пантелей опомнился в яме и волею ведьмы пришел в себя, то долго отлеживался, весь в крови! "Надо быть учителем, чтобы такому не верить", — хохотали в деревне.

Но Николая интересовало больше внутреннее, природа самосознания влекла его к себе.

- Что ты чувствовал, что думал, что с душою было?! тревожил он Пантелея.
- Отлазь, не мучь, клоп, сердился порой Пантелей. Заслужи сам, чтоб тебя обернули. Это тебе не "отличник учебы" напялить!

Но Николай словно совсем обезумел, духовно действительно превратившись в эдакого метафизического клопа. "Основные тайны" совсем истерзали его. Уже шли последние дни его долгого, заслуженного отпуска, а он совсем похудел, глаза ввалились, и Николай уже начал, как в сумасшедшем доме, носиться по лесу, громко призывая "батюшку лесового".

— Ни один леший к такому, как ты, никогда не придет, — разубеждали его в деревне. — Что ты такой беспокойный?! Не можешь приять правду, какой она есть. Вот ведьма, смерть, лесовой. А дальше нечего нос сувать.

Однако Николай не унимался. Тишина уже пела в его душе.

Забылось всё. Стал даже надевать на голову венок из березовых листьев. И пил воду только из родника. Ничего бы из этого, конечно, не вышло, но вдруг во сне ночью он попал (вероятно, случайно) в некое потустороннее поле. Как мышь в мышеловку. Сам он почувствовал это только утром, когда встал, дальним острым краем своего не-сознания. А в сознании был попрежнему — "Николай". Одним словом, повезло парню.

...На следующий день он бегал, как всегда, по лесу. Аукался. И вдруг видит: на пеньке сидит старичок в белом и пальцем его к себе манит, как дурачка. Николай, охолодев, подошел.

- Ну что ты прыгаешь, все про ведьм и леших гадаешь? спокойно говорит ему старик. Эка невидаль! Да у нас ещё при Екатерине Великой колдуны под Москвой свадебные поезда в волчьи стаи оборачивали!... Ты ведь серьёзное хочешь узнать?!
  - Самое глубокое и тайное, эхом ответил Николай.
- Ну, так чего же такой мелочью интересуешься? Пойдем, я тебе дверку покажу.

Покорно, как котенок, Николай поплёлся за стариком. Шли лесом, который стал все светлеть и светлеть. Точно солнце вставало изнутри земли. Сколько они прошли — неизвестно, но вдруг Николай вздрогнул: совсем недалеко дверка, то ли в землянке, то ли в избушке, то ли в небе. И ум его от этой двери сразу мутиться стал, и подымать его стало, и холодно засветило внутри.

Старик остановил его.

— Слушай, парень. Стой. Потом сделай несколько шагов к двери. Иди медленно. Если до двери дойдешь и заглянешь, тебя не будет. Нигде. Но не думай, что это твой конец.... Ты будешь там, где тебя не будет. Но можно не заглядывать, на любом шаге от дверки можно свернуть, если будет знак...Иди!

И Николай пошел. И сразу черный ужас заморозил его. Вернее, он сам превратился в один ужас. Только высунулся, как у собаки, красный язык. Но он шёл и шёл, точно охваченный невидимым, не от мира сего, холодным и жестоким течением. Если бы не это течение, ужас убил бы его тут же на месте или

отшвырнул бы в сторону, как тень, превратив в черную бессмысленную жужжащую муху. Но он двигался к дверке, уже превращенный в нечеловека, тихо волоча свои ноги, как латы.

И вдруг — по мере приближения — ужас стал превращаться в нечто другое, но это было ещё невыносимее любого ужаса, внушенного когда-либо всем людям, чертям и духам на этой земле. "Этому" не было слов, и любое безумие было только нежным шелестом утренних трав по сравнению с этим.

До двери оставалось всего десять-двенадцать шагов, а "это" длилось уже несколько секунд. Николаю показалось, что он уже ощущает тень того, что прячется за дверью, тень последней тайны. Она лишь слегка коснулась первой волной его нечеловеческого сознания, в котором смешались все пласты: потусторонний, подсознательный, человеческий. И в этот момент кто-то легко и нежно (свет не без добрых леших!) выбросил его из течения, выбросил с пути к дверце...

И затем нечто голубое, воздушное вдруг пленительной струей вошло в его сознание. "Это будет тебе подменой, — услышал он голос, — ибо с тем, что ты ощущал нельзя жить, хотя ты даже не дошёл до двери."

Когда Николай очнулся, ни двери, ни старика не было. Но "голубое" прочно вошло в его сознание. Ибо лишь оно не допускало в его душу память, знание, крик о том, что с ним было. Теперь он ничего не помнил, не знал об этом, его сознание опять становилось привычным, человечным, обыденно-смешным, только пот стекал с тела! Но в сознании пел приобретенный подарок — голубая радостная струя, окрашивающая все в счастливые, гармонически-примиренные тона! Без знания почему был дан этот ложный, но милосердный подарок.

Потихоньку Николай добрался до деревни. Уже спали петухи. Одинокими голосами перекликались ведьмы. Все было до удивительности нормально и спокойно. Где-то в саду тоненько пели о любви. В одном окошке горел свет: видно пили "за жизнь". По небу — почти невидимо — летал ведьмовской петух.

Дальнейшая жизнь Николая определилась голубой струей его сознания. Никаких попыток проникнуть в "основные тайны" он больше не делал и блокнот свой выбросил. Его обыденное состояние осталось прежним: учеба, работа, дела, но второй план был уже не беспокойство, а голубой покой.

Он не знал, что этот смешной покой был лишь тенью, вернее анти-тенью того страшного, но высшего покоя, который он мог бы приобрести на одной из ступенек к двери.

Между тем "жизнь" брала свое. Рязанов — в соответствии со своей голубизной — тяготел теперь только к радужным метафизическим теориям и настойчиво объяснял своим друзьям, что "в целом все хорошо" и "там" и "здесь", но что особенно де "там" т. е. где-то после смерти, причем для всех и во всяком случае в "конечном итоге". Стал очень аккуратен, доверчив, и к людям шел душа нараспашку, всем помогал. Обнаружились даже симпатии к социализму, а потусторонний мир не рассматривался им иначе, чем в самых демократических тонах.

На земле же стал как-то чересчур, до неприличия социален: копошился в различных общественных организациях, хлопотал, выступал, ездил убирать картошку, дня не мог провести без людей.

Умер он более, чем странным образом. О смерти своей узнал (конечно, из научных источников) недели за три-четыре, т. е. узнал бесповоротно. И страшно заважничал. Никогда ещё его не видели таким напыщенным и надутым. Предстоящая смерть как бы подняла его в собственных глазах. Он даже купил очки. Вообще, очень оживился, поучал...

И только в час смерти ему послышался дальний смешок и чей-то голос в пустоте произнес: "Улизнул все-таки ... щенок."

Ю. Мамлеев

Мало-помалу, мало-помалу, И вот и вся недолга. Будто подходит поезд к вокзалу И серебрятся снега.

Будто звучит труба Азраила На заснеженном пути. Многое было, многое сплыло. Крути, Гаврила, крути.

Мелет Емеля в белой метели: Эх, замело меня, друг! Сам Азраил свистит на свирели И воют волки вокруг.

Жил потихоньку, жил помаленьку — Мелким, мелким шажком! Трудно плестись домой в деревеньку Под бесноватым снежком.

Нет, не подходит поезд к вокзалу. Жжет ледяная пурга. Мало-помалу, мало-помалу — И вот и вся недолга. Ржавые рельсы и ржавые рыжие сосны. В рыжих колючках и проволока: поржавела. Лист порыжелый пристал к поржавелой колючке.

Рыжая глина. И тени — косые полоски, Тени от проволоки. Трава у дверей спецотдела Рыжая тоже. Эх, тучки небесные, тучки!

Рыжая хвоя за лагерем, свет на тропинке: Шибко стреляли, а вот — не видать ни кровинки!

Ржавым забрызгало, что ли, сухой можжевельник: Ну, размозжили: бежал, да попался, бездельник.

Игорь Чиннов

# **ОДОЛЖЕНИЕ**

Скорый пассажирский из Харькова прибыл точно по расписанию в 5.20 утра. Взяв в одну руку канистру, в другую маленький чемодан, Шакин спустился на перрон. Там стояли два милицинера.

- Буфет открыт? обернувшись спросил Шакин у проводницы, выходившей из вагона.
- Вчера мало поддал! сказала она с ожесточением, и взгляд проводницы скользнул по канистре. Неужто усекла, что в канистре самогон?

Шакин прошёл мимо милиционеров. С похмелья в ногах и голове была слабость, а внутри ныло. Как всегда в такис минуты, ему хотелось вспомнить что-то важное и наверняка мало приятное. Рассеянно глядя перед собой, Шакин думал, какой путь выбрать, чтобы попасть в буфет и выпить пива. После жаркого вагона промозглый холод проникал через одежду, заставляя идти быстро.

"Куда я тороплюсь?" — спохватился Шакин. "Отять туда, куда идут все. Мне же нужно попасть в здание вокзала", — сообразил вдруг он, продолжая идти со всеми к подземному переходу. Потом сделал попытку остановиться и пойти в другую сторону, и сам того не желая взглянул на вагон, в котором приехал. Проводницы возле вагона не было, она разговаривала с милиционерами. Все трое смотрели на Шакина. Теперь он понял, что она знала о самогоне. Наверное, спьяну он хлебнул прямо из канистры. Неуверенность в мыслях сразу же сказывалась на его движениях: он мешал людям идти к подземному переходу, его

толкали. Приноровившись к шагу большинства, он втянул голову в плечи — скорее бы исчезнуть в переходе.

Помогло универсальное средство, всегда и везде действовавшее безотказно, — брань. И он посылал туда и сюда милицию, проводницу, толпу, сырой и вязкий холод, себя за желание выпить и дрожь похмелья. Канистра оттягивала руку, давно не имевшую нагрузки, а теперь занемевшую. И брань как всегда приносила облегчение, была тем выходом, щелью, в которую уходил избыток напряжения и страх. Брань стальным обручем всё крепче и крепче стягивала враждебный и разрозненный мир, делая его единым, порождала ненависть, а та в свою очередь давала силы жить. Поток брани в Шакине ширился и бурлил, готов был выплеснуться наружу, как часто случается в переполненных троллейбусах, метро, автобусах, трамваях.

У входа в подземный переход была толчея, и Шакина сдавили мешки, чемоданы, корзины, в лицо ткнулся рюзак, набитый картофелем. Вот уж он миновал порог и перед тем, как поставить ногу на ступеньку, остановился. Спускался Шакин в полутьму перехода, облицованного керамической плиткой, медленно. Шажок, еще шаг, еще один. А над головой низкий свод в черных пятнах величиной с детскую ладонь — кто-то бросал горящие спички. Простое и милое развлечение. Занимаются этим подростки, да еще люди с накрученной внутри пружиной, чтобы немного расслабиться. У тех, кто этой пружины не имеет, всё куда проще, примитивнее, но и тоскливее. Пьет же Шакин совсем не для того, чтобы напиться, а для сердечного разговора — оправдывал он себя за вчерашнее.

 Правой стороны держитесь... На полу кто-то лежит, раздается женский голос, и в туннеле снова слышно тяжелое дыхание толпы.

Обходя место, где лежит человек, Шакин подумал, что так же, наверное, было и в те времена, когда город был обнесен высокой стеной, отделявшей его от степи. Точно так падали у ворот в город люди, кто от голода, кто обессилев, и так же их

обходили люди, чтобы добраться до крова, еды. Что изменилось с той поры? Ничего. И Шакин смотрел на идущих с ним рядом людей, на согнувшиеся под тяжелой ношей понурые фигуры, на лица, где застыло выражение обреченности, животной покорности, стадного оцепенения.

Голос раздается позади:

— Правой стороны держитесь... Кто-то здесь лежит!

Снова лестница, уже наверх, и снова перед ней толчея. Пошатываясь, с мешком на плече, впереди Шакина поднимается женщина. Только бы она не упала или не отпустила мешок, с тревогой думает он. Отойти бы в сторону. Зажатый толпой, он сделать этого не может. Шаг, еще шаг, еще ступенька. Женщина уже не пошатывается, а очутившись на поверхности, шагает быстро, делово.

Выйдя из перехода, Шакин останавливается и жадно дышит. После смрада туннеля воздух — как благостная весть, как надежда на спасение. А тут еще кисловатый запах дыма. И сразу вспоминается детство, и красные колеса паровоза, окутанные паром. Неужто где-то на запасных путях в ночи затерялся старикан-паровоз? Он вслушивается: вот бы услышать свисток и прерывистое "чух-чух". Но, видно, тот, кто дает людям радость, скуп и решил, что и запаха каменного угля будет предостаточно.

Прямо перед выходом на площадь тлеют в темноте зеленые огоньки такси, а там, налево — площадь с мощными, зеленоватыми светильниками на высоких столбах. В их свете мокрая плоскость похожа на каток. Разогнаться бы и стремительно вылететь к остановке трамвая. Но нет льда, коньков, и Шакин крепко прижат к земле канистрой, наполненной самогоном. Заземлила его жизнь — дальше некуда.

Прежде чем выйти на открытое пространство, ему еще предстояло пройти мимо милиционеров — только по-двое ходят. А что если им с перрона сообщили, насторожился Шакин, что следует задержать "пассажира с канистрой"? Все милицейские посты связаны между собой радио, вот они и ждут, когда он покажется. Милиционеры всё ближе. Вот уж смех-то будет, когда

его, Шакина, задержат с канистрой самогона. Ведь, пожалуй, не подсчитать, сколько было им написано статей, очерков, фельетонов, призывающих к борьбе с этим самогоном, с пьяницами, нарушителями трудовой дисциплины на производстве...

Милиционеры были рядом, но ни один из них не поманил Шакина к себе, не сказал "Можно вас?"..

В здание вокзала всех подряд не пускали. Из трех дверей была открыта только одна, и возле неё стояли два милиционера. Их наметанный глаз вычленял из толпы людей пьющих, тех, кто желал, как говорится," немного поправиться". "А что если меня не пустят?" подумал Шакин, но милиционер его не остановил, и, миновав темный тамбур, он вышел в скудно освещенный зал.

— "Я играю на гармошке..." — звучал под высокими сводами голос уборщицы, сметавшей опилки с пола.

Балконная дверь была открыта и в комнате пахло улицей и псиной. Оттуда же, с балкона шёл звук, похожий на пошлепывание. Потом этот звук замирал, и казалось, что-то огромное и страшное трется о стену дома.

Подойдя к двери балкона, Шакин увидел полотнище и на уровне перил большой рот, нарисованный на суровом холсте; над губами были усы, и уже высоко над головой огромные ноздри, напоминающие дирижабль. До праздника Октября пять дней, а они ленинский портрет уже повесили.

В кухне на столе стояли бутылки, лежала газета "Вечерний Киев", а на ней черствые куски хлеба и обертка от плавленных сырков. Шакин догадался, что пили рабочие, вешавшие портрет. Даже убрать не могли, разозлился он, и тут заметил записку с номером телефона и словом "срочно". Было без пяти семь. Он снял пальто, убрал в кухне, раздумывая, кому он "срочно" нужен, и звонить ли ему сейчас или позднее. Может, с сыном что случилось? Шакин с женой был разведен, сын жил у родителей жены на хуторе Шевченко в окрестностях Киева, где телефона не было. Потом он решил, что, возможно, жена хочет к нему вернуться, покаяться и откормиться перед новым турне на Кав-

казское побережье. Так было уже прошлой осенью и в это же время, перед праздниками. Жила она у Шакина до марта.

- Это ты? сказал он в трубку. Можешь не стараться, на сей раз ничего не выйдет...
  - Куда вы звоните? спросил его мужчина.
  - Мне нужна Алиса.
  - Какая Алиса?
  - Шакина.
- Юрий Степанович, вы приехали... с приездом! раздалось в трубке. Это Женя. Женя Белокуров. Я сын Глеба Васильевича.
  - Извини, что я тебя разбудил...
- Знаете, сколько раз я вам звонил? Вы так нам нужны... Надо встретиться, поговорить. Когда можно вас видеть?
  - Надо подумать.
  - Это очень важно.
  - Сегодня ничего не выйдет...
- Мы вас ждем целую неделю. Юрий Степанович, пожалуйста... Хотите, я к вам приеду прямо сейчас?
- Я сию минуту вошел в дом, сказал Шакин и замолчал, соображая, как быть. Не приехать к Белокуровым он не мог. За Женей стоял Глеб Васильевич, главный редактор газеты, в которой работал Шакин. Раньше двенадцати я у вас быть не могу. Видишь ли, я плохо спал в вагоне было ужасно жарко.
- Мы ждем вас в двенадцать на завтрак, согласился Женя. Не буду вас больше задерживать... Мы ждем.

Из трубки неслись гудки отбоя. На Шакина нашла сонливость и не хотелось ни думать, ни двигаться; его не интересовало и то, чего от него хочет Женя. Не кладя трубку на рычаг, он набрал одну цифру, гудки оборвались. Сбросив туфли, он стал клониться набок. Вот его голова коснулась подушки. Наволочка на подушке была из китайского шёлка, в золотых цветах и диковинных птицах. Пахло подушка мочой. Шакин пытался припомнить, кто же к нему приходил с младенцем. Он

погружался в сон, как в болото. Раз-и нет, исчез в трясине, и вот уже ничто на поверхности не напоминает, что был Шакин.

Лифт готов каждую секунду остановиться. На стенах кабины народное творчество — похабные слова, стихи, рисунки, как в общественных уборных. Сделать их было непросто, и Шакин завидует упорству обитателей дома, потративших не один десяток часов на эту работенку.

"Хрущ ... дак!" — читает он старый лозунг. Все остальное на стенах кабины носит лирический характер. Шакин присматривается к глубине линий. Здесь, пожалуй, применялся режущий инструмент, а вычурность линий говорит, что умелец не лишен и чувства прекрасного. Лифт вздрогнул и остановился.

- Очень рад! крепко пожал руку Шакина Женя. Давненько не виделись... Заходите пожалуйста. У нас правда лампочки перегорели. За мной идите и за стену держитесь.
- A ты дорогу хоть знаешь? поинтересовался Шакин, очутившись в полной темноте.
- Вроде того, засмеялся Женя. Думаю, что вас куда следует приведу.
- Ой! Кто это? вскрикнул Шакин, коснувшись кого-то рукой.
  - Паша, ты?

Вспыхнула спичка, Шакин увидел бледное лицо с вытаращенными глазами.

- Узнаете моего брата?
- Как же, я помню, сказал Шакин. Как он вырос.

В большой комнате был накрыт широкий стол на троих, играла музыка.

- Рахманинов? спросил Шакин.
- Скрябин, ответил Женя. Ну вот мы и добрались... Прошу садиться за стол.
  - С чего у вас пир сегодня?

Шакин вынул из кармана зеленую бутылку с этикеткой "Жигулевское пиво" и поставил на скатерть.

- У нас есть и водка, и коньяк.
- Это спецразлив, только для членов ЦК, сказал Шакин.
- Гле отец?
  - Вчера на дачу поехал.
  - Я думал, он будет, вздохнул Шакин. Жаль.
  - Он же не пьет, сказал Женя. Садитесь, пожалуйста.
- И Шакин опустился на стул, подмигнув Жене, но спрашивать, зачем он понадобился, не стал.
  - Когда вы у нас были в последний раз?
  - На похоронах.
- A мама умерла... задумался Женя. Лет пять-шесть уже прошло.

Показался Паша. Стал в дверях, уставился на Шакина. Казалось, что собирается сказать что-то неприятное. Шакин и Женя ждали. Паша кусал губы и упорно молчал.

Давай сюда, — сказал Женя.

Тот нехотя подошел и сел за стол, снова уставился на Шакина.

- Начнем? спросил Женя.
- Можно, кивнул Шакин и, взяв зеленую бутылку, налил самогон в рюмки.
  - Ему не надо, отодвинул Женя рюмку брата в сторону.
  - Что такое?
  - Со свиданьицем! поднял рюмку Женя.
  - Твоё здоровье.

Они выпили, начали закусывать килькой пряного посола.

- Хорош, восторгался Женя самогоном. Градусов семьдесят?
  - Главное, сивухой не разит.
  - Поешь хоть немного, сказал Женя.

Паша покачал головой.

— Ну, так в чем дело? — спросил Шакин. — Что тут у вас происходит, братцы?

Братья переглянулись.

Рассказывай, — кивнул Женя.

- Лучше ты.
- Мне как-то неловко. Сам посуди.
- Там, наверное, картошка сварилась поднялся со стула Паша и вышел из комнаты.
- Еще по маленькой? спросил Женя и налил Шакину и себе. С чего начать...
  - Будь! сказал Шакин и выпил.

Жена внимательно рассматривал свою рюмку.

- Более года назад Пашу призвали в армию. Сам он виноват, конечно. Отец давно предлагал его устроить на факультет журналистики. Не пошёл, не хочет лгать людям.
- Это его право, сказал Шакин, чувствуя, как выпитое ударяет в голову.
- В армии ему не повезло. Попал он в те войска, что заключенных охраняют. В концлагере он сейчас находится. Вот неделю назад на побывку приехал. Завтра назад ему надо ехать. Хотите верьте мне, хотите нет, но ни одну ночь мы не спали... Ну, в общем и целом, не хочет он туда возращаться. И наклонясь к Шакину, Женя добавил. Мы вам доверяем, отец вас хорошо знает... Сегодня ночью я Пашу из петли вынул.
  - Перестань! махнул рукой Шакин.
  - Клянусь вам.

С кастрюлькой в руках вбежал Паша.

- Куда ставить? крикнул он.
- Сюда, на тарелку.

Подпрыгивая, Паша размахивал руками.

- Чего ты тряпку не взял?
- Оставь! Молчи!
- За ухом ожогом потри, посоветовал Женя.
- Лучший способ, чтобы боль прошла, заявил Шакин, Помочиться на ожог.
- Вот болван, развел руками Женя, как только Паша вышел из комнаты. Совсем не соображает...
  - Где он служит?

- Под Ленинградом. У них в лагере одиннадцать заключенных рты себе позашивали. Они протестовали против...
  - Что вы хотите от меня?
  - Мы думали, мозговали на все лады... Женя выпил.
- Да, протянул Шакин и, намазав хлеб маслом, передал его Жене.

Вошёл Паша с поднятыми руками. Он сел на диван и уставился на Шакина.

- Ну, как?
- Всё в порядке. И Паша спросил у брата. Сказал?
- Есть только одна возможность, один вариант, чтобы он не служил в армии, медленно выговорил Женя. Ему нужно сделать сотрясение мозга... Ударить бутылкой по голове.
  - Это шутка? спросил Шакин.
- Мы понимаем, снова заговорил Женя. Ни с того, ни с сего ударить человека по голове нелепо...
- Отец вас очень ценит и уважает, сказал Паша. И если мы обращаемся к вам с такой просьбой...
- Погоди! перебил его Женя. Вы должны нас выручить. Только вы один можете это сделать. Мы целую неделю вас ждали.

Шакин поднялся из-за стола, спокойно сказал:

- Этот разговор останется между нами. Я сожалею, но вы ошиблись адресом.
- Мы так вас просим, вскочил с дивана Паша. Вы не можете нам отказать.
  - Один удар по голове, я сразу звоню в скорую помощь...
  - Нет, сказал Шакин, идя к двери.
  - Папа! Он уходит! крикнул Паша. Что нам делать?

И почти сразу же в двери показалась фигура в пижаме. Белокуров-старший пристально, словно целясь, посмотрел на Шакина и приложил руку к сердцу. В его глазах было отчаянье, рот скорбно поджат. И, повернувшись, исчез в темноте коридора.

— Налей! — сказал Шакин. Он подошел к столу, выпил. — Заверни бутылку.

Сняв с подушки наволочку, Женя завернул в неё зеленую бутылку. Часть самогона, оставшегося в бутылке, вылилась ему на брюки.

— Прошу вас, — сказал он, протягивая бутылку Шакину. — Паша, ты готов?

Взяв бутылку, Шакин взвесил её в руке, спросил у Паши:

- Ты хорошо подумал?
- Всё уже решено, проворчал Паша.
- Давай сюда голову!
- Большое спасибо, чуть заикаясь выговорил Паша и улыбнулся.

9.01.76.

А. Коротюков

Стою под старою оливой, Быть может, помнящей Христа. Корней сплетаются извивы, Дупла открылися уста.

Ты помнишь дни Его и ночи Под зыбью легкою ветвей, Когда поет полночный кочет И утра дует суховей?

И миг, когда в изнеможеньи Простая женщина, как я, Коснувшись, просит очищенья — Совсем иного бытия!

Екатерина Таубер

#### СОНЕТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ

Присвоив мир, заведомо не свой, Я делаю хозяйскую заявку И в обиход ввожу языковой "Ли" — не вопрос, а новую приставку.

Литребовать, ливеровать, лизнать — линовые, лидавние глаголы, и лилегко мне с ними рифмовать лиссадины, лишишки, лиуколы.

Воистину — но можно и без "ли" (Лида, линет?) — ни в чем я не уверен, И на земле, куда мы забрели, Рассудок наш линайден, липотерян, —

Лидержатся, застигнуты врасплох, На "ли" нули — лисмыслица, ли Бог?

#### НАДЕЖДА

Плоть нежная — приманка теплоты, Самообман, гипноз привычный слова, А что за ним? Не снова ли и снова С самим собой я говорю на "ты"?

Всё зыблется! Во что вложу персты, Чтоб, наконец, под складками покрова Прощупалась телесная основа, А не игра, не плутни пустоты?

Мир сотворен по замыслу докета, И проблески младенческого света Достанутся бескачественной тьме —

Всеядному несозданному зверю.
... И все-таки апостолу Фоме
Когда-нибудь я до конца поверю!
Валерий Перелешин

# К вольной воле заповедные пути

#### VIII

У Радиных нас встретили как имениников. Тут собрались почти все наши: Виталий Коган (с новой женой), Киреевы, Левитины, Одинцовы, Веня Фогельсон — и едва мы с Алькой переступили порог, как нас радостно обступили, затормошили, закидали со всех сторон вопросами: всем не терпелось узнать, как мы выкрутились. Алька, не зная кому отвечать, театрально воздел руки и запросил пощады. Он сразу преобразился, оказавшись в центре внимания, словно актер на сцене, почувствовал себя в родной стихии: усталости как не бывало, подтянулся, помолодел, похорошел и, весело шуря свои янтарные глаза и скаля в улыбке зубы, стал пробивать дорогу в комнату. Войдя, он плюхнулся по своей привычке на диван, развалился, вытянул длинные ноги, и не спеша (ох, не может он не рисоваться!) полез за сигаретами.

— Ну давай же, рассказывай, не томи, — ласково улыбаясь, сказал Виталий, и налету поймав мой взгляд, подмигнул мне: пускай, мол, потешится, его бенефис. — По порядку, со всеми подробностями.

Альке, конечно, только того и надо было. Посмеиваясь, он набрежно приступил к рассказу, не забывая, впрочем, украдкой следить за производимым впечатлением и на ходу для пущего эффекта чуть-чуть привирая. Язык у Альки здорово подвешен, получилась очень забавная новелла, в которой мне досталась главная героическая — и комическая — роль. Я, конечно, хохотала вместе со всеми до упаду, невозможно было удержаться, а отсмеявшись, чуть не заплакала — от умиления,

См кн. 120, 121 "Н. Ж".

что ли, такое сочувствие, понимание и любовь были написаны на всех лицах. Милые мои, славные... С в о и . Я вдруг снова со всей остротой ощутила это, как в те дни, когда бегала к суду, и обрадовалась этому чувству. Мне захотелось немедленно отыскать Гришу, чтобы сказать ему, как я его люблю...

Умученная, растрепанная Светка Радина возилась на кухне. Какие-то девочки толклись около неё, суетливо и носились взад и вперёд с тарелками, щебетали, хихикали. В Радинской квартире, как обычно, было полно народу. Кроме наших — еще множество всяких знакомых, полузнакомых и вовсе незнакомых мне личностей, которые слонялись коридору и комнатам, рылись в книжных шкафах, громко разговаривали, смеялись и вообще держали себя как дома. А Радин будто сквозь землю провалился. Я вернулась в большую комнату, его здесь не было, и Алька тоже куда-то исчез. Девочки накрывали на стол, Виталий деловито откупоривал бутылки. Бутылок было не меньше, чем рюмок, пожалуй, даже больше. Вика, молоденькая, хорошенькая жена Виталия, стояла в картинной позе у стены, сплошь, как в музее, завешенной иконами. и внимательно слушала объяснения Вени Фогельсона. На тахте сидели трое совсем зеленых юнцов и что-то жадно читали, передавая друг другу листочки. Инга Одинцова невозмутимо вязала, забравшись с ногами на диван, рядом с ней какой-то длинноволосый тип настраивал гитару. А Валерий Одинцов уже колдовал над приемником, из которого изредка доносились обрывки фраз, тут же заглушаемые яростным, словно метная очередь, треском.

Я сунулась в кабинет, но Радина и тут не оказалось. У журнального столика, как раз под фотографическими портретами Яна Палаха и Ларисы Даниэль расположилась теплая компания: Михаил Левитин, Игорь Киреев, мой Алька и какойто полузнакомый бородач в джинсах. Лица у всех были расслабленные и довольные: наверно, уже приложились ребята. Лена сидела в сторонке, пригорюнившись и подперев голову своим худеньким, детским кулачком. Как сиротка.

Увидев меня, все радостно заулыбались. Михаил широким жестом указал на столик, заставленный бутылками и свертками.

- Иди к нам! Пока там раскачаются...
- И молниеносно разлил по рюмкам водку.
- Поехали?
- Может, довольно? тоскливо сказала Лена.
- Отличный тост есть, ребята, не слушая её, сказал Миша. Отменно патриотический. Во! Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это.

Алька расхохотался и залпом опорожнил рюмку. Мужчины дружно выпили.

- А ты что же, Надежда? спросил Миша. Тебе сегодня сам Бог велел в честь благополучного возвращения с Лубянки.
  - А где же виновник торжества? Кто-нибудь видел его?

Удалился с кем-то в ванную под сень струй, — ответил Игорь. — Дела всё, дела...

Почему-то считалось, что в ванной нет микрофонов. Не знаю уж, на чём была основана эта гипотеза, но ей упорно верили и все деловые переговоры вели там. Впрочем, самое важное писали на листках бумаги и рвали, а потом спускали в унитаз или жгли.

— Хотите анекдот? — спросил бородач. — Встретились на границе два воробушка, один с Востока на Запад летит, другой, значит, наоборот. "Ну, как у вас там на Западе?" "Ой, плохо! Бетон, стекло и синтетика, хоть ложись и помирай, поклевать нечего... А у вас на Востоке как?" — "У нас, братец, совсем другое дело: хлеб на полях не убирают, в амбарах крыши худые, зерно рассыпано, в общем — жри от пуза". — "Да куда ж тебя от такой благодати несет?" — "Не единым хлебом жив воробей. Чирикать, братец, хочется!"

Посмеялись.

- Эх, ребята, потягиваясь, сказал Алька, чирикать хот-ц-ца!
  - Послушайте, вскричал Миша, вы ведь ничего еще не

знаете! Потрясающая новость: Полушкина освобождают досрочно.

- Брось трепаться, сказал Алька. Очередная утка.
  - Так вот, наверно, почему Наталья названивала мне! Нет, точно, сказал Игорь. По Би-Би-Си передавали.
  - Дарья уже поехала за ним, сказала Лена.
- Но как же? спросио Алька. Что, дело пересмотрепи?
- Ну, этого от них не дождешься. Честь мундира не позволяет. Кажется, по амнистии, сказал Миша. В связи с тяжелым состоянием здоровья или что-то в таком духе. Дашка хлопотала. Молодец баба, а? Мы тут всякие письма, протесты, возмущаемся, шумим и хоть бы что, а она тихо-тихо и выташила-таки своего Федю. Уму непостижимо...
- Неужели правда?.. Даже радоваться боязно... Что же это творится, господа! воскликнул Алька. Такого у нас еще не бывало... Чудеса!
- По этому поводу выпить надо, деловито сказал Михаил и с быстротой фокусника наполнил рюмку. Лена сердито сверкнула глазами, но промолчала. Вздрогнули?

Алька подошел ко мне и протянул рюмку:

- Давай, деточка, за Федю...
- За чудеса, ответила я, чокаясь с ним. Не могла я Федору простить Наташку.
- Да уж Федино дело тоже, надо сказать, фантастическое, проговорил Миша, храбро вгрызаясь зубами в пряник. Фу, ты, черт, прямо ископаемый... От начала до конца подтасованное. Они, небось, сами не чают, как выпутаться. Опозорились на весь мир.
  - Этим их, положим, не проймешь, возразил Алька.
- Им валюта нужна, сказал бородач, очень просто. Полушкинские полотна за границей на вес золота. Говорят, Дарью вызывали и предлагали продать картины: казне, мол, валюта, вам сертификаты и слава. Опять же патриотично. Ну, она, знаете, женщина дерзкая, за словом в карман не полезет: а

как же, спрашивает, принципы и коммунистическая нравственность? Или деньги не пахнут?

Полушкина исключили в свое время из Союза художников нарушение принципов соцреализма и коммунистической морали. Это было года за два до его ареста, он еще не вошел в моду, но уже был, как острила Дарья, широко известен в узком кругу. А после того как о нем написали в двух-трех парижских журналах, кое-кто стал поговаривать, что Полушкин гений. Я в современной живописи не разбираюсь, может, он и в самом деле гений, только мне его картины противны. Какие-то голые задастые бабы с раскоряченными ногами, мужчины с песьими и кабаньими мордами, вампиры, гробокопатели, трупы, ведьмы, бесы и прочая нечисть, и все эти монстры мужского и женского пола совокупляются в самых противоестественных позах клубок безобразных, сведенных судорогой тел, вселенский свальный грех. И на каждой картине — крест, горящие свечи, полуразрушенные часовни, опрокинутые алтари... Никогда не понимала, как Альке с его здоровой языческой чувственностью может нравиться Федина живопись. Он вообще ужасно носился с ним, и я дразнила Альку, что Федор околдовал его. Меня Полушкин тоже странно притягивал, но вместе с тем вызывал безотчетную неприязнь, чуть ли не страх, я сама толком не почему — он был застенчивый, отзывчивый, доброжелательный, с мягкими расплывчатыми, словно бы размытыми чертами лица и мягкими пугливыми жестами пока не увидела Федины картины: они выдавали его. Впрочем, и наружности Полушкина было что-то настораживающее: одевался он с нарочитой небрежностью, носил окладистую бороду, сапоги и нательный крест на простом шнурке, выглядывавший из ворота вечно незастегнутой рубахи, держался подчеркнуто скромно, робко, даже смиренно, но рыжие глаза смотрели с холодной цепкостью, уверенно и жестко, жадные, красные губы нетерпеливо подрагивали в зарослях бороды, и порой мне казалось, что он носит это свое стилизованное благообразное мужицкое обличье как маску, а под ней таится что-то

совсем другое, какая-то недобрая темная сила, которую он и сам, возможно, боится. Думаю, он страдал тяжелым душевным недугом, но когда я заикнулась об этом, Алька только снисходительно пожал плечами: "Если уж на то пошло, гений — это всегда болезнь, отклонение от нормы". В каком-то смысле он прав, однако случай Полушкина особый: он был одержим бесом сладострастия, и его живопись была попыткой "изгнания беса", попыткой освобождения... И безнадежной Однажды, набравшись смелости, я даже сказала об этом Федору (никогда не забуду, с каким испугом он спросил: "Вы думаете, это от дьявола?"), но вообще-то я помалкиваю, когда речь заходит о Полушкине: если человека сажают в тюрьму за картины (ему "шили", разумеется, какую-то уголовщину, спекуляцию валютой и прочий вздор, но все знали, что дело в картинах, Алька в предисловии к стенограмме процесса прекрасно написал об этом), лучше уж оставить при себе свои критические замечания и не присоединяться к хору официальных хулителей. И чего только не плели о Федоре в газетах, как унижали и поносили... Пьяница, развратник, растлитель душ и чуть ли не устои общества. А он диверсант, подрывающий несчастный, больной человек... Самое смешное, что его картины никого не могли "развратить" - разве что, напротив, внушить отвращение к половому акту, но на это, думаю, даже гениальное искусство не способно, и можно было не беспокоиться о том, что Полушкинские творения вызовут падение рождаемости и ослабят мощь нашего государства. Притом Федор и не стремился у нас выставляться, он сидел себе тихонько на своем чердаке и никого ни о чем не просил (на жизнь он зарабатывал как театральный художник, разумеется, под псевдонимом), но несколько его картин попало на Запад — и тут поднялось Бог знает что. Оказалось, что Федор не имел права ни подарить, ни продать свои картины за рубеж и что они каким-то непостижимым образом являются собственностью государства, которое одно только и правомочно распоряжаться произведениями искусства (даже если официально объявлено, что это не искусство)... Но почему, где логика? "Ах, Надя, какая может быть логика в этом бардаке, — говорит в таких случаях Алька. — Умом Россию не понять, пора бы уж привыкнуть". Да, мы за эти годы всякого насмотрелись. Я уж не говорю о легендарных сталинских временах, когда Центральный Комитет правящей партии собирался для того, чтобы издать очередной закон природы или искусства и учил Шостаковича писать музыку, а Эйзенштейна делать кинофильмы. Ho И В либеральный хрущовский период советские граждане, проснувшись в один прекрасный день, могли узнать, что отечество в опасности из-за того, что несколько московских художников Манеже не совсем понятные картины. Собрания, митинги, вой в газетах, от Москвы до самых до окраин гремит боевой клич: "Все на борьбу с абстракционизмом!"... "Все на борьбу с Пастернаком!" В общем, с нашим правительством не соскучишь-

- Ох, и погуляем мы на радостях с Федором! сказал
   Алька. Я даже на французский коньяк готов разориться.
- Вам лишь бы выпить, усмехнулась Лена. Может, тебя еще не допустят пред светлые очи? Федор, рассказывают, никого и знать не хочет из прежних друзей...

о Полушкине поползли время последнее странные слухи. Правда, он всегда держался замкнуто, но теперь, говорят, стал совсем нелюдимым, подозрительным и доверял лишь жене, которой писал экзальтированные письма, покаянных признаний и восторженного обожания. Дарья, прежде щеголявшая инфернальностью, резко сменила охотно рассказывала 0 мистическом посетившем Федора, о его втором рождении в тюрьме. Она ходила притихшая и надменная, кротко потупив свои шалые белесые глаза, и на ее хорошеньком хищном личике, вечно снедаемом какой-то жгучей тревогой (Алька утверждал, что это просто сексуальная озабоченность) появилось чуть ли не выражение святости...

— Брось ты эту чушь повторять, — сказал Алька. — Быть

того не может, чтобы Федька отказался со мной выпить.

- Если он даже от Наташки на религиозной почве отрекся,
   возразила Лена.
- На религиозной, как же, усмехнулся Миша. Дарью он боится, а не Бога. Да и какой ему прок от Наташки в лагере, тут поневоле будешь верен жене. А как вернется домой да хлебнет семейного счастья, живо вспомнит о Наталье. Или другую найдет... Если только не сподобился стать импотентом...

Господи Боже мой, в скольких московских домах сейчас обсуждают этот треугольник? Иронизируют, сочувствуют, копаются в сокровенных подробностях... Бедная Наташка, она мне как-то сказала: "Раньше, когда на меня глазели, я думала, значит — хороша, а теперь в каждом взгляде читаю это паскудное любопытство: а, это та самая, что спала с Полушкиным, который голых баб рисовал. Я, Надька, сон видела — уже три раза снился — будто ведет меня Федя на какую-то квартиру, как бывало, торопится ужасно, нервничает, весь так и дрожит от нетерпения и как-то по-собачьи, покорно и заискивающе в глаза мне заглядывает, но лицо мутное, нехорошее, все время словно бы растекается, и вот мы приходим, и он все это со мной делает, и вдруг — топот, крики, гогот, комната полна людей, они улюлюкают, хихикают, показывают на меня пальцами, а я лежу перед ними совершенно голая, одна, Федор куда-то исчез, пытаюсь прикрыться простыней, но ничего не получается, лежу и тихонько всхлипываю — от ужаса, от срама, и тут замечаю в толпе Федора: он выглядывает из-за плеча жены, брезгливо и нагло ухмыляясь, и тогда я начинаю биться и кричать, таким, знаешь, звериным, жутким воплем: а-а-аа! — и просыпаюсь. А они еще считают, что мне льстит этот скандал..."

- ... С точки зрения психоанализа, творчество Полушкина разоблачает его интимную жизнь, прежде всего Дарью. Ведь они женаты лет пятнадцать, разглагольствовал бородач. Если он испытывает такой ужас перед сексом, то значит женщина, с которой он...
  - Пожалуйства, не надо. Ни по-научному, ни по-

обывательски, — прервала я его, но подумала, что в чем-то этот тип, наверное, прав.

Не знаю, как с точки зрения психоанализа, но при взгляде на Федины картины мне всегда казалось, что ему просто не повезло с женщинами: среди них не нашлось ни одной, которая дала бы ему радость и свет обычной земной любви, научила бы не бояться тела. Его не коснулся сей огнь очищающий, он знал лишь проклятие и соблазн греха, "черную мессу пола", как говорила Дарья (она любила потолковать на эти темы, особенно в мужском обществе, и ошарашить слушателя бесстыдной откровенностью суждений, приправленных крепким русским словцом, ее щеки тогда нежно розовели, губы наливались соком и бледные глаза туманно мерцали). В общем, они были подстать друг другу, Федор и Дарья, черт их перевил одной веревочкой. Так что когда Полушкин привел к нам Наташу, я сначала ужасно удивилась, он и сам, впрочем, поглядывал на нее в радостном изумлении, почти испуганно, словно не веря, что это чудо существует и принадлежит ему...

- Ты что приуныла? спросила Лена, подсаживаясь ко мне. Из-за Лубянки? Плюнь.
  - Наталью жалко. Очень уж не по-людски с ней обошлись.
- Не ее первую бросил любовник, с неожиданным раздражением ответила Лена. У всех свои несчастья, и нечего устраивать истории и посвящать всю Москву в свои личные дела!
- Так это Дарья бегала по всем знакомым и доказывала, что Федор любит ее, а не эту ... Если б Полушкина не скандалила...
- Ну, не знаю. Наталья тоже хороша. Как там ни крути, любовница всегда виновата перед женой.

Ого!.. Жена, любовница... Я просто опешила, так дико это звучало, особенно в Лениных устах. Эх, Ленка-Леночка, свой парень, сорвиголова, заводила и насмешница, кошка, которая ходит сама по себе!.. Откуда что берется?.. Давно ли она увела Мишу от его первой жены и расписалась с ним? В ЗАГСе она

посмеивалась, шокируя чиновниц несолидностью поведения, а Михаил в самый торжественный момент церемонии с шутовской важностью заявил: "Поздравляю, дорогая, наконец-то ты стала порядочной женщиной"...

- Что-то я никогда не замечала, чтобы ты испытывала чувство вины перед своей предшественницей, тихо сказала я.
- Правильно, Леночка, закричал Алька. Так их всех! Разрушать семью аморально. И если тебе, не дай Бог, изменит муж, пиши на него заявление в партком.

Лена вспыхнула.

- А что мне теперь партком? ухмыльнулся Миша. Я, к счастью, к этой организации уже никакого отношения не имею...
- И на тебя найдем управу, не унимался Алька. Можно к либеральной общественности обратиться, как Дарья. Та же психология, в сущности. Сугубо советский стереотип поведения. Чуть поскоблишь и вылезает на свет божий дорогая товарищ Парамонова... С комприветом, мадам!
- А что? сказал Михаил, шутки шутками, но если б я был социологом, я бы Дарье посвятил специальный очерк: "Д.И. Полушкина как зеркало советской действительности"... Вот тебе тема, Игорь, обратился он к Кирееву. Бери, даром уступаю.
  - Зеркало-то кривое, вяло откликнулся тот.
- Чудак! Просто в ней все парадоксы и судороги нашей жизни доведены до крайности, до абсурда. Соцреализм в чистом виде... Этакий диковинный цветок внутренней эмиграции, распустившийся на ядовитой почве советского быта, Зинаида Гиппиус с замашками гумовской спекулянтки!.. Любопытнейший экземпляр человеческой породы, водится только на территории СССР...

(Левитин обычно молчалив, но водка развязывает ему язык. Может, потому он и пристрастился к выпивке? "После одной четвертинки я талантлив, сказал он как-то, мысли косяком идут, только успевай ловить, после двух начинаю говорить афоризма-

ми, после трех..." — "Становишься свиньей" — оборвала его Лена).

- Нет, ты попробуй, Игорь, опиши все как есть, ничего не прибавляя. Скажут: неправда, преувеличение... Хочешь, детальку подброшу? Знаете, какой у Полушкиных дом: антикварные книги, картины, домотканные изделия, старинная утварь как в музее и, конечно, иконы, а у порога стоит церковная кружка для подаяния и над ней надпись: "Гость, подай сколько можешь! С миру по нитке, хозяевам прибыток". А хозяйка салона, с крестом на шее, в тяжелых старинных браслетах и заношенном платье (но, между прочим, от Диора) лихо кроет соседок матом и даже не остыв от ругани, без всякой паузы только скинет браслеты, чтоб не мешали садится за свой роскошный Беккер и играет Баха или импровизирует что-нибудь...
- Тебе бы бульварные романы писать, снисходительно сказал Игорь. Нет там никакой кружки, она тебе с пьяных глаз привиделась.
- Была, возразила я. Еще при Федоре. Что вы удивляетесь? Это вполне в Дарьином стиле.

Я всегда старалась держаться от Полушкиной подальше, ее злоба, истерическая взвинченность и бахвальство раздражали меня. Но музыку она чувствовала необыкновенно, и когда садилась за рояль, я обо всем забывала и потом, приглядываясь к ней в обычной обстановке, тщетно пыталась уловить хотя бы слабые, случайные отголоски той чистой мелодии, которая временами звучала в ней. Я так старалась, что вскоре отыскала в Дарье целый ряд тайных достоинств, о которых она едва ли подозревала. Я убедила себя, что Полушкина несчастное, застенчивое существо, скрывающее под напускной развязностью нежную, ранимую душу. Но все мои сентиментальные построения рассыпались в прах от одного ее неосторожного слова, жеста, взгляда. С Дарьей просто невозможно было иметь дело: на ней лежало несмываемое клеймо коммунальной квартиры, в которой она выросла, - одной из тех жутких коммунальных квартир, где люди живут в состоянии непрекращающейся изнурительной войны, где в полутемной, поистине адской кухне, провонявшей подгорелым постным маслом, щами и стиркой, то и дело вспыхивают безобразные перебранки и осатанелые женщины готовы вцепиться друг другу в волосы изза конфорки на плите. А уж если не поделят мужчину!...

- Мишка! взмолилась Лена, увидев, что он снова потянулся к водке. Алька решительно отобрал у него бутылку.
- Успеешь еще! Между прочим, Леночка, знаешь, что по этому поводу сказал Бабель? Октябрьская революция, сказал он, вывела совершенно новый человеческий тип пьюшего еврея.
- Блеск! восхитился Михаил. Только что-то я не припомню ничего такого у Бабеля...
  - Из архивов.
  - Сам, наверное, сочинил, признавайся! Все равно красиво...
- Надюща пришла! Вот радость-то. Майский день, именины сердца. Я тебя сто лет не видел.

Это Гриша заглянул в кабинет — выбритый, выутюженный. лоснящийся как из баньки, в белоснежной сорочке и парадном костюме, с трудом выдерживающем напор его могучего тела — и бросился ко мне, подхватил с дивана, заграбастал в свои медвежьи объятия. Мы расцеловались.

- Поздравляю, Гришенька.
- Было бы с чем, отмахнулся он. Стареем, толстеем... Это тебя нынче надо поздравить с боевым крещением. Что страшно было?
  - Да не то чтобы страшно, расстроилась я очень...
  - Ах ты, кисанька, засмеялся Гриша. расстроилась...
- Хорошо тебе, ты привык. Чуть ли не каждый день туда ходишь, как на службу. А в первый-то раз...

Радин как-то странно посмотрел на меня, скривился, словно от зубной боли, и махнув рукой, пошел к двери.

- Что это с ним, ребята?
- Пустяки, пробормотал Миша, не обращай внимания.

К столу, к столу! — донесся из соседней комнаты Светкин голос.

Вечер был похож на все подобные сборища: пили за имениника и его жену, за "наше безнадежное дело" и за "чтоб они сдохли". Помянули, конечно, и Борика Иоффе, шумно чокались, спорили, рассказывали анекдоты, смеялись по всякому поводу и без повода, словом, все как водится. Сначала усилиями Гриши и Виталия еще как-то поддерживался общий разговор, но по мере того как пустели бутылки, порядок ломался, гости разбились на группки, и вскоре уже все говорили разом, не слушая друг друга. Гул стоял невообразимый...

— ... И эта сука, которая выгнала меня с работы, смеет спрашивать, как я живу! Разве вы не знаете, отвечаю, ЦРУ помогает... Еще Константин Леонтьев подметил, что русский человек может быть святым, но не может быть честным... Сразу же запретили все его пьесы, так что Войновичу его подпись обошлась минимум в полмиллиона рубликов... Нет, почему бы не опубликовать в "Хронике" списочек фамилий? Под рубрикой "Страна должна знать своих стукачей". Это Солженицын здорово... Высоцкий дешевка, кумир суперменов, совмещан и шпаны, говорю вам, он скурвился... Немецкий социалист, семьлет концлагерей, все перевидал, и вот перед отъездом сказал мне: "У нас на Западе нужно мужество, чтобы бороться, а у вас — просто чтобы жить"... И вовсе не анекдот, это в "Известиях" было написано: "Клеветнические факты"... "Так ведь он Дарьин любовник, вся Москва знает, и теперь, представляешь, она повезет мужа к нему на дачу... Из этих новых левых, с жиру бесятся: его, видите ли, не устраивает, что американское телевидение покупает революционную культуру и платит за протест десять тысяч долларов! А что бы он запел, если бы десять лет тюрьмы?.. Еще можно простить, когда из-за куска хлеба, когда детям жрать нечего, но ради лишней замшевой куртки или поездки за границу!... На первом же допросе раскололся и стал называть всех подряд... Пастернака и Цветаеву при обыске сперли, среди кагебешников тоже встречаются любители поэзии... Все-таки Бердяев прав, когда утверждает, что свобода не демократична, а аристократична... И тогда они устроили над ней этакий миленький товарищеский суд Линча...

Я вдруг поймала себя на том, что наблюдаю со стороны как чужая. Та-та-ра-там на празднике чужом... От недавнего радостного чувства братской близости ничего не осталось, возбуждение угасло, сменившись усталостью и скукой. Наверно, это все из-за Ленки — испортила мне настроение своими дурацкими рассуждениями. И вообще — естественная реакция после нервного перенапряжения. Но почему они раздражают меня? О н и? Ну, ладно, не стоит придираться к словам, пусть будут н а ш и . Хотя оговорки такого рода... Просто надоело: не могу отделаться от ощущения, что все это уже было, словно смотрю в стотысячный раз старый-престарый фильм, где все реплики известны заранее. А зазвали на премьеру... Но почему остальные не замечают?...

— Может, мы только тем и держимся, что пьяны? — крикнул Виталий. Я вздрогнула: будто прочитал мои мысли...

Ко мне подсел Игорь и стал расспрашивать о допросе. По своему обыкновению, он сходу принялся строить очередную "глобальную" концепцию и даже заявил, что мы присутствуем при поворотном моменте советской истории:

- Понимаешь, они сами не хотят нас сажать. Вот и Полушкина выпускают...
- Да неужели ты не видишь, что все это безнадежно? кричал Веня. О каком правосознании может идти речь в стране, где учитель, выступая на собрании, говорит, что преступников нельзя судить по справедливости!...
- Но, Игорь, сказала я, ведь только сегодня арестовали Бориса Иоффе!
- Я же не говорю, что не сажают, но не хотят! И если так пойдет дальше...

Интересно, где Алька? Пока я разговаривала с Игорем, он

куда-то испарился. Может, с Гришей дела обсуждает? Нет, Радин здесь. Сидит против меня и, сердито нахохлившись, слушает Фогельсона. Как он, однако, сдал, подумала я, вглядываясь в Гришкино хмурое, помятое лицо. И не то чтобы постарел очень, а как-то потускнел, полинял, обрюзг...

- Нет, и ты тоже в ответе, как и все мы! крикнул Радин и стукнул кулаком по столу. Все повернулись в его сторону. Потому что наши отцы делали революцию. И нам не остается ничего иного, как нести этот крест вместе с русским народом.
- Наши отцы ошибались, пойми же ты наконец! с мукой в голосе возразил Веня. Но они первые и расплатились за это своей жизнью. А теперь всякие новоявленные славянофилы и неохристиане тычут нам в глаза отцовские грехи и кричат, что мы во всем виноваты. Послушать их, так это евреи совершили русскую революцию и навязали стране советскую власть. Если тебе в течение многих лет повторяют, что ты чужой, то ты и в самом деле начинаешь чувствовать себя чужим. Я не об официальном антисемитизме говорю, не о кадровой политике, черт с ними! И не о темной толпе. Если брать этот уровень, то ты, Игорь, совершенно прав. Но это глубже сидит, это в крови, и сколько ни старайся закрывать глаза и затыкать уши... Даже лучшие отравлены этим...
  - Неправда!
  - Не смей!
  - Ты с ума сошел! закричали на него со всех сторон. Веня вскочил и тоже заорал:
- Нет, правда! Сейчас вы мне скажете, что у того жена еврейка или еще что-нибудь в этом роде. В том-то и ужас, что правда, правда!

Голос у него дрогнул и пресекся, Веня сел, дрожащей рукой взъерошил волосы и тихо закончил:

— В общем, меня заставили стать евреем. И прекрасно. Я еврей и не собираюсь этого стыдиться. Я еврей и ничего от этой страны не прошу. Дайте мне только уехать к себе на родину. Так нет же...

- Надя, тебя к телефону, потянула меня за руку Светка. Она улыбнулась мне своей мягкой, застенчивой улыбкой и в каком-то горестном недоумении прошептала:
- Венька-то, а? Ведь уедет, а разве он будет счастлив в Израиле? Чужая земля, все чужое, даже язык. Он к России прирос, как и все мы...
- A я слушала и думала: уходят-уходят друзья, и так мне страшно стало!
- Мы с ним вместе Володю провожали, до сих пор опомниться не могу. Как Володька плакал на аэродроме, если б ты видела!.. Даже плащ был мокрый от слез. Алька не собирается?
- Что ты! Он как Гриша предпочитает сдохнуть здесь, чем жить там... Где телефон-то?
  - А вон, на тахте.

Звонила Наташа. Она была явно не в себе и все повторяла, что я ей очень-очень нужна.

- Хорошо, давай завтра встретимся.
- Нет, Надюша, солнышко, надо непременно сегодня, завтра я уезжаю.
- Отдыхать? машинально спросила я. На другом конце провода сгустилось молчание, только что-то невнятно попискивало в трубке, и я уже решила, что нас разъединили телефон у Радиных постоянно барахлил, "плохая техника госбезопасности", острит Гришка когда наконец услышала Наташкин голос:
- Нет, я совсем уезжаю. Во всяком случае, надолго. Как говорится, жгу мосты... Я тебе все-все объясню при встрече.

Странно, что бы это значило? Уж не в Израиль ли она собралась? На нее это, вроде, непохоже, а впрочем, теперь все так быстро меняются... Только туда вдруг не уедешь, в лучшем случае несколько месяцев промытарят, и мы бы уж, конечно, знали, если б Наташка подала заявление... Я взглянула на часы: десять. Всего-то? Мне казалось, что уже за полночь.

— Может, приедешь к Радиным?

— Нет уж. Не прими за каприз, но я не в состоянии, не могу их видеть. Ради Бога, пожалей меня. И пойми, если бы не крайность...

На минутку мне стало жаль себя: все чего-то не могут, но почему-то считают, что я всегда все могу. "Потому что ты сильная и добрая", твердит Алька. Он ошибается, как и другие, ни черта они не понимают. Просто мне физически непереносим вид и голос страдающего человека, как иные не выносят, если скребут по стеклу: это как болезнь, что-то вроде идиосинкразии, и чтобы избавиться от муки, я что угодно сделаю... И сейчас, ежась от Наташкиного несчастного голоса и досадуя на себя за слабость, я уже готова была мчаться к ней на другой конец Москвы — только бы перестало свербить. К счастью, Наташка не потребовала от меня этого: мы договорились встретиться у Гришкиного дома.

Не успела я положить трубку, как из коридора появился Алька и стал мне знаками показывать, чтобы я вышла.

— А тот, значит, отвечает: "Чирикать хочется", — услышала я, пробираясь к выходу. Бедные воробушки!..

Алька покачал головой и прикрыл за нами дверь. Лицо у него было расстроенное и сердитое.

- Что там еще стряслось? спросила я.
- Обычная история, Мишка набрался до бесчувствия. Но он ничего, тихий, а Ленка совсем осатанела. Я подумал, может, хоть ты ее образумишь... У тебя это получается. Они на кухне.

Мишка сидел на табуретке, привалясь к плите, и тупо смотрел на жену, которая яростно трясла его за плечи и сдавленным, шипящим голосом повторяла:

— Пошли домой, Мишка, ну, пошли домой...

Тот вяло сопротивлялся и время от времени икал. На лице его застыла бессмысленная, блаженная улыбка.

- Зачем домой? с трудом выговорил он и попытался обнять жену.
  - Скотина! взвизгнула она, ах ты, пьяная скотина!

- Лена, поспешно сказала я, Ленка, милая, оставь его. Он в таком состоянии, что...
- Не могу, не могу его видеть, бормотала она. Ненавижу! Скотина! Нет, ты только посмотри на эту пьяную харю...

Мишка благодушно, бессмысленно улыбался. Лена вдруг размахнулась и со всей силы ударила его по шеке. Мишка пошатнулся и, если б не Алька, наверно, съехал бы на пол. Я оттащила Ленку, налила ей воды, заставила выпить и уволокла в коридор. Щеки у нее пошли красными пятнами, глаза лихорадочно горели. Сейчас начнется истерика, подумала я.

- Пусти, злобно шипела она. Пусти меня на кухню.
- Не пущу. Да опомнись же, Ленка, на тебя противно смотреть. Ну, он пьян, пьян, что с него возьмешь. Все равно не пущу, слышишь... Ну, Ленка, деточка, возьми себя в руки. Его лечить надо, а не по морде... Тебе самой потом стыдно будет ...
  - Мне уже стыдно, прошептала она, внезапно обмякая.
- Он болен, тебе же говорил Павел Владимирович. Заставь его лечиться... А ты руки распускаешь.
- Но если я не могу больше, не могу... Ты не знаешь, я все перепробовала. И по-хорошему, и разводом грозила. Безнадежно. О лечении и слышать не хочет. Уверяет, что его ничуть не тянет к водке, а пьет, понимаешь, для того, чтобы о-т-к-л-ю-ч-и-т-ь-с-я, когда уж совсем невмоготу становится. В общем, с перепугу пьет, от страха перед жизнью.
- "...Выключите меня, я больше не могу". Нет, не так. "Выбросьте меня, я больше не могу!" Где это я слышала совсем недавно?... Такая странная комната, и огромная тахта посредине, и какая-то женщина перекатывается по ней, бьется как раненый зверь и кричит, требует, молит: "Выбросьте меня, я больше не могу!" Как ножом по сердцу: "Выбросьте!" Нестерпимо! я расплакалась. Наташка, ну конечно же, то есть Ирина из "Трех сестер", то есть Наташка в роли Ирины. Как это у нее вырывалось! Вот уж действительно крик души...

- Ах, Надька, что же делать? бормотала Лена, припав ко мне. Теплые слезы щекотно ползли по моему плечу. Ведь я... Господи, во что я превратилась! Тебе противно, да, противно?
  - Поплачь, сказала я, тихонько поглаживая ее по спине.
- Поплачь, деточка, тебе легче станет...
- Но как же мне дальше жить? Что делать, Надя, что же делать?
- Уходи от него. Спасайся, пока не поздно. Лучше расстаться, чем так вот... до потери лица... Вы оба дошли... Уходи, если уж нет сил выдержать.

Ленка отстранилась от меня и испуганно сказала:

- Но я люблю его. Понимаешь, люблю.
- Тогда терпи. Без жалоб и истерик. Терпи, сказала я, смутно чувствуя, что это тоже уже было. Терпи, как терпят простые бабы.
- А, может, и не люблю, прошептала Лена. Иногда мне кажется, что уже ничего не осталось. Перегорело. Знаю только, что без меня он совсем пропадет. Сопьется, сдохнет гденибудь под забором. Что же мне такой ценой спасаться? Да ведь, пожалуй, и не спасешься, если такой ценой...

Тут меня совсем тоска одолела, когда я услышала, как она повторяет чуть ли не слово в слово все то, что я без конца твержу себе...

- Ладно. И так и этак пропадать. Как в сказке: направо ли пойдешь, налево ли... Ну, что там? спросила я Альку, опасливо высунувшегося из кухни.
- Порядок. Я Мишку на диванчик уложил, он теперь спит сном праведника. Ты уж не трогай его, Ленка? И вообще, как советовал этот доктор у Шварца: "Пожмите плечами, махните рукой и посмотрите на все сквозь пальцы". Очень помогает. Вот моя премудрая Надежда давно это усвоила и видишь, прекрасно живем...

Из комнаты вышел Веня, за ним, смущенно и дерзко улы-

баясь, выбежала Вика. Веня кивнув нам и торопливо направился к двери. Вика догнала его:

- Я провожу вас, можно?
- Какая вы, не то восхищенно, не то испуганно пробормотал Веня.

Дверь захлопнулась. Алька присвистнул:

- Ну, Венька теперь покрутится!
- Виталий тоже, сказала Лена. Вы идите, я сейчас, только приведу себя в порядок.

Гриша сидел, подперев голову руками, и мрачно слушал длинноволосого парня, бойко повествовавшего о том, как он провел следователя.

- Кто это? спросила я Альку. Увидительно красивое лицо. На Владимира Соловьева похож.
  - Шут его знает! Первый раз вижу.
- Это еще как сказать, возразил Гриша "Владимиру Соловьеву". Может, твой следователь сидит теперь за дружеским столом, вот как мы, и хвастает, как он тебя обдурил.
- Не понимаю, Григорий Яковлевич, обиженно сказал тот, странно вы как-то говорите. Лично я уверен...
- А! махнул рукой Гриша. Хотите лучше анекдот? Прекрасный анекдот, на все случаи жизни. Правда, со словом, но дамы, надеюсь, простят? Так вот, приходит еврей к раввину и говорит: "Реббе, ходят слухи о денежной реформе. Так что вы посоветуете брать мне деньги со сберкнижки или класть на сберкнижку?". "Ладно, отвечает тот, ты посиди пока в стороне, я подумаю. А тебе что, женщина?" "Реббе, говорит она, я, знаете, замуж выхожу, так как мне, извиняюсь, ложиться в первую брачную ночь в рубашке или без рубашки?" "Дочь моя, отвечает реббе, запомни: ляжешь ты в рубашке или без рубашки, все равно тебя вы... Ты слушай, слушай, Абрам, это и к тебе относится"...

Посмеялись.

- А пропо, заметил Алька, накрывай телефон подушкой или не накрывай... А все зачем-то накрываем. Конспираторы.
- Да вынесите вы куда-нибудь эту чертову технику, крикнула Инга.

Игорь встал, сбросил с телефона подушку и пошел с ним в коридор.

— Ну, насчет конспирации у нас Наталья Гордон главный специалист, — сказала Лена. Она уже как ни в чем не бывало улыбалась. — Знаете историю с мохеровой кофточкой? Ох, ребята, почище всякого анекдота. Дала я ей, значит, какой-то самиздат, не помню уж, что, а потом мне срочно понадобилось. Я ей звоню и говорю: "Я, мол, давала тебе на понос мохеровую кофточку, так верни, пожалуйста". "Ничего не понимаю, отвечает, какую кофточку?" "Розовую, говорю, мохеровую". Не сечет. "Мохеровую? — спрашивает, — да ты что? Нет у тебя никакой мохеровой кофточки, ты о ней только мечтаешь". "Самовязанную", говорю я ей почти открытым текстом. "Разве ты умеешь вязать?" "Ох, Талка, в отчаянии кричу я этой тупице, ты ее еще на книжную полку почему-то положила, за Камю". "Ах, эту, говорит, так бы и сказала. Я ее еще не прочитала".

Посмеялись.

- По-моему, пора выпить, сказал Виталий.
- В самом деле, пора, откликнулись все наши мужчины и потянулись к бутылкам.
  - Так за что пьем? деловито спросил Валерий.
  - За "чтоб они сдохли", предложил кто-то.
  - Было уже, было, крикнула Инга.
  - За это не грех повторить, подхватил Гриша.
- За революцию! звонко сказал парень, похожий на Соловьева. За революцию чтоб не последняя!
  - Избави Бог, замахала на него руками Инга.
- Ребята, сказала Лена, постойте, ребята, что же это мы? Надо выпить за тех, кто т а м. В лагерях и тюрьмах.

В комнате стало тихо-тихо, но мгновение спустя все уже

снова кричали и шумно чокались, кто-то опрокинул рюмку, кто-то сыпал на скатерть соль...

— А вы слышали, какой номер Ростропович отколол? — спросил Виталий. — Очень поучительная история. Фурцева, говорят, до сих пор очухаться не может. Они-то ведь думают — стоит им припугнуть — и готово, и искренне изумляются, если мы не пугаемся. Нет, что ни говори, а время работает на нас, и...

Я вдруг почувствовала, что больше не могу. Еще немного — и начну реветь или скандалить, как Ленка. Ох, не надо было пить!.. Я выскользнула из-за стола и походила по коридору, стараясь успокоиться. Хоть бы Наташка поскорей пришла... И что она задумала, ума не приложу. "Жгу мосты". Еще одна несчастная, Господи Боже, сколько на свете несчастных баб!

— Что маешься, Надюша, — ласково спросила меня Светка. Она вышла из кухни, осторожно неся на вытянутых руках поднос, заставленный чашками, — Сейчас чай пить будем. С тортом.

Я машинально улыбнулась ей и пошла в ванную. Тут было прохладно, темно и тихо. Я уж знаю себя: если мне худо, нужно просто забиться в уголок, подальше от глаз людских и помолчать, глядишь — и отпустит. Я села на край ванны и закрыла глаза. В ушах словно эхо — неумолчный назойливый гул, взрывы смеха, звон рюмок, обрывки каких-то фраз и внезапно из этого хаоса случайных звуков и чужих голосов вырвалось: "Хочу к Глебу" — и все смолкло, только сердце отчаянно и испуганно билось, гулко отсчитывая секунды. — Неужели все дело в этом?

Кто-то прошел по коридору, нерешительно толкнул дверь ванной, заглянул. Кажется, Виталий.

## — Вика?

Так и есть — Виталий.

- Меня зовут Надежда. Ты что, помыться хочешь?
- Нет, я просто так. А что ты здесь делаешь, Надежда?
- Думаю о смысле жизни.
- Тоже мне! Смысла нет, разве ты еще не догадалась?

Он присел на край ванны, со смаком зевнул, обдав меня водочным перегаром, и печально сказал:

- Мне снятся чьи-то колени, мне снятся чьи-то ресницы и только товарищ Ленин мне никогда не снится...
  - Что-о?
- Стишок привязался, никак не отделаюсь. "Трагедия коммуниста" называется.

Я хмыкнула. Виталий с хрустом потянулся и вдруг схватил меня за плечи и стал торопливо целовать. Я еле вырвалась.

- Да отстань ты от меня, пьяный дурак. Убери руки, слышишь? Дурак.
- Ну не буду, не буду, неожиданно трезвым голосом произнес он. Но если, сударыня, вас интересует смысл жизни... Ну, не буду, не дерись, сказал, не буду... Ты Вику не видела?
  - Нет.

Ушел, слава Богу. Вику он, видите ли, ищет. А по дороге хватает всех, кто ни попадет под руку. Губы у меня горели и я сунула лицо под кран, чтобы смыть оставшееся от витиных поцелуев неприятное ощущение нечистоты. А Вику, говорят, он безумно любит. Вроде моего Альки. Из той же странной породы". "Право на измену"... Нет, что-то тут не так, чего-то им всем недостает. Нравственное чувство у них нарушено, вот что. Особый вид душевной аномалии. Но почему, почему? Да, но с другой стороны, во всем остальном...

В коридоре зазвонил телефон. Может, Наташка? Я подняла трубку. Взволнованный мужской голос спросил:

- Квартира Радиных?
- Да.
- Будьте добры, передайте Григорию Яковлевичу, что у него намечается дезинфекция.
  - Ничего не понимаю. Что за глупые шутки?
  - Послушайте, это очень серьозно. Повторяю: дезинфекция.
  - Простите, с кем я говорю?
  - Девушка, это действительно квартира Григория Радина?
  - Я же сказала.

— Пожалуйста, передайте ему, что у него на-днях будет дезинфекция.

Что за черт? Розыгрыш? По голосу не похоже. Но что значит дезинфекция? Обыск? Странно, не из КГБ же Гришу предупреждают? А кто, кроме них, может знать?

Телефон снова зазвонил и тот же мужской голос произнес:

- Квартира Радиных?
- Гришка! крикнула я. Иди скорей к телефону.

Гриша слушал, удивленно подняв брови.

- Чепуха какая-то, сказал он, положив трубку. Дезинфекция! Развлекаются от нечего делать...
  - А может, все-таки?..
- Типичная реникса. Я уж привык: то матом кроют, то обещают морду набить, то еще какой-нибудь вздор. А ты что в передней, как бедная родственница?
  - Мне позвонить надо.

Ушел. Я снова принялась ходить по коридору, стараясь не глядеть на телефон, искусительно подмигивавший мне своим десятиглазым диском. На кухне, мирно посапывая, спал Мишка, на его лице сияла все та же бессмысленная, блаженная улыбка. Я достала из его пиджака сигареты и закурила. "Блаженны нищие духом"... Может, только они и блаженны? Никогда не могла понять этой фразы. Впрочем, это не о том, не про нас писано. Но даже если Бог есть, он давным-давно покинул нас, отвернулся в ужасе и печали. Тоже отключился, оставив нас во тьме. Мы живем в богооставленном мире. Все. И каждый спасается как умеет. Мишка что ж? Уже готов. — отключился, а те, в комнате, еще рыпаются. Вон даже песни поют — Алькин голос: "под крик гармони уходим мы привычно сражаться за свободу в свои семнадцать лет"... Кажется, Окуджава. А гармони не кричат по нас, пылятся где-то позабытые в чехлах, теперь даже на Алкашсквере страдают под гитару... Алька говорит, что Окуджава значит в его жизни больше, чем Пушкин, хотя Пушкин его любимый поэт. "Нам время подарило пустые обещанья, от них у нас, Агнешка, кружится голова"... Интересно, кто такая эта Агнешка? А, не все ли равно, польский колорит... Но если всем уже ясно, что обещания пустые?.. Тогда только и остается, что отключиться. Или искусственно поддерживать себя в состоянии головокружения. Той же водкой, разговорами, видимостью дела...

Можно и любовью, душа моя, есть разные средства, но я предпочитаю любовь... А насчет видимости дела, это Глеб всегда твердит. Как я спорила с ним, как защищала Альку и всех наших! Но сколько же можно цепляться за пустоту! Хорошо тебе рассуждать, Надежда. Ну, положим — хорошо — это сильно сказано. Нет, все-таки, что бы ни случилось, у тебя есть больные, которых надо лечить. А Алька и остальные... их всех повыгоняли с работы, загнали в угол, связали по рукам и ногам и оставили на воле — попрыгайте, мол, пока. Вот и прыгают. Даже чирикают. А те в любую минуту могут дернуть за веревку и затянуть петлю... Их пожалеть надо, а не судить. Я и жалею, разве нет? Но они меня раздражают, и с этим ничего не поделаешь. Раздражают, и хочется бежать, куда глаза глядят. Но зачем же — куда глаза глядят? К Глебу, дорогая, все очень просто. А от него — к Альке? Наверно, я тоже порченная. Ведь все от меня зависит, мой ход, мой выбор. Я запуталась, увязала, ничего-ничего уже не понимаю. Глеб — мой запасной выход. Почти как Израиль для Веньки. Ох, слышал бы он меня, то-то бы возмутился! Обетованная земля... Нет, просто земля — преклонить голову, приникнуть, уснуть, раствориться...

Ах, не могу больше! И что я себя мучаю?.. В коридоре никого не было, только я и телефон, чертова игрушка, пластмассовый змей-искуситель, давным-давно готовый к моим услугам. Семь магических цифр, семь поворотов диска... В трубке долго раздавались меланхоличные длинные гудки. Почему-то я сомневалась, что Глеб дома. И если он не подходит, то значит... Я запретила себе думать дальше, но было уже поздно. Я видела спальню Глеба, слышала, чуть приподняв голову с подушки, как надрывается телефон в передней — или это в дверь звонят? — но Глеб решительно прикрыл мне ладонями уши и притянул к

себе... Сколько раз так бывало, но сейчас вместо меня рядом с ним другая. О-о! Меня пот прошиб от страха, от внезапной боли, огненной мутью поднявшейся откуда-то снизу, будто ударили чем-то тяжелым по животу. Я чуть не завыла в голос и бросила трубку на рычаг. А что, если Глеб разлюбил меня? Глупости, я бы почувствовала. Но мог же он просто завести роман — чтобы освободиться от меня, вытравить из тела, стереть с кожи память обо мне. Я пошла в кухню, взяла еще одну сигарету, закурила и вернулась к телефону. Никому я тебя не отдам, милый... Снова набрала его номер и стала ждать, рассеянно считая гудки. Три, пять, семь... Любовь моя, это я стучусь к тебе, слышишь, открой, это я... Десять, пятнадцать, девятнадцать. Щелк. Ох, наконец-то! У меня даже ноги ослабели, когда я услышала его сердитое "Алло". Голос Глеба вошел в меня до самого донышка, как входил он сам...

- О, Господи, почему ты так долго не подходил? Я уж Бог знает что подумала, я так испугалась...
  - Надя, сказал Глеб. Надя. Надя.
  - Но почему?
  - Я был в ванной.
- А я так испугалась, что ты... Я не во-время позвонила? Ты не один?
- Синичка, я был в ванной. А на свете не так уж много людей, ради которых стоит в такую жару вылезать из-под душа. Я ведь не ждал твоего звонка. Перестал ждать.
  - Ты один?
- Послушай, Надя. Я вылез из-под душа, стою посреди комнаты. С меня течет вода, ты меня слышишь? Он говорил терпеливо и мягко, как разговаривают с перепуганными детьми. Я один, успокойся, и я тебя люблю. Бери такси и приезжай.

Сейчас? — подумала я. Сейчас? Раньше мне случалось выкидывать такие номера: я могла удрать к Глебу с именин или бросить дома гостей, только чтобы взглянуть на него, полчаса туда ("Милый, я на минуточку") — полчаса обратно, зато уж вместе... Нет, сейчас нельзя: Наташка и вообще...

— Глеб, мне очень плохо без тебя. Просто выдержать не могу. Пожалей меня, любимый, пожалуйста...

Он молчал. Он очень долго молчал, и я поняла, что он в первую минуту подумал, что я решилась уйти от Альки.

- Ты не можешь завтра зайти за мной в больницу? Я кончаю в два, как обычно. Я буду ждать.
  - Хорошо, сказал он наконец. Я постараюсь.
  - Постараешься или заедешь?
- У меня во второй половине дня совещание. Но я попытаюсь перенести. Если не смогу, я позвоню.
  - До завтра, милый. Я тебя люблю. И буду ждать.

Я придавила пальцем кнопку — поскорей разъединить, пока он не передумал — да так и осталась стоять, прижимая трубку к пылающей щеке.

Меня вернул к действительности шорох за моей спиной. Я поспешно обернулась и увидела Ингу, внимательно и с какой-то странной печалью рассматривавшую меня. Черт возьми, неужели слышала?

— Вы забыли положить трубку... И, ради Бога, не волнуйтесь, — пропела она своим нежным, как бы обволакивающим голосом, который показался мне сейчас что-то уж слишком сладким. — Я абсолютно ничего не слышала. Уверяю вас.

Вот так, дорогая... Значит, завтра растрезвонит на всю Москву. Если не сегодня. Пускай. Только бы Альке не сказала. А ведь может сказать. Что-то между ними было. Впрочем, почему было. Не исключено, что и теперь. Очень уж томно она на него поглядывает. Ну, и пожалуйста. Я давно привыкла считать Альку чем-то вроде общественной собственности... "Пламень томный, наслажденья знак нескромный"...

— Я бы хотела с вами поговорить, Наденька... Об Алике. Надеюсь, вы разрешите мне на правах старого друга вашей семьи?.. Последнее время с ним что-то неладное творится. Возможно, вам не до него, но он такой подавленный и... заброшенный... Если бы вы...

"Наслажденья знак нескромный"... А Инга привлекательная женщина, пожалуй, красивая... Вся такая круглая, плавная, мягкая... Интересно, знает она, что я догадываюсь о ее отношениях с Алькой? Я попробовала представить себя на ее месте: как я выговариваю жене Глеба за то, что она недостаточно внимательна к нему... Нет уж, увольте, эти игры не для меня. Я приуныла, приготовившись к долгому, фальшиво-задушевному разговору (не могла же я послать ее к черту!), но тут позвонила Наташа.

## IX

Я торопилась к Наташе, подгоняемая тревогой, но в груди что-то пело и подпрыгивало — ах, как я знаю это дивное чувство предвестник счастья, жгучее, хмельное ожидание, почти столь же прекрасное, как и само счастье. Завтра, завтра я увижу весело отстукивало сердце. Завтра, завтра, каблучки. уймись, Надежда!.. вторили Ox, звонко остановилась на лестничной площадке, приблизила лицо к оконному стеклу, откуда на меня глянула моя сияющая морда. "Я один и я тебя люблю". Радость неудержимо рвалась наружу, но я затолкала ее поглубже, в самый дальний уголок души, там она свернулась теплым пушистым комочком, притихла до поры до времени, и я, легко вздохнув, побежала вниз.

Наташа стояла у подъезда и курила. Рядом на скамейке сидел какой-то тип, при моем появлении он как охотничья собака сделал стойку.

— Интересно, у них круглосуточные дежурства или как? — громко спросила я.

Парень обиженно отвернулся. Наташа пропустила мою реплику мимо ушей. Она посмотрела на меня робко и настороженно — она на всех теперь смотрит так, словно ждет удара (ну, меня-то зачем бояться, деточка) — я ее обняла, и трепетная, благодарная улыбка вспыхнула на ее лице, на мгновенье сделав ее похожей на прежнюю Наташу...

- Ты что так меня разглядываешь? спросила она. Страшная я, да?
  - Нет, вполне клевая девочка, как говорит мой Сашка.

Наташа и в самом деле выглядела неплохо: глаза живые, блестят, а это ее всегда красит. Но что-то лихорадочное было в этом блеске. Какое-то мрачное возбуждение переполняло ее и время от времени пробегало по лицу.

- По-моему, ты даже похорошела, сказала я. И помолодела. Да ты постриглась, как же я сразу не заметила?
- Это я новую жизнь начинала, усмехнулась Наташа. Знаешь, такой способ: если у вас плохое настроение, пойдите в парикмахерскую и сделайте новую прическу. А если и это не поможет, купите новое платье. Вот видишь? Французское. Девки из ансамбля "Березка" продавали, я и отхватила. Целых три часа чувствовала себя счастливой.

Платье было черное, облегающее и так ладно сидело на Наташке, будто она родилась в нем.

- Ну и талия у тебя!
- Я на семь кило похудела. Встречаю недавно Марью Евгеньевну, свою бывшую преподавательницу по мастерству, так она просто вцепилась в меня: "Натали, душенька, умоляю, откройте секрет, как это у вас получается диета или гимнастика?" Ничего, говорю, не делаю, само собой выходит. "Ну, значит, особая милость судьбы". Вот именно, думаю, знала бы ты...

Наташа взяла меня под руку.

- Пойдем на бульвар.
- Эх, Наташка, завела бы лучше романчик. Ну, просто так, "для здоровья", как говорит Мариша. Ей-Богу, помогает. Во всяком случае, куда более надежный способ, чем новое платье. Мне и то смотреть обидно такая женщина пропадает!..

Наташа искоса посмотрела на меня и вдруг легко, озорно ухмыльнулась, потешно сморщив нос.

— А я пробовала, честное слово, Надька. Но у меня после этой истории с Федей что-то, видно, отшибло. Совсем уж

уговорю себя: надо, лапочка, надо, а как дойдет до дела, так не то чтобы противно, а просто в недоумение впадаю: и зачем, думаю, люди этим занимаются? — Наташка фыркнула. — Я, Наденька, вроде того катаевского героя из "Квадратуры круга" — в последнюю минуту мне становится смешно. Ну, что ты будешь делать?..

- Дура несчастная!
- Нет, но если смешно? жалобно протянула Наташка.— Можешь ты это понять?
- Не могу, отмахнулась я и неожиданно для себя добавила:
  - А я только что с Глебом разговаривала.
- Вы помирились? Слава Богу! Я бы на твоем месте давно...
- Ох, не знаю. Все это так сложно. Он, конечно, опять ультиматум предъявит. А как я уйду от Альки?
- Да, он просто болен тобой. Как я Федей. Такой же несчастный.
- Ну, что ты сравниваешь? Алька своими руками все разрушил.
- А до него это не доходит. У меня с ним как-то вышел откровенный разговор. Под водку, конечно: "Давайте, говорит, выпьем с вами, Талочка, за тех, кто нас разлюбил". Нет уж, отвечаю, за Федю не буду. "Ну, за мою Надю". И ждет, что я скажу на это. Потом-то я сообразила, что он ждал возражений, для того, наверно, и говорил, но я только сочувственно вздохнула. Тут его и прорвало: стал жаловаться, что ты его разлюбила, что ему без тебя конец. И словно бы между прочим спрашивает, не знаю ли, сколько снотворного надо принять, чтобы...
  - О Господи! Когда это было?
- Не пугайся, пожалуйста. Если б он серьезно об этом думал, разве стал бы трепаться? Да еще с твоей подругой... Я, признаться, предложила ему рецептик достать...
  - Ну, Наташка, злая ты стала...

- Да? А пускай не треплется. Надо же быть мужчиной. Я и то стараюсь не распускаться перед посторонними... Но страдаетто он по-настоящему. Я уж и так и этак его утешала, а потом возьми и ляпни, что он сам во всем виноват. Видела бы ты, как он возмутился! И ведь искрение обиделся, представляешь, даже побелел.
- Да, меня это в нем всегда удивляло... Замучилась я с ним. И Глеба замучила. Глеб как-то сказал: "Что ж, если он слабый, так все ему под ноги бросать и твою и мою жизнь?" Как-то мой милый завтра встретит меня?
- Все равно ты счастливая, тоскливо сказала Наташа. Не думай, я правда за тебя рада. Очень. И потому еще рада, что ты добрая, славная, а счастье так редко выпадает тем, кто его достоин. Хотя... Порой мне кажется, что раз Федя так поступил со мной и притом нисколько не мучается, значит, я это заслужила. Иначе разве мог бы он быть таким спокойным?..
  - Перестань!
- Нет, понимаешь, есть, видно, какой-то закон нравственного воздаяния, и если я расплачиваюсь...

Навстречу нам, по-хозяйски заняв весь тротуар, шли какието парни.

— А я вам говорю, что холеру американцы забросили! — донеслось до меня.

Когда мы поровнялись, я увидела красные повязки дружинников. Один из парней при ближнейшем рассмотрении оказался женщиной. И какого черта ей это надо? Молоденькая, хорошенькая... Дружинники вежливо расступились, пропуская нас.

- Ну, почему американцы? чуть не плача, возразила женщина. Американцы тут ни при чем. Это китайцы. Голову на отсечение даю, что катайцы...
- Бедные, печально проговорила Наташа, всюду им мерещатся козни врагов.

Мы пересекли улицу и пошли по пустынному бульвару. Деревья глухо шелестели листвой, сладко пахли невидимые в темноте цветы, и то ли от этого запаха, то ли от таинственного бормотанья деревьев и тревожной игры теней или от ночной прохлады, ласково коснувшейся разгоряченной кожи, сердце у меня снова дрогнуло и зашлось в томительном, остром предчувствии...

- Никому никогда не воздается по заслугам, сказала я. Но за счастье рано или поздно с нас спросится. "За каждый день иль сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе"... Я это давно поняла, и пусть! я готова платить. Но никакой справедливости в этом нет. Какая уж тут справедливость!.. Совсем наоборот. И кто это так устроил, скажи пожалуйста, что подлость, предательство, преступление все это почему-то сходит с рук и даже вознаграждается.... Вот ты говоришь, что Федор не мучается. Тем хуже для него: значит, ему н е ч е м страдать, душа омертвела. А уж Дарья... Но разве ты согласилась бы вернуть Федора, если б тебе пришлось так же подличать и унижаться? Клеветать, шантажировать, грозить самоубийством?
- Не знаю, сказала Наташа. Но я просто не умею... Тут особый талант нужен. Да и стыдно как-то, а?
- Ах, стыдно! Вот-вот. А ей ничего не стыдно. Так причем же здесь нравственное воздаяние? Слушать тошно. Лучше выкладывай, куда это ты вдруг собралась.

Мы сели на скамейку, Наташа достала из сумки сигареты и попыталась закурить, но ветер все время задувал слабый огонек спички. "Если сейчас прикурит, — машинально загадала я, — все будет хорошо". Я сама не знала, что имела в виду: то ли мое завтрашнее свидание с Глебом, то ли Наташкины дела, то ли все вместе... Огонек снова погас.

- Уж не в Израиль ли?.. Я у Радиных наслушалась всяких разговоров и подумала...
- Нет, это не для меня. Я так считаю: туда нельзя ехать только потому, что здесь плохо. Надо не от ненависти, а с любовью, с надеждой. Надо чувствовать себя еврейкой, жить национальными интересами, а я этого вообще не понимаю. Это

как вера в Бога, одним дано, а другим нет, и сколько ни накручивай себя, все равно ничего не выйдет, даже если умом знаешь, что человеку невозможно без Бога. Да и что бы я делала в Израиле? Я — русская актриса...

Наташа наконец прикурила, затянулась и сказала, не глядя на меня:

- Я на Дальний Восток еду. Дело в том, что завтра возвращается Федор, и мне...
  - Да, я слышала, но, деточка, подумай...
- Знаю, все знаю глупо, нетерпеливо перебила Наташа. Конечно, глупо. Но мне так легче. Я просто не выдержу, если на меня снова обрушится вся эта грязь, если они стануть сводить со мной счеты...
- Не понимаю, чего ты боишься. Дарья давно успокоилась, она и думать о тебе забыла. И Федор тоже, как это ни печально.
- Как бы не так! Она опять приходила ко мне и требовала, чтобы я созналась, что ничего у нас с Федором не было... И чтобы я отдала его письма.
  - Бред какой-то. Откуда же письма, если ничего не было?
- Письма, Наденька, я подделала, чтобы скомпрометировать Полушкина и разбить его семейное счастье. Или в КГБ подделали, я ведь на них работаю, разве ты не знаешь?
- Прекрати, Наташка. Уж на что у нас все готовы подозревать друг друга, даже Амальрика считали агентом КГБ, но про тебя-то никто не поверил, сколько Дарья ни убеждала.
- Ах, что мне сплетни, распускаемые Дарьей! В конце концов она тоже несчастная баба, потерявшая голову от горя и ревности. Ее можно понять и простить...
- Ну, и правильно, правильно, что ж ты тогда психуешь? Наташка страдальчески сморщилась и, придвинувшись ко мне, зашептала:
- Она мне последнее Федино письмо показывала... Он, видишь ли, удивляется, почему ходят слухи о его отношениях с некой Н. Гордон. Пора, наконец, прекратить это и прямо спросить: "а был ли мальчик?". Лично он ничего не помнит и вообще едва

знаком со мной, но готов допустить, что переспал под пьяную лавочку. В своей прежней жизни, до того как на него снизошел свет истины, ему случалось низко падать, а женщины моего сорта сами ложатся, и если он что-то должен мне за услуги... Она мне деньги по почте послала...

— Это невозможно, Наташка. То есть Дарья на все способна, но Федор не мог этого написать. Невозможно!

Я попыталась представить себе, как он сидит где-то там, в лагерном бараке, склонившись над листком бумаги, и сочиняет это письмо, тщательно подбирая самые оскорбительные слова так замышляют убийство, рассчетливо и хладнокровно, но эта зловещая картинка, напоминавшая кадр из какого-то кинофильма, тут же померкла и растаяла; на экране моей памяти, заслонив все, крупным планом возникло Федино лицо, каким я видела его в последний раз, — лицо человека, пораженного амоком. Он прибежал ко мне в полном смятении и потащил к Наташкиному дому, она была на гастролях или отдыхала, не помню, а Федор, оставшись без нее, запил напропалую и почемуто вообразил, что Наташа в Москве, но не хочет его видеть, разлюбила, вернулась к мужу или нашла другого, и я должна была пойти к ней и все разузнать, потому что, если этот другой там, он, Федор, не имеет права мешать им, он понимает, сам виноват, раз не решился уйти от жены, и поделом ему, но он все стерпит, пусть даже Наташа изменит ему, он что угодно выдержит, только бы она не бросала его совсем... Мы долго ходили под Наташкиными темными окнами, я как могла успокаивала Федора, а он все повторял, что пропадет, сдохнет, если Наташа бросит его, что без ее любви ему не выжить. Стояла такая же теплая июльская ночь, как сегодня, и вот теперь я сижу с Наташкой и беспомощно молчу, не умея утешить ее, потому что нет таких слов...

— Все, Надя, возможно, — сказала она. — В том-то и ужас. Оттого и страшно жить. Я уже ничего не понимаю, только знаю, что все возможно, что каждый, каждый может встать на четвереньки и захрюкать. Помнишь мой сон?.. Федор, между

прочим, в оборотней верил. Я, конечно, посмеивалась над его страхами, но теперь думаю: а вдруг он прав? Может, он потому и боялся, что знал. Может, он сам...

- Ты это серьезно?
- Ах, не знаю. Мне кажется, я бы успокоилась, если б могла понять... Ну, разлюбил, что ж? Разве нельзя по-человечески расстаться? Я ведь ему никакого зла не причинила, если только невольно... Да отдай я Дарье федины письма, она б его до конца дней терзала... Когда она ушла, на меня словно помрачение нашло. А что, думаю, если и впрямь ничего не было и все это мне померещилось? Достала его письма — я их давно не перечитывала, к чему? — и даже сама удивилась: неужто он так любил меня? Ну, там есть совсем безумные, отчаянные, я понимаю, страсть проходит, но последнее за день до ареста писал — такое тихое, покорное, доверчивое, с ума сойти, я его голос услышала, забыла уж, какой у него голос, всего его по кусочкам, по черточке забываю, а тут вдруг слышу, как он говорит мне: "Деточка, не любви надо просить, а жалости... Для меня — сама знаешь — ты была спасением, но Талка, Талочка, любовь моя, сладость моя, последняя моя надежда, я же не виноват, что не встретил тебя раньше. Пожалей, пойми... Вот забился на свой чердак, чтобы думать о тебе. Каждому — нору подавай. Преклонить голову. У меня ты — нора. Сейчас представил, куда бы деться — одна ты"...

Она судорожно закрыла лицо руками и расплакалась.

- Зачем же так безжалостно топтать меня? всхлипывая и раскачиваясь из стороны в сторону, шептала она. Безбожно... Даже если моя любовь грех... Пусть, пусть, вскрикнула она, видя, что я хочу возразить, он теперь так считает: грех, грязь, хотя раньше все удивлялся, что я живу как до грехопадения... Но ведь их Христос простил и пожалел самую распоследнюю блудницу...
- Неужели ты никогда не освободишься от этого?
- Если бы понять...

- Не качайся ты, ради Бога, Наташка. У меня уж нервы не выдерживают.
- Прости... Я сейчас... Сейчас все пройдет... Видишь, я уже взяла себя в руки.

Испуганно посмотрела на меня, вытерла слезы ладошкой и вымученно улыбнулась.

— Наденька, солнышко, ты умная, добрая, счастливая, научи, как мне жить после этого... Раз уж приходится жить!...

Господи, неужто мы ничем не можем друг другу помочь, даже если хотим?

Дай закурить, — сказала я.

— Кончились сигареты.

Где-то сзади нас громко хлопнула дверь, выпуская подгулявшую компанию. Звонка дробь каблучков, разноголосый говор, визгливый смех... И вдруг, заглушив и мгновенно отодвинув куда-то эту мелкую, пошлую возню, в небо взмыл хриплый, жаркий, неистовый мужской голос, и странная, нездешняя песня (молитва? плач?) поплыла над Москвой. О чем он молил, что и кого оплакивал? Не все ли равно? — себя, свою любовь, меня, всех нас... И словно отвечая ему, печально и пронзительно запела труба, забираясь все выше И выше, немыслимые верха, маня невозможной надеждой...

— О-о, выдохнула Наташа, почти молитвенным жестом сжав бледные руки, Армстронг... Как это он, Надя, что же это он лелает?

И я вспомнила те единственные слова, которые еще имели для нее смысл:

Твое спасение в театре.

Мелодия оборвалась так же внезапно, как и возникла. Треск, обрывки английской речи... Наверно, у них транзистор, сообразила я.

— Если б мне Бог дал талант, как тебе, я бы, несмотря ни на что, была счастлива. Этого-то у тебя никто не отнимает... Ты меня просто перевернула в "Трех сестрах"... Знаешь, Наташка,

если человек талантлив, страдание обязательно пригодится ему. Наверно, в искусстве только такой ценой и можно...

- А я товаром редкостным торгую, свою любовь и муку продаю... задумчиво проговорила Наташка. Да, конечно, если б давали играть... Но разве им нужно искусство? Все как-то сошлось одно к одному. "Трех сестер" запретили, назначили нового худрука. В театре растерянность, интриги. Тоска зеленая... Нет, все-таки я не думала, что они запретят Чехова. Когда за политику преследуют, можно понять, но тут только за талант, за живую душу!...
- В провинции то же самое, только еще хуже. И жить труднее. И полное одиночество. Ты хоть представляешь, что тебя там ждет? Наташка, дурочка, не уезжай, плюнь ты на Полушкиных и всех этих...
- Не надо об этом, взмолилась она. Не мучай хоть ты меня...
  - Ну хорошо, куда ты собственно едешь?
- В Магадан, неуверенно ответила Наташа. Только не рассказывай пока никому.
- Ничего умнее ты не могла придумать? Маришка была весной в тех краях, целый месяц потешала нас всякими байками. Очень лихой фельетончик написала, ты бы прочла... Теперь ее в очередной раз прорабатывают. Да тебе просто стыдно будет выйти на сцену...

Наташка только вздохнула, но вдруг, словно вспомнив чтото, резко повернулась ко мне.

— Ты все еще дружишь с ней?

Что-то неприятное было в ее тоне, какой-то скрытый намек...

- С Маришкой? Конечно. Странный вопрос. Что, она тебя тоже обидела?
- Меня? протянула Наташка. Меня? Нет, напротив, обласкала, пригрела, подарила какую-то шляпку собственного изделия и усиленно зазывала приходить.
  - Вот видишь! Маришка редкий человек: талантливая,

умная, красивая и к тому же добрая. Даже не верится, что такое бывает.

- И не верь, Наденька, не верь!..
- Какого черта! Ты можешь ее в чем-то конкретно упрекнуть? Нет? Тогда помалкивай.
- Удивляюсь твоей слепоте, хмуро сказала Наташа. Конечно это не мое дело, но я бы на твоем месте шуганула ее из дому. Без всяких объяснений. Попробуй, а? Поставь эксперимент. Увидишь, она даже не спросит, почему...
  - Выкладывай, что ты знаешь.
  - Ничего, быстро ответила Наташа. Ничего.

Ох, что-то она темнит!..

- Просто она насквозь фальшивая и все время играет какую-то роль. У меня на это, Наденька, профессиональное чутье. Тем более, что и играет-то она дилетантски. Все придуманное, ненастоящее, напускное. Как ее любовь к кошкам.
  - Что ты имеешь против кошек?
- Чудачка ты, Надя. Да ведь она их вовсе не любит! Одно притворство. Вот Ленка любит, так у нее в доме полно кошек, да еще шенка хромого где-то на улице подобрала... А твоя Марина обклеила переднюю кошачьими фотографиями, дешево и сердито, а главное никаких хлопот, не то что с живой тварью.
- Но у нее одно время была кошка, даже несколько, растерянно сказала я.

В сущности чепуха, но меня почему-то ужасно поразили Наташины слова: страсть к кошкам была общепризнанной слабостью Марины, и вообще она часто говорила о своей необыкновенной любви к животным, и никому не приходило в голову усомниться в этом.

- А куда они делись? сердито спросила Наташа. Одну, говорит, украли, другая сбежала. Собачку ей подарили ко дню рождения, так она живо спровадила ее куда-то.
  - А Оська? Разве ты не помнишь? Если б не Марина...

Оська, рыжий ирландский сеттер, умница и добряк, был всеобщим любимцем, но после ареста Калиновских, когда он

остался совсем один, никто не захотел взять на себя лишнюю обузу, а Марина, недолго думая, приютила чужую собаку.

- Еще бы не помнить! сказала Наташа. Сколько разговоров было! Удивительно, как создаются легенды. Оськато через два месяца помер, а вы...
  - Но, Наташка, не станешь же ты обвинять Марину....
- Она Оську в коридоре держала, а тот привык спать в комнате, в ногах у хозяев, и все ночи напролет скребся в дверь Маришкиной спальни, скулил и плакал совсем по-человечьи. Мне мадам сама рассказывала, жаловалась, как ей тяжело. Ну и не лезла бы в благодетельницы! Но она обожает красивые жесты. А тут расчет особый: разве могла она упустить случай взять собаку из "такого" дома? С одной стороны, вся либеральная Москва сразу оценила Маришкину самоотверженность и геройство, с другой никаких неприятностей от КГБ, совершенно безопасно. А расплачиваться пришлось Оське: затосковал и помер. Не живут они у нее и все, потому что животных словами не заморочишь, это тебе не люди...
- Он все равно не пережил бы разлуки с хозяевами, возразила я. Но Оська неотступно стоял передо мной, глядел своими кроткими, доверчивыми глазами. Неужто он каждую ночь скребся в Маришкину дверь?
- Знаешь, Наташка, при желании кого угодно можно изобразить в неприглядном виде. Вот меня, например, ты считаешь хорошим человеком, а погляди, что получится, если взглянуть недобрым взглядом? Няньку я совсем забросила, а она мне почти как мать и Сашку моего вырастила. Мужа обманываю, любовника обманываю... В общем, лживая бессовестная баба, которая еще имееет наглость считать себя порядочной. Скажешь, не так? Все правда и в то же время неправда. Ей-Богу, Маришка гораздо лучше, чем ты думаешь.
- Ах, да шут с ней! Мне бы со своими заботами распутаться... Давай лучше о деле. И так я тебя задержала, прости, пожалуйства, но мне действительно некого кроме тебя попросить.

- Зачем ты так? Что ж, если б не дело, ты бы и попрощаться не пришла?
- Не знаю. Нет, если уж откровенно. Не обижайся, я уже все дорогое от сердца оторвала... Так вот: у меня остались Федины рисунки и эскизы. Из цикла "Мистерии любви".
- Представляю себя! Я невольно поежилась: Федины картины мне были слишком памятны.
- Нет, это совсем в новой манере, сказала Наташа, и тихая, печальная улыбка на миг осветила ее лицо. Это про нас с ним... А нас уж нет... Непостижимо. Федор все мечтал написать о любви как об очищении, потому что понял... В общем, это неважно. Передай Полушкину, что все его работы в целости и что в любую минуту он может их забрать.

Наташа порылась в сумочке и достала клочок бумаги.

— Это адрес человека, где все хранится. Я предупредила. Ты без сумки? Не потеряй, ради Бога. А то Федор скажет, что я украла его гениальные творения.

Я взяла бумажку, сложила и засунула под лифчик.

- Не беспокойся, все будет в порядке.
- Федины письма я туда же отнесла. Такой белый пакет, перевязанный красной тесемкой. Ты увидишь. Писем не отдавай. Скажи, что я их уничтожила. Но если со мной что-нибудь случится, сожги.
  - Наташка, родненькая, закричала я, ты что?
- Нет, нет! торопливо прервала она меня, Не думай ничего такого. Я просто на всякий случай. Может, я и наложила бы на себе руки, я вовсе не боюсь смерти, правда, жить гораздо страшнее, гораздо! Но я одного боюсь глупо, конечно! ведь если умрешь, то все до лампочки, я боюсь, что он обрадуется. Думаешь, обрадуется? Скажи честно.

Ему все равно, подумала я. И сказала:

- Ну, что ты истязаешь себя? Не знаю, я ведь тоже ничего не понимаю. По-моему, он болен.
- Что-то я еще хотела... Да, ключи. Давно собиралась тебе вернуть, но духу не хватало. Смешно, до чего живуча надежда! Я

их вроде талисмана хранила. Возьми. А помнишь, что ты сказала, когда дала их мне?

- Вручаю вам ключи счастья, смущенно ответила я. Кажется так, да?
- Все равно, Надя, тебе я на всю жизнь благодарна. Ты меня как любимую сестру приняла. Неловко мне было ужасно, я до того никогда по чужим квартирам не таскалась, а ты так хорошо, понимающе улыбнулась мне, что у меня сразу отлегло от души и я почувствовала: это мой дом и не надо стыдиться, все правильно...

Все правильно, думала я, глядя на них, но почему, почему нам не дана власть остановить мгновенье? Я укладывала вещи мы с Алькой и Сашкой уезжали отдыхать, — Федор нагрянул к нам неожиданно, непривычно взбудораженный, помолодевший, наэлектризованный (даже его темнорусая борода в тот день празднично полыхала буйным рыжим пламенем), пошептался о чем-то с Алькой, убежал, не простившись, и вскоре вернулся, ведя за руку смущенную, сияющую Наташку. Я сразу все поняла и вспомнила наше ялтинское лето, и печаль коснулась моей души, хотя в то время я еще считала себя счастливой женщиной и не догадывалась, что даже воздух в нашем доме отравлен обманом, но все-таки мне стало грустно, что для нас с Алькой никогда уже не вернется та праздничная, лучезарная, хмельная пора, когда счастье еще внове и не притушено привычкой и не устаешь изумляться непостижимой мудрости природы, создавшей нас друг для друга, и благодарить судьбу, пославшую нам встречу, которой ведь могло и не быть (подумать только, прожить жизнь, так и не узнав, что где-то томится моя заблудившаяся половинка!), я еще не подозревала, что такое бывает дважды, что год спустя я буду стоять на обочине дороги, по которой суждено проехать Глебу, и случайным взмахом руки остановлю его машину — и чудо повторится, я знала лишь, что у нас с Алькой это осталось позади, и вздохнула о безвозвратном, глядя на счастливых любовников, которые были еще в

самом начале пути, и порадовалась за них, как сестра. Да, вот как это было, и я ободряюще улыбнулась Наташе и с легким сердцем отдала ей ключи...

— Если б какая-нибудь гадалка напророчила нам тогда, чем дело кончится, на чем сердце успокоится... Держи.

Ключи уныло звякнули, когда я продела палец в колечко, скреплявшее их.

— Как бы то ни было и что бы ни случилось, запомни: мой дом — всегда твой дом. И когда бы ты ни вернулась в Москву...

Наташа покачала головой:

- Что-то ты слишком красиво заговорила. Как в романах. Не надо, Надежда, не надо никогда ничего обещать. Я уж теперь научена на всю жизнь. Кто знает, что будет с нами через год, через два? Разве ты можешь поручиться, что будешь рада мне, что наша дружба...
  - За себя могу.
- Нет. Даже ты. Ах, лапочка, сказала Наташа совсем другим тоном, научную литературу надо изучать, тогда все поймешь. Знаешь универсальный закон Чизхолма? Прелесть что такое, вся мудрость мира в двух пунктах: а) все, что может портиться, портится; б) но и то, что не может портиться, тоже портится. Вот так, дорогой друг. А на прощание не мешало бы нам с тобой выпить. Посошок на дорогу, как говаривал в прежней жизни Федор Игнатьевич Полушкин.
- Пошли к Радиным. У них наверняка осталось. Ну, пошли, не съедят же тебя там. Гришка к тебе очень хорошо относится. И Светка.

Наташа вздохнула и послушно поднялась.

Было, наверно, совсем поздно, даже пьяных не слышно. Москва угомонилась, промокла, и наши одинокие шаги грустно и сиротливо звучали в ночной тишине.

- Ты в котором часу летишь? Я бы проводила тебя.
- Ни к чему это. Только лишние слезы.

На скамеечке, где давеча сидел дежурный стукач, никого не

было. А может, он и не стукач вовсе... Наташа остановилась и решительно сказала:

— Не пойду я туда, Надя, не могу их видеть. Хотела пересилить себя, но чувствую — не могу... Боже ты мой, раньше чуть ли не за счастье почитала, что знакома с ними! Как же, лучшие люди, совесть России... А теперь иногда думаю, что они нисколько не лучше тех, кто их преследует. Чехов по этому поводу очень точно заметил: если ты политически благонадежэтого достаточно, чтобы считаться удовлетворительным гражданином. То же самое у либералов: достаточно быть неблагонадежным, чтобы все остальное было как бы незамечаемо... По-моему они даже хуже, потому что от тех-то знаешь, чего ждать, тут уж без обмана, да и что они могут? — самое большее в тюрьму посадить, а эти, — Наташка яростно кивнула в сторону радинских окон, — эти душу растопчут и даже не заметят... Так бы и крикнула им всем: чума на оба ваши лома!..

Не эти ведь, Наташка. Нельзя же в самом деле из за одного человека...

- Ты считаешь, из-за одного? Действительно так считаешь? Да неужели ты не видишь?..
- Ах, Наташа, я стараюсь не замечать! Но мне это не всегда удается. Они изменились. Очень меня это все время мучает. Я и Альке сегодня сказала, не выдержала: что же это получается, стоит только человеку заняться спасением человечества, как ему уж плевать на людей?..
  - Вот я и говорю...
- Нет, ты иначе, Не сердись, деточка, ты тоже изменилась. Я понимаю, в тебе боль кричит, обида, но все-таки... Не ради других, ради самой себя постарайся быть снисходительной, терпимой. Чтобы сохранить себя. Ты ведь добрая.
- Была. Ты еще помнишь, какая я была?.. Но если б ты знала, как трудно не озлобиться от горя, от унижений. Это все враки, что страдание облагораживает, черта с два ... Вот и Федор... Сломили они меня.

- Ты еще поднимешься. Я по себе знаю: рано или поздно наступает такой момент, когда...
- Нет, я конченый человек. А ты смотри, Надежда, не поддавайся этой проклятой жизни.
  - Наташка, Наташка, боюсь я за тебя!..
  - Я крепко обняла ее, расцеловала.
- Прощай, проговорила она, прижавшись ко мне. Прощай, родненькая. Не поминай лихом... Видишь, опять чуть не разревелась... Ну, все, все...

Поцеловала меня дрожащими губами, вздохнула, улыбнулась сквозь слезы — и поспешно зашагала прочь. В каком-то оцепенении глядела я ей вслед — не остановить, не вернуть — и душа моя тихонько скулила от боли. Куда ее несет, зачем?.. И когда еще мы свидимся?

- Прощай, Наденька, донеслось из темноты. Дай Бог тебе счастья!
  - До свидания, Талочка!
- Ну и напугала ты меня, сказал Радин. Когда в такое время звонят в дверь, как-то не по себе делается... Я, понимаешь, не заметил, что ты уходила, и мне вдруг показалось...

Он отступил на шаг, впуская меня, и прочно встал, загораживая коридор своей массивной, грузной фигурой.

- Мне вообще многое теперь кажется... Ты вот пошутила, а мне уже черт-те что мерещится, пробормотал Гриша, глядя на меня с какой-то потерянной, заискивающей улыбкой. Хожу и рассуждаю что бы это значило? Намекает? Нет, думаю, не может быть, чтобы Надька тоже верила в это. А потом вспомню твои слова, и опять засосет...
  - Ничего не понимаю. О чем ты?

Пьян он, что ли? Лицо красное, набрякшее, глаза воспаленные..

— Будто уж не понимаешь! — хрипло проговорил он, не

сводя с меня тяжелого, воспаленного взгляда. — Эх, Надька, Надька!

Губы у него жалко дернулись, и я со страхом подумала, что он сейчас заплачет.

- Да что я такое сказала? Просто сумасшедший дом какойто! И без тебя голова кругом идет, говори прямо, ну!
- Ты давеча так мило пошутила, что я туда как на службу хожу.
  - Куда?
  - На Лубянку, куда ж еще! рявкнул Гриша.
  - Ну и что?

Я оторопело уставилась на него, не решаясь поверить мелькнувшей догадке.

- Думаешь, я не знаю, что про меня говорят все эти...
- Как тебе не стыдно! сердито сказала я. Тебя ж действительно без конца на допросы таскают. Нет, ты просто спятил, если мог подумать...

Но он не слушал.

- Я знаю, знаю! Не ты, так другие. Все эти либеральные хлюпики. Забились, как крысы, по углам и из своих благо-устроенных нор шипят, что я провокатор. Не спорь, я все знаю, спиной чую... Ну, я терплю, терплю, но сколько можно! Я ведь не железный, у меня тоже нервы, а от этих вонючих разговоров...
- Никто ничего подобного не говорит, твердо сказала я. (Ах, сколько раз я все это слышала!)
- Ну, может, прямо и не говорят, но объективно, о бъект и в н о, гнусаво протянул он, кому-то подражая, Радин играет роль провокатора... Никак не могут пережить, сволочи, что меня до сих пор не посадили. Посадят еще, посадят, недолго вам ждать осталось! Не самому же мне туда проситься... Я же не виноват, в конце концов, что меня не забирают... Ну, скажи, ради Бога, что мне делать?

Какой день!.. Какой мучительный, нелепый, длинный-длинный день: Ленка, Миша, Веня, Наталья, теперь вот Григорий. И когда это кончится? Безнадежно.

— Не думай об этом, Гриша, — устало проговорила я. — Не надо, милый.

Слова, слова... Неужели мы ничем не можем друг другу помочь?..

Я нерешительно протянула руку и погладила Гришины курчавые седеющие волосы.

— У тебя каракулевая голова, — сказала я. Слабая улыбка тронула его губы. А взгляд — словно у загнанной клячи. Острая жалость царапнула меня. Вот только это мы и умеем — жалеть... Их надо гладить по головке как маленьких. И рассказывать сказки, чтобы отвлечь, заговорить боль.

На другом конце коридора открылась дверь и Инга лениво проплыла на кухню, скосив в нашу сторону горящий любопытством глаз. Я втолкнула Гришу в ванную. Я сама еще не знала, что скажу ему, но не могла же я оставить его в таком состоянии...

— Послушай, Гришка... Я недавно сдавала на почте посылку в лагерь. Вес был больше, чем положено по инструкции, и приемщица отказалась взять. Я ей говорю: прочтите адрес. Т а м эту посылку, знаете, как ждут? Вы бы уж не придирались, а? Она прочла, поглядела на меня — не то с жалостью, не то с осуждением, не пойму, и спрашивает: "За что сидит?" "За правду", говорю. Она усмехнулась: "Какая статья?". "70, бывшая 58-ая". Лет ей под шестьдесят, мало ли что в ее жизни было? Может, знает, что такое 58-я, если статью спрашивает. Смотрю, взяла посылку и начала оформлять. "Муж?" — "Нет. просто знакомый". "В наше время, милая барышня, от таких знакомых шарахались"... "Что ж, времена меняются"... Ну, она между тем выписывает квитанцию, дошла до вздохнула: "Слыщала я кое-что об этом деле... Напрасная затея, зря только свою жизнь губят". Пришлепнула печать и говорит: "Но все-таки хорошо, что в России есть люди, которые готовы пострадать за правду. Передайте привет вашему знакомому и имейте в виду, что по этому адресу я приму у вас любую посылку". Представляешь? Ужасно она меня обрадовала и поразила: кругом народ, а она...

- А эти, в очереди, что?
- А ничего. Стоят с совершенно непроницаемыми лицами, словно не слышат. Так вот, Гриша, она очень правильно сказала. Пока существуют такие люди, есть еще надежда, что не все пропало. И что бы там ни говорили, это очень важно. Мне, например, это помогает жить. Поэтому ты должен держаться, как бы тебе ни было трудно. Ничего другого не остается, понимаешь? Ты просто не имеешь права...

Гриша слушал, неловко пристроившись на краю ванны и настороженно вглядываясь в меня, но по мере того как я говорила, его напряженное, угрюмое лицо оттаивало и светлело.

— Ах ты, солнышко ясное, — ласково сказал он. — Спасибо, обогрела. Надежда-Утоли мои печали...

Он покрутил головой и, добродушно усмехнувшись, добавил:

— Если не ошибаюсь, дорогой доктор, это называется психотерапия. На такую высоту меня вознесла, куда там! Мне, пожалуй, на цыпочки придется встать, чтобы до собственного постамента дотянуться. Хитра!.. Все равно спасибо на добром слове, вроде и полегчало. Живая у тебя душа, Надя, а кругом полно мертвых душ... Что-то выморочное носится в воздухе...

Это запах поражения, подумала я, запах поражения, но ничего не сказала.

- А тут еще этот подонок весь вечер перед глазами. Юрка Мельников. Ведь это он Борика Иоффе заложил. Представляещь? Только никому не говори.
  - То-есть как? Что-то я в толк не возьму...
  - Что ж тут непонятного? Настучал и все.
  - Мельников? Какой он из себя?
- Длинноволосый, смазливый. Ну, еще про допрос рассказывал, хвастался, что следователя объегорил. За революцию предлагал выпить, помнишь? Я едва сдержался, чуть было не вмазал...

- Погоди, Гришка, не кипятись. На чем, собственно, основаны твои подозрения?
- Подозрения! Я совершенно точно знаю. Неопровержимые доказательства.

Я совсем растерялась.

- Так какого черта ты не спустишь его с лестницы?
- И рад бы, Надя, да нельзя. Нельзя, чтобы они знали, что мы его раскусили. Во всяком случае, пока Борькиноследствие не кончилось. Вот и приходится терпеть эту мразь. Я, может, из-за этого еще так распсиховался сегодня. Ты уж прости...
- Но, Гриша... Ты действительно уверен? Ведь не раз уже бывало, что пустят про кого-нибудь слушок, а потом оказывается все вздор. Ты же сам, сам... я осеклась, поймав его тяжелый, воспаленный, почти безумный взгляд.
- В общем, я тебя предупредил, хмуро сказал Гриша и, ссутулившись, поплелся к двери.
  - Позови Альку, домой хочу, крикнула я ему вслед.

Еще один пропащий... Окаянная жизнь, всех перемалывает. Правых и виноватых — без разбору. "Это все беллетристика", услышала я знакомый бархатный голос. Да, Сережка в полном порядке, ничего не скажешь. Я поставила его рядом с Гришей и мгновение придирчиво разглядывала. Татаринов пожал плечами и с брезгливой усмешкой отвернулся от своего бывшего друга. Я смотрела, как он уходит — молодым шагом, подтянутый, уверенный, элегантный. Погоди, Сережа, послушай: неужели тебя совсем ничего не мучает?.. Но он уже исчез, оставив меня одну с моими дурацкими вопросами, — пошел разжигать священный огонь... Боже мой, но это неправильно, должна же быть хоть какая-то справедливость? Сережке — тридцать серебренников, а Радину — терновый венец и нравственное воздаяние! Почему расплачиваются такие как Гришка и Алька, — и не только страданием, лишениями, тюрьмой, наконец, которая маячит впереди, это в порядке вещей, с этим можно и должно мириться, раз уж выбираешь этот путь, но если в итоге — саморазрушение, распад личности то к чему, зачем все эти жертвы?..

Я встала и тут же поспешно ухватилась за край ванны. Земля уплывала из-под ног, увлекая меня в свое безумное кружение. Все сдвинулось, перепуталось, смешалось — Алька, Гриша, Сережка; откуда-то вынырнула Анютка и яростно крикнула: "Дерьмо". Лена, всхлипывая, хлестала по щекам Мишку, а он ничего не чувствовал, спал с улыбкой идиотического блаженства на лице... И где-то плакала Наташка и в горестном недоумении повторяла: "Если бы понять...". И Оська все скребся, скребся и скребся в Маришкину дверь, смиренно и доверчиво, не теряя надежды... Бедная тварь, все мы вроде тебя: тычемся носами в запертую дверь и умираем, не дождавшись ответа. А там, за дверью, притаилась Марина, безмолвная и загадочная, как ее бумажные кошки, и сердито думает: "Ах, оставьте вы меня в покое. Что я вам — нанялась в утешительницы?" Но, Маришка, как же ты могла?.. Наверно, она уши затыкала...

Я снова встала и, пошатываясь, держась за стены, вышла из ванной. Да ты никак пьяна, Надя? А, не все ли равно...

Мишка по-прежнему сладко спал. У плиты священнодействовала Инга.

— Хотите кофе, Наденька?

Я взяла чашку и с наслаждением отхебнула. Не стоило, конечно, пить на ночь кофе, опять не засну, но нужно было както взбодриться. А то ведь и до дому не доберусь.

 Мы не закончили наш разговор, — мягко улыбаясь, сказала Инга.

Только этого мне сейчас не хватало!

- Ради Бога, отложим, взмолилась я. У меня просто нет сил.
- Боюсь, потом будет поздно. Простите за настойчивость, но вы, наверно, не отдаете себе отчета, в каком он состоянии. Поймите, Алика надо спасать и немедленно...
- Вот вы бы и попробовали, Инга, тихо сказала я, чувствуя, как во мне закипает раздражение. Неужели он и с ней о самоубийстве говорил? Попробуйте. Мне кажется, у вас

должно получиться ... Вы такая красивая, женственная, добрая. И так преданы Алику. Вам и карты в руки.

- Благодарю вас, вы очень любезны. Но я хотела бы, чтобы вы отнеслись к моим словам со всей серьезностью.
  - А я вполне серьезно.

Инга бросила на меня быстрый взгляд и, через силу усмехнувшись, проговорила:

— Вы переоцениваете мои возможности. Поймите же, если я решилась обратиться к вам...

Что-то дрогнуло в ее лице, красивые голубые глаза потемнели, румяные губы беспомощно сникли. Весь ее светский лоск слинял, и я вдруг увидела несчастную, страдающую бабу. Черт возьми, да ведь она, наверно, любит Альку!

— В общем, я сделала все, что могла, — сказала Инга. — Но ему никто не может помочь. К сожалению, ему нужны только вы.

Ну, разумеется, поэтому он и спит с тобой. А между делом рассказывает, как страдает по мне. Я сама не ожидала, что так обозлюсь. Болван! Мог бы все-таки о чем-нибудь другом беседовать со своими дамами... Да и надоело мне слушать о его безумной любви.

— Алька! — крикнула я. — На выход! Извините, Инга, нам домой пора.

Алька как из-под земли вырос, улыбающийся, веселый, возбужденный. Сна ни в одном глазу: Алька — ночная птица.

- А это что? спросила я, увидев у него в руках толстую папку. Опять?..
- Артур Лондон свеженький, только вышел. С трудом выпросил у Гришки. Да ты не беспокойся, деточка, к нам теперь нескоро нагрянут.

Гриша вышел нас проводить, галантно склонился к моей руке.

— Жена у тебя — чудо. И как это тебе, дураку, так повезло?.. Держись за нее. Алька рассиялся, напыжился, самодовольно повел головой... Смешной... Обожает, когда меня хвалят.

 Держусь, — весело крикнул он и, по-хозяйски обняв меня за плечи, повел к двери.

(Продолжение следует)

Анна Герц

Я силюсь передать бумаге Великий, драгоценный шум — Как успокаивает ум — Струящаяся с неба влага! Какие б ни были в пути — Заботы, горе, беспокойство, В природе есть живое свойство — Все это счастьем превзойти. Не тем, что вносят деньги, слава, Но той высокой тишиной, Когда вселяется покой — Врачуя душу от отравы.

А. Величковский

## ЛИСТОПАД НЕУДАЧ

Полночь чертит над городом контуры труб, Жарко ветер скользит по бессонице губ, По усталости рук бродит, сух и горяч. Листопад неудач, листопад неудач.

Рвётся птицею память сквозь дней провода, И поёт, и кричит: Никогда, никогда Ты не сможешь забыть этот смех, этот плач. Листопад неудач, листопад неудач.

Ты бросаешься в ночь, ты садишься в такси И, как вызов, бросаешь шофёру: Вези! Мимо сонных домов, мимо рощ, мимо дач, Листопад неудач, листопад неудач.

Утихает печаль, утекает тепло, И врывается ночь в ветровое стекло, И столбы километров уносятся вскачь, Листопад неудач, листопад неудач.

Ты пощады у стрелок часов не проси, Словно выстрел, захлопнется дверца такси, Ты в глаза светофоров отчаяные спрячь, Листопад неудач, листопад неудач.

Вдоль дороги незрячие плачут дома, Тянет руки навстречу тревожная тьма, Ах, луна, над моей головой не маячь! Листопад неудач, листопад неудач.

Михаил Крепс

## Минометчики

## края отдаленные

Коснусь попутно двух странных черт в советской военной историографии. Бесспорных объяснений в эмиграции им не найти, как и многим другим, — ограничимся хотя бы вопрошанием.

У меня не осталось ни одного клочка бумаги "с той стороны". В первые месяцы плена, в разных лагерях, пришлось пройти пять или шесть санобработок, — сера и жар "вошебоек" съели, сожгли бывшие у меня тетради для записей и сохранявшиеся еще документы. После войны, в 1946-47 годах, я кое-что записал "по свежей памяти", — в действительности память была уже четырех и пятилетней. Все же записки тех лет помогают теперь восстанавливать прошлое. Но многие детали, даты, имена, названия улетучились из памяти невосстановимо. Так, в первые дни в Крыму я записал, по рассказам, где, когда и как были совершены десанты в Феодосии и Керчи, — установить это теперь в точности, по советским источникам, оказывается невозможным.

Эти источники не проясняют, а наборот, затемняют факты, — почему? Казалось бы, высадка была удачным делом. Но сколько ни встречалось упоминаний о ней в советской "истории", все сводилось лишь к общим фразам, без деталей: "история", видимо сознательно, темнит. Обращал на себя и разнобой в датах: в одних описаниях одни даты, в других другие.

На этот счет можно предполагать, что в паническом бегстве первого периода штабные записи и документы терялись, выбрасывались и не сохранились. А верить сведениям Совинформбюро, понятно, никому не приходило в голову вранье этого учреждения общеизвестно. В последних изданиях разнобоя в датах нет, или, во свяком случае, его стало меньше:

Продолжение. См. НЖ 119 и 120.

наверно, наверху спохватились и установили наконец единые даты для всех изданий.

Другая черта: многие сведения и об успешных операциях, таких, как десант в Керчи, стали появляться очень поздно, уже после смерти Сталина. Тогда, например, открылось и то, что Брестская крепость оборонялась и после того, как считалась уже сданной врагу.\* "Открылась" и якобы "героическая оборона" в Керченских каменоломнях, — почему же с этими "открытиями" так медлили? Может быть, был приказ на этот счет самого "генералиссимуса", не желавшего освещения всех деталей войны, которой он, сказать мягко, не так уже удачно руководил?

Если был такой приказ, то сковывающая его сила продолжает действовать. О той же брестской крепости или о керченских каменоломнях можно было бы собрать и опубликовать воспоминания участников, но до этого не доходит. А воспоминания командующих разных рангов органичиваются общими реляциями, лишь иногда со ссылками на участников: самим им говорить не дают. (Может быть, никого и не осталось? В 50-е годы несколько бывших в брестской крепости, немцев в плену, разыскали где-то на Колыме и Воркуте, другие могли в заключении погибнуть). И получается опять одна "беллетристика". У редакторов и "историков" страх видно еще не прошел и они продолжают бояться, что участники скажут что-то не так, как хотел бы "вождь": он страшит партчиновников, даже зарытый в землю у Кремлевской стены...

Всего на четвертый месяц гитлеровского нашествия немцы уже были в Крыму, о чем Совинформбюро сообщило с большим опозданием. Они вошли в Крым через Перекоп, почти беспрепятственно, как в туристической прогулке: "ожесточенное сопротивление" им на Перекопе было придумано потом, для

<sup>\*</sup>Жители Брест-Литовска впрочем говорят, что никакой обороны не было: немцы обошли крепость и только потом решили покончить с ней. Защитники большей частью собрались в одном форту, некоторым удалось уйти и сдаться в плен, — пытающихся бежать офицеры и политработники пристреливали в спину. Немцы предложили сложить оружие и сдаться или они разбомбят бункера, установили срок. Он прошел, — тогда немцы сбросили несколько тяжелых бомб. Большинство в главном бункере погибло, оставшиеся попали в плен.

истории, может быть хотя бы в частичное оправдание командования. И если за двадцать лет до этого Красной армии удалось войти в Крым только после долгих боев с защищавшими Перекоп белыми и в обход, по топям Сиваша, то немцы промаршировали по суху, не замочив ног и почти без потерь.

Считается, что 1 ноября 1941 года они взяли Симферополь, столицу Крыма, а 16 ноября вошли в Керчь. С ними пришли эсэсовские части: 28 ноября в Керчи объявили приказ, чтобы на другой день явились все евреи, — 29-го их угнали на уничтожение. Перед этим то же было проделано в Феодосии. В Крыму оборонялся еще только Севастополь, поддержанный с моря флотом.

Но сил у немцев в Феодосии и на Керченском полуострове было мало, подкрепления не подходили, — этим решило воспользоваться командование стоявших на Таманском полуострове и у Новороссийска отошедших туда из Крыма частей Красной армии. Вместе с командованием Черноморского флота решено было высадить десант, чтобы занять Феодосию и Керчь и выбить немцев с Керченского полуострова. Высадка была намечена под Феодосией, а также севернее и южнее Керчи, в разных пунктах; всего намечалось высадить до 30 тысяч красноармейцев и краснофлотцев, с артиллерией и танками. Десант должны были поддерживать боевые корабли Черноморского флота.

На подготовку ушло около двух месяцев — и все же организация десанта оказалась нередкость безголовой и безобразной (она была скверной настолько, что об этом даже сочли нужным упомянуть в официальной "Истории второй отечественной войны"). Десантных судов, конечно, не было, собрали все, что могли: рыбачьи моторные суда, морские баржи и каботажные пароходы, портовые буксиры, военные катера. Высадка намечалась на середину декабря, но два раза откладывалась, — наконец, ночью на 26 декабря первые отряды приплыли к занятым немцами крымским берегам.

Время помогало: немцы, несмотря на гитлеровский "атеизм", соблюдали христианские праздники, тем более Рождество и может быть поэтому начало высадки прошло благополучно: первые отряды высадились почти без потерь. Но

сразу же обнаружился хаос: суда, которые должны были высадить отряды у Феодосии, почему-то оказались около Керчи, баржи с танками приплыли туда, где танки выгрузить было нельзя, глубоко сидящие суда пришли к местам, где близко к берегу подойти они не могли и т.д. Немцы между тем опомнились, появились их самолеты, — советских не было. Не пришли во время и военные корабли — десант оказался без поддержки и с воздуха, и с моря. Немцы безостановочно бомбили и топили десантные суда, заливали высаживающихся, шедших нередко по шею в ледяной воде, пулеметным огнем, — потери были ужасающими, до половины и больше приплывшего состава.

Высадившиеся в начале все же продвигались вперед, в Феодосии они заняли прибрежную полосу и вошли в город, но в нем не удержались. Почему — советские источники не говорят. Большую роль могло сыграть следующее, о чем я слышал рассказ: на прибрежной полосе десантники даже захватили около полутораста пленных, среди них с десяток эсэсовцев. И тут произошла страшная нелепость: не к месту похрабревшие политработники, указывая на эсэсовцев, наверно принимавших участие в уничтожении евреев, потребовали всех пленных расстрелять, в духе эренбурговского призыва "убей немца". Пленные для десанта были обузой, — их согнали на песок пляжа и покосили из пулеметов.

Увидев это, немцы рассвирепели — и принялись методично и беспощадно уничтожать десантников. Говорили, что только единицам удалось уцелеть спастись на еще не ушедших катерах. Вскоре начался шторм, подкрепления не подходили: десант в Феодосии захлебнулся в крови, не столько немецкой, сколько в своей. А не будь расстрела пленных, могло бы получиться иначе.

Под Керчью вышло удачно: высадившиеся продвинулись вперед, как бы охватывая город с севера и с юга, — вероятно боясь попасть в мешок, немцы ушли из Керчи, десантники следовали за ними. Немцы отошли километров на сорок, на Акманайские холмы, — самое узкое место Керченского полуострова. Там и установился фронт, более или менее укрепленный с обеих сторон, от Азовского моря на севере до Черного на

юге. На этой линии он оставался от начала явнаря 1942 года до 8 мая, когда немцы начали наступление.

За четыре месяца в Крым, на Керченский полуостров, нагнали множество войск: там были 51-я армия, 44-я и еще части 47-й составившие "Крымский фронт", под командованием генерал-лейтенанта Козлова. Считалось, что Акманайские позиции хорошо укреплены, там было много артиллерии и надеялись, что немцы их не одолеют, тем более, что сил у них здесь было не так много: шесть дивизий против более чем двух советских армий. Но перейдя в наступление, немцы, после артиллерийской подготовки и бомбежки с воздуха, без большого труда перемахнули через "хорошо укрепленные позиции" началось безудержное отступление. Штаб фронта переместился под Керчь, в каменоломни Аджи-Мушкая (рабочий поселок известного керченского металлургического завода, расширенного в 30-е годы. В армии поселок называли проще: Джумушкай, так говорили все).

Обо всем этом мы узнали позже: мы высадились в Крыму, на пристанях недалеко от металлургического завода, накануне начала немецкого наступления, под вечер 7 мая...

Быстро отстучали каблуками по доскам причального настила. — за ним переплетались рельсы подъездных путей, от ветки, уходившей налево, в Керчь. Справа, за кое-где сохранившейся оградой, полуразрушенные корпуса, искареженные бомбами железные балки перед ними, толстые провода над сталагмитами белых изоляторов, — очевидно, электростанция, и даже насколько-то восстановленная: из высокой трубы вьется дымок. между корпусами копощатся люди.

Твердая, каменистая дорога шла мимо электростанции и беспорядочно разбросанных домов и домиков слева, с забитыми фанерой и картоном окнами; от некоторых остались одни обгорелые балки. У ограды и за нею миновали несколько странных штабелей, приглядевшись, распознали: мины, трофейные. У немецких минометов разница в калибре с советскими в несколько миллиметров, использовать мины нельзя, эти — их сотни в штабелях, — лежат тут с января.

Идя с левой стороны, вспомнил о горе Митридата, "господствующей над Керчью", — куда она подевалась? Вдалеке, километра за четыре, не круто поднимается от берега город, словно взбирается на холм, — но это холм, а вовсе не высокая гора. Как же холм может "господствовать"? Почему греки назвали когда-то холм горой? И гора Митридат испарилась, навсегда перестала маячить в воображении.

Справа потянулись корпуса полуразрушенного металлургического завода; он теперь — "имени Войкова", убитого в Варшаве в 1927 году. За девять лет до того Войков сам был причастен к убийству — на Урале царской семьи. У корпусов ходят люди, завод наверно тоже насколько-то вссстановлен. По другую сторону дороги — трех, четырехэтажные кирпичные жилые корпуса.

Перешли железнодорожную линию, за ней вытоптанная поляна, чуть поднимающаяся. Взошли — и остановились. Холм сразу снова шел вниз: мы стояли как на краю огромного круглого блюда, с абсолютно гладкими пологими стенками, словно отполированными миллионами шагов спускавшихся и поднимавшихся по ним людей. И только противоположная стена возвышалась прямо, обрывом горы, — в ней зияла черная дырапроход, в полтора или два человеческих роста. Это был главный вход в подземные каменоломни Аджи-Мушкая.

Нас опять разбили на четыре роты, человек по полтораста в каждой. Три куда-то ушли, а нам сказали, что ночевать будем под землей — и мы двинулись по стенке блюда вниз, в черную дыру. За ней оказался просторный коридор-галерея, высоко над головой мерцали небольшие запыленные лампочки, то вспыхивавшие, то гасшие, едва освещавшие черноту. Справа посвечивали узкие проходы, там стучал движок походной электростанции, силившейся освещать каменоломни.

Налево раздвинулся высокий проход-пролом, вошли в него: большое, неразличимое в темноте помещение, с тремя рядами нар по бокам. Две лампочки у потолка позволяют различать только середину зала и края нар. Мы разместились на трех этажах у одной стороны, остальные были пусты.

Нары голые, но кое-где попадалось рваное вонючее тряпье. Пахло затхлостью, но не сыростью: в подземелье было сухо;

прелыми портянками, застарелым потом побывавших тут до нас многих сотен людей, их давно не мытыми телами. Усталость брала свое, кое-как разместились, подстилая шинели и кладя под головы вещевые мешки.

Когда шли от переправы, мимо разрушенных корпусов, окружающие заметно подтянулись, посуровели, не слышно было ни шуток, ни разговоров. Чувствовалось уже по-другому, не так, как по ту сторону пролива. Этап кончился, мы на месте назначения, где явственно пахнет фронтом. И может быть поэтому мы не очень принюхивались к вони подземной казармы.

Здесь, на нарах, тоже не слышно было шуток и разговоров, без которых редко обходится сборище не по своей воле сошедшихся людей. Иногда раздавался кашель, вздох, чергыханье, слышался шорох примащивающихся на жестких досках одетых и обутых тел. И в этом приглушенном полушуме вдруг где-то недалеко, на наших вторых нарах, кто-то чистым, наверно звонким, если бы погромче, ясным голосом не столько пропел, сколько протянул речитативом:

Завезди нас в края отдаленные,

Где болота и водная ширь...

Сразу пахнуло вроде бы своим, родным! Должно быть соловчанин: кому еще придет тут в голову это начало лагерной соловецкой песни! Болот, правда, тут будто бы нет, но водной шири хватает. И края не такие уж близкие, как и откуда смотреть. А главное — настроение, безнадежность, покинутость, боль и грусть слов и напева, — их ничем не заменишь. Разве не подходят они к нашей судьбе повсюду, и тут, в этом подземелье? Спи, если можешь, спокойно, отдыхай, земляк!..

Но ни сна, ни отдыха не получилось. Не успели задремать, как вокруг заворочались, начали ругаться, подниматься, стукаясь головами о верхние нары. Невдалеке зажгли спичку, посветили — сдавленный голос с испугом протянул:

Товарищи, клопы! Да сколько!

Я тоже достал спички, чиркнул, глянул под собой: Батюшки! От света бросились врассыпную, скрываясь в щели между досками, крупные, чуть не с муху, багровые клопы. Даже мурашки прошли по спине: такие они были большие и мерзкие. Второй раз в жизни я видел таких: первый раз — в бараках

Кемского пересыльного пункта на Поповом острове, около Кеми, в преддверии Соловков. Опыт был и хорошо запомнился: я знал, что заснуть не придется, надо подниматься.

И вонь к этому времени стала невыносимой: она словно сгустилась, затвердела и колом забивала горло. Подземелье, наверно, никогда не проветривалось и не чистилось. А те, кто бывал в нем до нас, углы, вероятно, превратили в уборные, от этого и особенная вонь. Соседи тоже поднимались, брали мешки и сходили на пол.

Но куда идти? Кроме как вон из подземелья — некуда. Вышли в блюдо, поднялись на край: нигде ни огонька, ничего не разглядишь. Сбились неподалеку в кучу, на вытоптанной полянке. Холодно. Хорошо еще, что тихо. Видно, весной в Крым надо приезжать в доброй шубе. Как было бы отлично, развести костер. Но об этом нечего и думать: затемнение.

Кое-кто, кутаясь в кургузую шинельку, ложился на землю, пытался заснуть. Но на холоде какой сон. Подошел Лунин:

— Тут мы ветку переходили, там переезд. А рядом сторожевая будка. Не пойти попробовать, может поместимся?

Попробовать можно, почему нет. Двинулись, за нами Копылов, Анохин, Сушков. Сторожка чернела тихо, будто в ней никого. Потянули осторожно дверь — оттуда вырвался клуб тепла, спертого воздуха, нагретого телами и дыханием. Лунин шагнул — и на кого-то наступил.

— Куда прешь, тут же впритык, палку не поставить, — проскрипел плачущий и жалующийся голос.

За дверью ничего не было видно, но чувствовалось, что все там забито едва ли не до потолка. Но, может, влезем? И мы стали пробовать, не торопясь но и не оставляя попытку. Лунин постепенно поставил за порог обе ноги, чуть нажал, повернулся раз, другой, — как будто образовалось сколько-то места, можно было притиснуться к нему. За мной, с боку, втискивался Копылов, — и этак за полчаса мы все были внутри сторожки. Дверь открывалась наружу, закрыть ее было легко.

Воздух тут тоже густой, тяжелый, но это было только человеческое тепло без гнили и разложения, отравлявших тепло подземелья. И люди, сбитые в нераздельную кучу, вися один на

другом, ухитрялись спать, даже сладко всхрапывая. Я тоже задремал.

Когда стало рассветать, очертилась картина из неведомого, фантастического мира. У стен наверно были скамьи или табуретки, там солдатские фигуры уменьшались, но поверх другие закрывали их, опираясь спинами или плечами о стены. Головы возвышались сплошь, одни повыше, другие пониже, местами сливаясь и венчая многоголовое чудовище. И было их так много, что как-то само собой, без мысли, одолевало недоумение: как же выдерживали стены сторожки, почему ее не расперло во все стороны?...

Выбрались наружу, — веял ветерок, было очень свежо. Но мы все-таки как будто немного отдохнули, подремали. А наша рота являла печальное зрелище: на поляне кто лежал, прикрываясь шинелью, что сидел, уткнув голову в поднятые колени, с красными глазами и замученными лицами: так провели они всю ночь.

Пришел командир роты, лейтенант, еще лейтенант, помощник ротного, взводные: они спали где-то в другом месте. Все были новые, нам незнакомые, — прежним остался только политрук Иванюк. Пришел и старшина, тоже новый, старший сержант, пожилой, как будто хозяйственный человек. Новая незадача: какая-то путаница с аттестатом, нас еще не зачислили на довольствие и хлеба на нас не выдали.

А животы подводило. У нас осталось немного крупы, несколько ложек сахара. Где взять топливо для костра? Вокруг, насколько глаз видит, ни кустика. Вспомнили о кирпичных жилых домах, мимо которых прошли вчера, — может, остался там какой заборчик?

Дома стояли пустые. Целых стекол в окнах не осталось, выбило наверно во время бомбежек взрывной волной. Дома хорошие: — Итеэровский поселок (ИТР: инженерно-технические работники), — сразу узнал Лунин, с ванными, кухнями в квартирах, в них еще словно сохранялся призрак жилого духа. Тем страннее, что они совершенно пусты: ни людей, ни мебели, ни одного стула, какой-нибудь скамеечки. Куда все подевали?

Людей, скажем, эвакуировали, — а мебель? Прохладный ветер свободно гулял по комнатам.

Естественно подумалось: почему бы не поместить нас в эти брошенные дома, вместо подземного клоповника? Но куда там: наверно есть секретные предписания, с самого верха: в жилые дома не помещать. Мало ли что, брошенные: все равно жилые. А отвечать кому хочется?

Прошли с десяток домов: везде пусто, под метелку. В одном коридоре — обломанная дверь: то, что нам надо! Доломали дверь на шепки и, под шинелями, принесли на полянку. Разожгли костер, на камнях разместили котелки — и вскоре за обе шеки уплетали кашу. Каша дрянь: из ячневой сечки сварить можно только размазню, заправить нечем, масла нет, сыпнули сахара, — получилось вроде детской манной кашки. Но от ячменя, как и от овса, говорят, лошади жиреют, сойдет и эта. Солдаты вокруг, голодные, смотрят с завистью, но всех этой малостью не накормишь.

Немного подкормились и солнышко пригревает, — теперь можно и вздремнуть. Когда-то отец, отбывший воинскую повинность еще при Александре III, говаривал: "Отчего солдат гладок? Поел, да и на бок". Но то — при "проклятом царизме", при "народной власти" солдату гладким быть не полагается, наесться теперь он не может, его, как и всех, держат в голоде: злее будет, с пустым, ноющим брюхом.

Задремывая, думаю: сколько раз пришлось голодать? В 20-21-22 годах голод у нас, на Нижнем Поволжье, привел к людоедству. Потом голодовки в тюрьме, в лагерях. В 32-33 голода "на воле" я не пережил: был в лагере. И недаром постоянно приходят ассоциации с лагерями: миллионы прошли через них, как забудешь? Утром всматривался в лица, но не увидел, кто прогянул в подземелье о "болотах и водной шири", а несомненно соловчанин. Но сколько побывало в Соловках! Вот и попадаются, и вспоминаются. По довольно неуклюжим стишатам: "Сегодня тоже, что вчера, а завтра тоже, что сегодня, тюрьма, как вековая сводня, мои туманит вечера".

Это из тюрьмы, не из лагерей. Но помнится хорошо. Я просидел больше месяца в одиночке, выводили только на

допросы: прогулок не давали, не было ни газет, ни книг. Если тебе 17 лет, чем займешь себя? Оставалось одно: ходить от двери к противоположной стене, четыре-пять шагов, и обратно. Или, ухитряясь, ходить по диагонали, увертываясь, чтобы не зацепить железный столик или крышку уборной: получается больше шагов. Ходить надо быстро и до изнеможения, иначе, по Пруткову — пустая забава. Выспался я давно, на годы вперед, и если ходить не до изнеможения, не заснешь.

Надзиратели были угрюмы и молчаливы, как им и полагается. Но и разница есть: один просто угрюм или просто молчалив, — другой угрюм с издевательством, с ненавистью, которую не умеет или не находит нужным скрывать. И однажды такой чтото съязвил, сказал обидное, — я послал его подальше.

Прошло не больше пяти минут, — замок загремел снова и в камеру влетел начальник тюрьмы, с красной, разозленной рожей. Подбежав почти вплотную и потрясая здоровенными кулачищами, он орал:

- Ты, что работников моих оскорблять? Я хотел возразить, что его работник первый оскорбил меня, но он не слушал и продолжал разъяренно кричать, потрясая кулаками:
- Много таких гадов буржуазии прошло через эти руки, и тебя скрутим! это животное было наверно по макушку напичкано мякиной политграмоты и исходило "классовой ненавистью". Что он многих перестрелял, можно было поверить сразу. Повернувшись, выходя он бросил: В темную на трое суток!

Что за темная, я не знал, но одиночкой был так сыт, что любая перемена не пугала. Кроме того, это наверно означало, что следствие закончено: меня переводили из одиночки. А что я так, ничуть об этом не заботясь, попал в "буржуи", могло только забавлять.

Минут через десять надзиратель повел из "пятого особого" отделения, где были одиночки, куда-то направо. У последней двери, в которую меня выводили на допросы, было несколько камер, чем-то особенных, хотя двери их ничем не отличались от других. Надзиратель этого отделения открыл одну дверь и показал рукой, чтобы я вошел.

За дверью было темно: под потолком чуть светилась

небольшая угольная лампочка. Хуже другое: пахнуло острой аммиаком, почему может быть так отчетливо вспомнился этот эпизод, после вони в подземелье. Камера такая же, как прежняя, но и чем-то другая. Привинченный к стене железный столик, железная скамеечка перед ним, напротив железная койка, тоже привинченная к стене, дальше миска умывальника, с водопроводным краном, — но унитаза уборной не было. Вместо него и дальше под окном — яма: кто-то сумел содрать тут асфальт пола и выкопал яму, примерно до колен глубины. Видно, кто-то надеялся отсюда убежать, — из тюрьмы, из которой еще никому не удалось бежать, со дня ее постройки в конце прошлого века (это был "Дом предварительного заключения", ДПЗ в Ленинграде, на Шпалерной улице: "Шпалерка"). И тут меня осенило: да ведь это — камеры смертников! Вот почему они кажутся особенными, хотя на них и не написано. Поэтому же и подкоп.

Самое худое было в том, что над ямой стояла деревянная койка, а на ней лежал какой-то взлохмаченный человек в грязной рубашке и кальсонах, стонавший и ворчавший, иногда и чтото бормотавший, не разобрать. Похоже, сумасшедший. Он наверно и превратил яму в уборную.

Стены исчерчены, некоторые надписи выцарапаны чем-то острым. В темноте не разберешь, разобрал только одну, крупными буквами: "Ушел на луну". Другие, тоже краткие, наверно такие же.

Сколько придется тут сидеть, в темноте и вони, слушая бормотание сумасшедшего? На мое счастье, он поднял "бузу": кричал и колотил в дверь. В пятом отделении надо только чуть стукнуть в дверцу и приходит надзиратель, — сумасшедший колотил кулаками и каблуком ботинка минут двадцать, пока надзиратель открыл дверь. Увидев, что стучит сумасшедший, хотел опять ее закрыть, но я шагнул в проход и сказал, что тут нельзя сидеть: нет уборной. Может быть, это было против тюремных правил: меня вскоре перевели в другую, рядом, пустую.

Сначала я взгрустнул: та же одиночка, да еще темная. Но через некоторое время дверь открылась и в камеру, фланирующей походкой, вошел среднего роста человек в шелковой

пижаме, на левой руке переброшено летнее пальто, на голове шляпа, на ногах элегантные лаковые туфли. Войдя, он снял шляпу, кланяясь и, указывая на пустую койку напротив моей, сказал:

— Свободна? Ее я и займу. — Положив на койку пальто и корзинку с провизией, представился: — Курочкин.

Лучшего сокамерника найти было бы нельзя. Петербуржец Курочкин был наредкость приятным и бывалым человеком, он все знал, все понимал и ко всему относился с удивительной легкостью того, кто видывал и не такое. Темная? Это же пустяки, не каторга, которую он отбывал в начале века. Рабочий Путиловского завода, он принимал участие в событиях первой революции, но уже в 906 году его арестовали и приговорили к трем годам каторжных работ, — отбыл он их в Орловском централе, тогда каторжной тюрьме. Было не сладко, но переносимо, — по его словам. Потом дали поселение в Иркутскую губернию, в село на Лене. Долго он там без дела не выдержал: подвернулась торговля пушниной, сначала случайная, втянулся — и к 1917 году, оставив революцией, он стал состоятельным человеком. Вернулся домой, дожил до НЭПа — и занялся торговлей двигателями, электромоторами, в которых была большая нужда. Опять разбогател. Но не поладил с ОГПУ, не выполнил заказ предприятия, работавшего на "органы", - придрались и посадили. Не знал, выберется ли, но надежды не терял.

У него были деньги и право покупки продуктов в тюремном магазине, — у меня не было ни того, ни другого и я все время сидел на тюремной баланде. Скупым он не был и мы роскошествовали: он выписывал из магазина целые корзины хороших продуктов. Выписывал и табак, гильзы, мы набивали их сами, — с ним, в этой темной, я начал курить.

Курочкин, вслед за поэтом Курочкиным прошлого века, тоже писал стихи и не так давно даже выпустил сборничек. Стихи были незамысловаты, больше под Некрасова, под "народные", но с сильной тюремной печатью. Даже запомнились те строчки, что "сегодня тоже, что вчера" и что "вековая сводня тюрьма мои туманит вечера".

Я был рад, что после одиночки попал в темную с таким

сокамерником: гнета темной для меня не было. И даже не напоминал, что вместо трех дней меня продержали в темной дней десять...

Начальник тюрмы впрочем знал, что делал, переводя в камеры смертников: меня в смертники и готовили. Еще дней через пять объявили постановление тройки: расстрел, с заменой, по несовершеннолетию, десятью годами концлагеря. Там, в лагерях, встретил много таких же, как я, однолеток или даже на год, полтора моложе, не расстрелянных тоже из-за несовершеннолетия. Но вскоре многих стали и расстреливать, с 12 лет... Годы, годы, "края отдаленные", тысячи и тысячи людей, не знающих и не понимающих, почему они в лагерях, за что и зачем? Разве все это может так просто забыться, разве не отметилось, не врезалось это в нас навсегда?...

Из полудремы вернул к действительности громкий голос: — Давай стройся, хлеб получать!

Пока я дремал, старшина с пятью-шестью солдатами принес на плащпалатках гору кирпичиков хлеба. Выглядел хлеб аппетитно, похоже, буханки свежие, должны вкусно пахнуть. Но не очень-то пришлось разбирать: выдали буханку на четверых, вряд ли по два фунта на каждого. И мало кто оставил кусок на обед или на вечер: почти все сразу же умяли всю полученную порцию, чтобы утихомирить голод. Старшина опять пошел с людьми в подземелье, где была кухня.

Тем временем у "блюда" началось оживление: подъезжали легковые машины и грузовички, с них несли в подземелье пишущие машинки, папки, ящики с бумагами, сновали офицеры, солдаты в чистой, опрятной форме, женщины, тоже в военном. Мы были заинтригованы: что происходит? Лунин и Авилкин пошли, потолкались между солдатами и принесли новость: штаб фронта переходит из Керчи сюда, в каменоломни Джумушкая. Потому что немцы начали наступление. Они прорвали фронт и движутся на Керчь.

Пахло катастрофой. До сих пор было так, что если немцы начинали наступать, остановить их не удавалось. Что будет на этот раз? Вывезут нас — или бросят?

Вокруг пока было спокойно, без намека на панику. Не

слышно ничего и с запада. Ветер правда с моря, больше с юга, он может относить грохот орудийной стрельбы. Утром, на большой высоте, пролетели два немецких разведчика, над Керчью и проливом; потом прилетали отдельные, по одному, бомбардировщики, Юнкерсы, тоже на большой высоте, но не бомбили: отбомбились наверно там, где отступал фронт. Зенитки у Керчи и у пролива немного потявкали, набросали в чистом, глубоком небе шарики белых разрывов, довольно далеко от самолетов.

Ну, пока суть да дело, надо получить обед: старшина с солдатами принес несколько бачков. Разлили в котелки, попробовали — и приуныли: варево, одна вода, было чистыми помоями, ими и пахло. Не помню такого и в концлагерях, из общего котла. Оно не было даже горячим.

- За такой обед поварам надо руки выдергивать, с негодованием сказал Лунин. Я никогда не поварил, а и то лучше бы сварил. И ведь заметьте: они же продукты в котел клали, не обмывки со столов и посуды и продукты начисто испортили. Это уметь надо!
- А почем ты знаешь, что не обмывки? возразил Копылов. Свободно могет быть. Не хватило на нас, они на скорую руку помоев нам плеснули. Они же знают: жаловаться не пойдут, кому пожалуешься? У нас спасибо говорить полагается, а не жаловаться. Ешь: родина, она солдата накормит. Я вот другое подумал, сам не знаю, с чего: кончится когда эта война, а она когда-нибудь да кончится, всему бывает конец, и будут тогда большие, знатные наши командиры свои воспоминания писать. И знаешь, что они перво-наперво напишут, стервецы? Что заботились о нас, как отцы родные. Первым делом на кухню шли, пробу пищи брать, и уж так следили, чтобы солдат накормлен был. Сукины дети!\*
- Ты полегче, а то язык тебе привяжут, остановил Лунин. Смотри, вот эти же лейтенанты, капитаны штабные: они еще в большие командиры могут выйти.

<sup>\*</sup>Догадаться об этом было легко, при господстве в "стране советов" приспособленческой лжи. Но все же, казалось, не до такой степени: в самом леле все без исключения командирские мемуары, от мемуаров Жукова начиная, не обходятся без отеческой заботы о солдатах, хотя ее не было и в помине.

- Не-е, скептически протянул Копылов. Как я смекаю, из этих не получатся, они видать нашего поля ягода, по земле ходят. А для тех орлы нужны, стервятники, которым все одно, люди под ними, или чурбаки с глазами.
- Тебя бы поставить, ты бы покомандовал, подковырнул Авилкин.
- Как бы я командовал, этого, парень, ни я, ни ты и никто другой не знает, окромя может Господа Бога, если есть у Него досуг, за каждым из нас доглядать. Да все одно: бодливой корове Он рог не дает...

Пока переговаривались, подошли солдаты из штабной команды — закурить. Лунин принялся издеваться над ними:

— Что же это вы, при штабе, а табаку нет? Уши без курева опухли? А может, вы и не из штабных, только выдаете себя за них?

Я еще порадовался: на дне рукзака у меня оставалось две больших папуши хорошего кубанского листового табака, из купленного перед явкой в военкомат; была еще и махорка, из полученной в дороге. Табак и тут богатство. Авилкин в Прохладном либо врал, либо был табак только у них, в авиации, а в пехоте его и посмотреть не видно. Я дал солдатам закурить, — среди них нашлись и бывшие в Керчи с первых дней десанта, что совсем интересно.

Солнце спускалось все ниже, — вспомнили о ночевке. О подземелье никто и думать не хотел, выяснилось к тому же, что там не только клопы: обнаружили у себя вшей, от которых до сих пор нам удавалось как-то оберегаться. Наверно налезли из вонючего тряпья, валявшегося на нарах. Решили заранее идти в сторожку. Первыми в ней мы все же не оказались: там сидели уже у стен на полу несколько солдат. Обнаружились и хозяева: железнодорожный сторож-обходчик, его жена, оба средних лет, и мальчик у них, лет десяти. Трудно было представить, как они тут выдерживали, если каждую ночь в сторожку набивалось чуть не с сотню солдат.

Расположились тоже у стены. Из неторопливого разговора услышали хорошую новость: на берегу у Керчи утром бывают базары, рыбаки привозят рыбу и случается, что удается у них

малость купить, хотя весь улов они обязаны сдавать. Решили завтра же разведать.

Узнали и другую новость: хозяин рассказал, что осенью, после прихода немцев, в некоторых каменоломнях прятались партизаны, из оставленных в тылу коммунистов и комсомольцев. Сделать им ничего не удалось, и времени было мало, не полных два месяца. В одной, небольшой каменоломне, немцы заложили кирпичом и замуровали выходы, но у партизан были запасы и они выдержали до десанта, вышли из-под земли живыми. Лезть в каменоломни немцы не решались, охраняли снаружи. Вспомнился лейтенант Стрижов: нашел ли он жену? Не попала ли она к партизанам? Я давно его не видел. В дороге встречал раза два, мельком.

Утром для приличия посидели с полчаса со всей ротой, потом по одному отправились сначала в поселок ИТР: Лунин, Копылов, Авилкин, Анохин и я. Где полем, где по дороге, не спеша подвигались к городу. Перешли железную дорогу, справа неподалеку — навес полустанка. Начались строения, вроде железнодорожных складов, укрываясь за ними, — как бы не нарваться на комендантский патруль, — продвигались к берегу.

На берегу пусто. Под ветхим навесом, на полках-прилавках рыбы не видно. У берега две больших рыбачьих лодки, троечетверо рыбаков, седые сгорбленные старики. Рыбы нет, ничего ночью не наловили, хотите камсы? Взяли два котелка, с верхом, камсы, — мелкой рыбешки, в палец, прежде ее не ловили, в советское время вылавливают тоннами. И уверяют, что это род сельди, только мелкой, — все думают, что это попросту мальки, которым не дают вырасти в большую рыбу.

Поход можно считать удачным: подножный корм будет большой поддержкой. Надо бы заглянуть в Керчь, посмотреть город, но слишком опасно: попадемся патрулю, здесь так легко не отделаешься, как в Анапе. Опять кроясь между складами, вышли к железной дороге, — у полустанка как раз стоял паровоз с двумя пригородными пассажирскими вагонами. Мы и не знали, что между Керчью и пристанью несколько раз в день курсирует этот рабочий поезд. Забрались в вагон и минут через десять уже брели по дороге к своей роте.

Чистить рыбешку не надо, и нельзя: слишком мала; нужно только хорошо помыть и круто посолить — будет отличная еда. Теперь дождаться, когда принесут хлеб — устроим пир, для нашего минометного отделения.

Глядя на камсу, вспомнил сосьвинскую селедочку, — это тебе не камса! Во время побега из концлагеря, десять лет назад, перевалив Уральский хребет, мы вышли на Северную Сосьву. Рыба в ней тогда кишела, как и в других притоках Оби. В Березове, в Самарово (будущий Ханты-Мансийск), в Сургуте были консервные заводы, они перерабатывали на консервы осетров, нельму, максуна, на экспорт: баночку рыбы продавали за границу по три копейки золотом; на внутренний рынок попадал только брак, да и то в закрытые распределители.

Там, на Сосьве, и была особая селедка, чуть длиннее пальца, такая жирная и нежная, что ее нельзя было везти далеко, — нельзя было слишком солить: через несколько дней она расползалась в дурно пахнущую жижу. Мы покупали ее у остяков, только что выловленную: в ведро надо бросить соли и дать постоять всего несколько часов, — с этой таявшей во рту селедкой можно было, как говорили у нас, проглотить и свой язык, до того она была вкусна. С камсой, конечно, не может быть никакого сравнения, эту можно есть только от безвыходности, от злой нужды...

Но и от нужды вышло не так уж плохо: в этот день голода мы не испытывали. Решили, что и завтра пойдем добывать подножный корм. Но утром на другой день приказали никуда не отлучаться, ждать распоряжений.

Весь день пролежали на площадке перед "блюдом", глазея в небо. И в нем прибавилось оживления: то и дело пролетали немецкие разведчики, наблюдая за керченской стороной и за таманской. Изредка появлялись юнкерсы, — их провожали глазами: клюнет, не клюнет? Перед тем, как бросить бомбу, они "клевали носом", пикировали, немного, может быть на сотню метров, потом бросали бомбу, придавая ей дополнительную скорость и снова выравнивали полет. Так сбросили они несколько бомб в районе Керчи.

Появились "рамы": немецкие двухфюзеляжные самолеты "Дорнье", служившие немцам разведчиками и корректи-

ровщиками. Ждали, что начнется артиллерийский обстрел, но обошлось без него. Зенитки тявкали, густо забрасывали небо бельми шариками — все мимо. Вдруг в блюде всполошились, закричали: сбили, сбили! — один самолет в самом деле пошел вниз, оставляя хвост дыма, и скрылся за горизонтом, упал наверно в море. Вскоре подошли штабные солдаты и сказали: "своего сбили, Чайку" (самолет морского флота). Мы не хотели верить: как это так, своего? Немцев не сбивают, а свой сбили, — что они, от досады с ума спятили? Вранье наверно. Но солдаты уверяли, что сами слышали, как передавали донесение. Случай подействовал удручающе: горе зенитчики! Не лучше наших поваров!

За возвышением, под которым уходили глубоко галереи большой каменоломни, где штаб фронта, на поле соорудили временный аэродром, — на него опускались наши "уточки", У2, в армии их называли еще "кукурузниками". безоружные (это малой скоростью И самолеты), они обычно летали низко над землей, чтобы их не замечали сверху, но служили исправно, главным образом для связи; здесь они летали на Таманскую сторону. Рядом с ними изредка тяжело поднимались и опускались ТБЗ, — тяжелые бомбардировщики, как длинные неуклюжие ящики, "летающими гробами". Скорость у них тоже малая. километров в час, пользовались ими больше не как бомбардировщиками, а как транспортными самолетами. Они тоже летали почти над землей, боясь немецких истребителей. Сейчас они вывозили на Таманский берег раненых, которых везли с фронта: похоже, эвакуация уже началась.

О ТБЗ говорили, что это они, базируясь на аэродромах в Прибалтике, осенью прошлого года летали бомбить Берлин, после того, как немцы начали налеты на Москву.\*

Над нами самолеты не появлялись. Мы гадали, почему: то

<sup>\*</sup>О налетах на Берлин много болтало Совинформбюро, расписывали газеты, сообщая о больших разрушениях в немецкой столице. Но когда, в плену, мы попали в Германию, выяснилось, что немцы...даже не заметили эти налеты! Медлительным советским бомбардировщикам они не давали долетать до Берлина и налеты их были совершенно неэффективны. Родная власть врала нам и в этом случае.

ли у немцев плохо работает разведка и они еще не знают, что штаб фронта перешел сюда, то ли считают, что каменоломни бомбить все равно бесполезно, не разбомбишь. Да и те бомбы, что они сбросили на Керчь и окрестности, большого вреда не могли причинить. Нынешние налеты — больше попытка запугать, вызвать панику, создать подавленное настроение.

Ждали до сумерек, ночевать опять пошли в сторожку. А утром торопливо выдали хлеб, кипяток (он считался чаем) и понукали: давай скорее! Поторапливайся! Что за спешка? Построили, еще раз пересчитали и объявили: пойдем получать оружие.

Дело прояснялось. Но куда отправят? Если вооружают, отправят на фронт: в тылу оружие горячо любящим ее подданным власть не выдает. Пошли по направлению к Керчи, за аэродром, где еще не бывали. Там, в полукилометре, в низине, оказались длинные приземистые склады, мы о них и не подозревали.

Солдаты получили винтовки и патроны, нам, минометчикам, выдали новый миномет, в крепком зеленом чехле. Вот, наконец, он у нас в руках. Получили кассеты с минами, коробки с патронами, для стрельбы минами. Спросили лопаты, — лопат нет. Как же без лопат устанавливать миномет? Полагается отрыть специальный окоп. Устраивайтесь, говорят, как сумеете. Винтовок не дали: минометчикам не полагается. Отлично, меньше будет груза. А что с минометом? Не тащить же его на себе?

Нет, с нами идет грузовичок, полуторатонка. Погрузили ящики с патронами и ручными гранатами, наш миномет с опорной плитой и минами, а потом и продукты, — мы совсем налегке. И двинулись по той же дороге назад. Прошли блюдо, идем дальше, мимо поселка, повернули на дорогу на юг.

Солдатское радио на этот раз отказало: никто не знает, куда идем. Слишком неожиданно получилось, не успели узнать. Командир роты, конечно, знает, но у него не спросишь. Вон он в кабинке грузовика, рядом, между ним и шофером, дородная "медицинская сестра" (сестер милосердия теперь нет, наверно изза упразднения милосердия).

Самолетов в небе приоавилось. Только отошли от блюда, кричат "воздух!" — бросились с дороги врассыпную, залегли в канавки; грузовик тоже съехал с дороги на траву. "Юнкерс" высоко над нами, проплыл дальше, к проливу. Но только поднялись, сделали несколько шагов, как опять — "воздух!", — снова бросаемся с дороги. На этот раз ближайший самолет справа, в нас все равно бы не попал, но надо прятаться, таиться: движущаяся цель, говорят, сверху хорошо видна.

Пока шли вдоль поселка, километра полтора, — рассыпались в стороны четыре или пять раз. Лежали в канавках и низинках и могли досконально рассмотреть жилье: оно было за невысокими глинобитными заборчиками; сложенные тоже из глиняных и саманных (глина пополам с навозом) кирпичей бедные рабочие хижины, некоторые такие низкие, что и я в них не умещусь, не говоря уж о более высокого роста людях.

Поселок прошли, одолев всего километра два от каменоломни — не меньше, чем за час. При таком темпе — придем мы куда-нибудь? Опять каждые пять, десять минут истошный крик — "воздух!" и опять разбегаемся по сторонам.

Откуда-то все же просочился слух, будто идем в Камыш-Бурун, но что это такое и где, точно не знает никто. Кто-то слышал, что будто километрах в пяти-шести от Керчи к югу, по нашей дороге, в обход, километров 15-18. Там, говорят, старые железные рудники и вторая переправа на Таманский берег, — мы посланы усилить ее оборону. Но это догадки, как следует никто не знает.

Навстречу, немного в стороне, прямо по полю проползло самодвижущееся орудие. Длинное дуло, обращенное к западу, то опускалось, то подскакивало кверху, будто грозя врагу, от которого убегало. Может быть подбитое, на ремонт, или на эвакуацию: технику постараются вывезти, ее мало, не так, как нас.

Впереди справа все сильнее разгорается пожар. Сначала потянулись к небу серые космы дыма, — теперь черные клубы закрывают к югу-западу весь небосклон. Уже видим: горит большой бак-цистерна с горючим, наверно с нефтью, у железной дороги.

Дошли наконец до нее, у станции Керчь-товарная, перед вечером: прошли всего километров пять. На перроне еще застрял железнодорожник в форме, со свернутым в трубку сигнальным флажком, — он с удивлением смотрел на нас, может быть уже не ожидал больше увидеть своих. Командиры торопят, чтобы поскорее пройти опасное место. Перешли пути, — на другой стороне поле уходило вверх, на высокий холм, переходя во фруктовый сад. На холм поднялись, когда уже сгустились сумерки. Здесь, в саду, приказали располагаться на ночлег.

Досадуя, — воды поблизости нет и костер теперь не разведешь, спать опять на холоде, под открытым небом, — что за собачья наша судьба? Почему командиры ничего другого не могут придумать? Мы только что миновали ряд больших построек, в них можно разместиться хотя бы с минимальными удобствами, под крышей. Почему нельзя у нас и жить и вести себя по-человечески и на каждую мелочь надо спрашивать разрешение чуть ли не в Москве? Ниже все боятся сделать чтото не так, не по инструкции — и делают как можно хуже для всех. Боятся наверно, что у станции могут бомбить, но риск здесь везде одинаков.

Ну, раззуделся, останавливаю я себя. Как будто не учат нас уже столько лет, пора бы привыкнуть и помалкивать. Даже концлагерем учили, куда же еще? Какие же неразумные мы существа, никак ученью не поддаемся...

Выдали по куску хлеба и по банке консервов на двоих, каша с мясом. Хорошо еще, что можно съесть без приготовления. А как бы отлично было, подогреть эту кашу с мясом! Командиры себе подогреют, вон уже пошли с котелками вниз, к станции...

Кое-как проворочались ночь под негреющими шинельками. Рано утром, поев в сухомятку, не умываясь, с помятыми заросшими щетиной рожами двинулись дальше. И опять, через каждые десять, пятнадцать минут — "воздух!". Любопытно, успеем мы добраться до Камыш-Буруна или немцы нас опередят? При таком темпе ничего нет удивительного, если опередят.

Во второй половине дня, перед вечером, шли в глубокой выемке; далеко внизу под откосом — нитка железной дороги, ветка на Камыш-Бурун. Справа откос продолжается, уходит

вверх, а здесь, в середине — неширокая терраса и по ней водоотводная канавка. Лежим в ней на спинах и смотрим в небо: там кружится над нами сверкающий на солнце серебром "Юнкерс". Может быть, заметил нас или будет бомбить дорогу? Лежим, вжимаясь в землю, чувствуя себя то ли кроликами, то ли даже ничем, словно нас и нет или — вот, сейчас, может не остаться ничего, даже и воспоминания. Какое пакостное, ни с чем несравнимое чувство распластанной беспомощности, почти небытия. Ты ничего больше не можешь, ни на что неспособен, ты — ничто!

Глаза как привязаны к самолету. Клюнет, не клюнет? Клюнул! Отвратный, сжимающий в комок свист летящей бомбы. Взрыв — впереди и внизу. Наконец, улетел. Поднимаемся, стряхивая с себя, как мерзкую холодную чешую, унизительный страх, ковыляем, не смотря в глаза друг другу.

Откос вдруг оборвался вниз и открыл широкую, не охватишь глазом, зеленую долину. По ней, изгибаясь к востоку, тянулась нитка железнодорожной ветки, на юг. Ее надо нам придерживаться, — около нее вьется и наша тропка. Грузовик давно ушел от нас по дороге, будет ждать впереди.

Начали спускаться — и тут внимание привлек белый пар, наплывавший на долину справа, с запада. Словно катился большой белый шар, — после него долину как бы заливало молоко. Что за чудо? Второй раз в жизни вижу я такое. Первый раз в Соловках: я стоял на берегу озера, было тихо, ни малейшего ветерка, озеро зеркальное. И вдруг, тоже с запада, зеленую гладь стала закрывать пелена тумана, метра на полтора над водой. Я зачарованно смотрел, как словно в сказке, озеро скрывается передо мной, куда-то уходя. Но там было озеро. -здесь долина и не похоже, чтобы на ней было болото. Белый пар полз и полз дальше и мы, сходя с горы уже входили в него, булто растворяясь в молоке. Но это не молоко, а туман, мы чувствовали сырость на руках и лицах, — откуда мог взяться тут такой густой туман? Мы жались друг к другу и шли цепочкой. чтобы не потеряться Каждый видел только переднего, — дальше и по бокам все растворялось и не было никого.

В довершение, когда начали спускаться, снова послышался гул самолета. И едва мы сошли в долину, как засвистела

падающая бомба. Очевидно, с самолета нас заметили и бросали бомбы просто в туман, наобум.

Бросились на землю — и тотчас же грохнуло неподалеку, осыпав нас комьями ссохшейся глины. Комочки ее еще не перестали шуршать вокруг, катясь по твердой земле — как снова свист и грохот и опять комья сыпятся на нас, больно стукая по спинам и затылкам. Рядом лежал Лунин, приподнялся: "Надо уходить, а то он, сука, переглушит тут нас всех". Вблизи были Анохин, Копылов, Авилкин, Сушков, — держась группкой, мы бросились бежать, сами не зная, куда. Свист продолжался, — наткнулись на воронку, наверно от только-что разорвавшейся бомбы, свалились в нее и лежали, прижимаясь к стенкам. Опять грохнуло неподалеку, но комья земли прилетели уже не с прежней силой, разрывы отдалились от нас.

Мы не видели самолета, только слышали его жужжание и свист бомб, мы ничего не видели, кроме непроглядной ватной мешанины тумана, которая каждую секунду могла взорваться от очередной бомбы, — и потому, что ничего не видели, было еще страшнее, чем когда мы следили за самолетом. Пожалуй, даже не страшнее, а более жутко, как от необъяснимого и непонятного нам.

Наконец, бомбежка прекратилась, гул самолета умолк. И сразу опустилась непроницаемая, словно укутанная в вату тишина. Ни звука. Куда делась наша рота? Успели убежать по тропинке, которую мы потеряли? Из нашего отделения тоже осталось только шесть человек, — где наши железнодорожники? Принялись звать, кричать — ни звука в ответ. Куда все провалились? Почти полтораста человек, не могут же они идти бесшумно. Опять прислушались, — ни шороха, ни звука, только ватная тишина.

Поднялись из воронки, погадали, куда идти, пошли будто бы на юг. И всего через три-четыре минуты наткнулись на возвышение, смахивало на берег. В самом деле, долина кончилась, мы вышли на вспаханное прошлогоднее поле, — на нем тумана не-было. Обернулись: туман остался за нами, в долине, но и в ней он уже будто таял или улетучивался, теряя свою непроглядность.

Становилось темнее, далеко не разглядишь. По-прежнему

ничего не слышно. Но не стоять же в поле, пошли дальше. Наткнулись на дорогу. Направо, налево? Пошли направо.

Через некоторое время впереди обозначился черный силуэт крестьянской избы, за ним другой, третий. Дома не были глинобитными, как в Джумушкае, а досчатыми, между ними — деревянные заборы. Большое, наверно, село. Шли по середине широкой улицы — нигде ни души, село как вымершее.

Наконец, кто-то идет навстречу. Показался солдат, незнакомый, не из нашей роты. Спросили, есть в селе комендант? Махнул рукой — там, дальше, и прошел мимо.

На площади, перед сельсоветом, стояла военная тачанка, полуприкрытая брезентом, около нее высокий, худощавый военный. Подошли: на петлицах по шпале, капитан. Костлявый, с длинными руками и ногами; словно на хорошо смазанных шарнирах, они постоянно были в движении, как и его сухое, вытянутое лицо. Анохин отрапортовал, кто мы и откуда, как отбились от роты. Внимательно оглядев нас, капитан быстро спросил:

- А где ваше оружие?
- Мы минометчики, ответил Анохин. Миномет и мины на грузовике, он ушел вперед.
- На грузовике?-отрывисто переспросил капитан. 3начит, нет вашего миномета. И грузовика нет.
- Где ж они? невольно сказал Анохин и вопрос его прозвучал наивно детски, хотя ничего детского в нем не было.
- Вдрызг разнесло, подчеркнул капитан резким взмахом руки. Почти прямое попадание, бомба упала рядом с бортом. Вон там, махнул он рукой дальше по дороге. Одни мелкие дребезги, ничего не собрать, сам ходил смотреть.

Я едва не сказал: "А как же наш ротный? И сестра? Они же в кабинке сидели", — но глупо было спрашивать.

- Вы вот что, решительно обратился к нам капитан, топайте назад. И чем скорее, тем лучше. Приказано всех направлять в Джумушкай, там теперь штаб. И роту вашу я направил туда, четверть часа назад, ну, может, двадцать минут.
- A можно нам здесь переночевать? спросил Лунин. Целый день шли, устали.

— Смотрите сами, чтобы не проспать вам все на свете.

Лунин спросил еще о продуктах. В самом деле, животы подводило.

Капитан развел руки: рад бы, да ничего у меня нет. Хотя — хотите концентраты? Тогда подходи, — он запустил руку с длинными пальцами в повозку и вытащил большую пригоршню кубиков и плиток. Мы подставляли ладони, он щедро сыпал в них, — отошли с туго набитыми карманами. Авилкин набрал их и запазуху.

Капитан нам понравился, нераздумчивой решительностью, быстротой, определенностью, громким бодрым голосом. У такого все должно спориться. Может быть, только чуть слишком бодр его голос, на нотку сильнее, чем нужно, — не от этого ли в нем словно отзвук отчаяния или обреченности? Впрочем, удивляться нечему: немцы видно рядом и он поди последний офицер в этих местах.

Концентраты — как камешки, разгрызть невозможно, надо варить, тогда они превращаются в борщ, суп, кашу. Это завтра. Пока можно только заложить кубик за шеку, авось размякнет.

В одном месте ограда раскрыта, открыта и дверь в доме — зашли. Жителей нет, наверно где-то попрятались. В доме чисто, расстелены половички, — легли на них, под головой вещевые мешки. Давно уже не спали под крышей.

Но спали недолго: не забыли, что говорил капитан. И только начало рассветать, тронулись по той же дороге, по которой пришли. Решили идти быстрее, не обращая внимания на самолеты.

Скоро дошли до железнодорожной ветки. — а там вчерашняя зеленая долина. Залитая солнцем и поблескивающая, как покрытая лаком, сегодня она была мирной, не зловещей, быстро прошли ее. В одном месте остановились, пораженные: наверно совсем малая бомба упала между рельсами и выкопала под ними неглубокую воронку, не повредив ни рельсы, ни шпалы. Прямые и целые, рельсы висели над ней, с прибитыми двумя шпалами. Будто кто-то нарочно постарался поаккуратнее выкопать под рельсами ямку. Тоже своего рода "чудо приролы".

Взобрались на самый верх откоса. Вдали слева — станция Керчь-Товарная, но по прямой к Джумушкаю надо сильно правее, — решили оставить дорогу и идти прямо, как ближе. Пересекли железную дорогу, опять вышли в какому-то оставленному жителями поселку. Развели в одном дворе, где был колодец, костер и в четырех котелках наварили борща и каши из концентратов, — давно не ели такого вкусного и сытного обеда.

Идти после него тяжело. Вышли из поселка, — за ним было кладбище. Расположились за полуразрушенной оградой, в густых кустах: с полчаса отдохнем. Но только задремали, услышали голоса: по кладбищу кто-то шел. Стараясь не обнаруживать себя, рассмотрели: два офицера, у одного на петлицах две шпалы — майор, другой лейтенант. Два солдатавтоматчика, с автоматами на изготовку, еще солдат. По смуглым характерным лицам — кавказцы. Майор остановился: "Дальше не пойдем, не стоит, лучше места не найдешь. Тут и переждем. Располагайся, но — смотри во все стороны", — приказал он, садясь у памятника на каменную гробовую доску. Другие расположились вокруг.

Их поведение и слова майора подсказывали что-то необычное: не собираются ли остаться и сдаться немцам в плен? Тогда они могут быть опасны: у них оружие. Хорошо осмотревшись, бесшумно перебрались через ограду и пошли дальше по траве, заглушавшей шаги.

Миновали овраг, заросший кустарником, вышли на поле, удивляясь, почему сегодня нет самолетов. Пронеслось несколько разведчиков, — бомбардировщиков нет. Может быть некого бомбить, отступающие части ушли перед нами, пока мы путались вчера в тумане и спали в селе? И мы, может быть, теперь на "ничьей" земле, между отступающими и наступающими?

Авилкин показал рукой налево. Там, вдалеке, переваливаясь, полз танк. Немецкий, советский? Советских мы тоже мало видели и на таком расстоянии тем более не могли разобрать, что за танк. На немецких, говорили, на борту нарисован крест, может есть и на этом, отсюда не видно. Танк шел в том же направлении, паралельно с нами. Прибавили шагу.

К вечеру, уставшие, вошли в овраг, по хорошей, укатанной дороге. Она привела к входу в каменоломню, в стене оврага, — таких, мы слышали, в окрестностях Керчи много, небольших. Увидели людей, лошадей, коров: в каменоломне укрылись жители окрестных сел и деревень.

Вошли в каменоломню. В глубине в ней тьма, но в разных местах горят костры, отбрасывая на стены, на людей, на повозки колыхание красного света. Попросили разрешения и у одного костра сварили суп и кашу из концентратов, в довершение хозяева угостили чаем с медом. Тут же и подремали: надо было отдохнуть. Вкусно пахло дымком, лошадьми, молоком, нашим варевом. Расспросили про дорогу, — до Джумушкая остался пустяк, километра четыре.

Встали с рассветом, надо поторапливаться, чтобы не очутиться в тылу у немцев. Пропал Авилкин. Покричали, поискали; окружающие подмигивают: не ищите, девчину себе нашел, дальше не пойдет. Вскоре Авилкин все же явился и смушенно сказал, что остается здесь. Как это, остаешься? — удивились мы. А куда идти? — возразил Авилкин. Все равно в плен попадем, а тут люди хорошие, между ними как-нибудь проживу. — Ты скажи, бабу хорошую нашел, — начал было выговаривать Анохин, но вступился Копылов: — Если и так, тебе что, завидно? Пусть остается, может и спасется... Из-за авилкиного плеча выглянул и "предмет": румяная, крепкая крестьянская девушка лет 20-22. От такого добра другого не ищут. Оставалось пожелать Авилкину счастья и расстаться с ним.

Нас осталось пятеро: Анохин, Лунин, Копылов, Сушков и я.

Вышли из оврага — опять широкое плоское поле. Впереди уже видны домики Джумушкая. А слева опять увидели танки, на этот раз три, они медленно ползли тоже к югу, один за одним. Немецкие, наши? Как ни разглядывали, не могли распознать.

Дорога укатанная, немного под уклон, мы торопились, почти бежали. У самой околицы Джумушкая жидкая цепочка из нескольких солдат копала ямки для индивидуальных окопчиков, под надзором лейтенантика, такого молодого, что сразу вспомнился прохладненский Гришин. Хотели пройти, но он

остановил: кто, откуда, куда идем? Сказали. Предложил присоединиться к ним: сооружать оборонительную линию на подступах к Джумушкаю. Смеяться неудобно, но и трудно удержаться от улыбки: с его десятком солдат с винтовками пытаться задержать немцев? Вон ползут танки, а у него нет даже ПТР (противотанковое ружье). А мы что будем делать? У нас и винтовок нет, нам не положено, мы минометчики. Нет, пойдем дальше, в штаб.

Он не задерживал нас, но смотрел осуждающе и презрительно: думал наверно, что трусы, боятся. А сознавать всю беспомощность и безрассудство его попытки "создать оборону" ему, наверно, было еще рановато.

Не прошло и десяти минут, как мы уже у блюда. Странными показались тишина и спокойствие у штаба. На поляне, где наша рота провела первую ночь, сидели группками солдаты, отдельные солдаты бродили между ними, винтовок ни у кого не было. Не было и намека на то, чтобы тут готовились к обороне или к эвакуации: все было так же тихо, вяло, сонно, как и два дня назад. Нет и офицеров. Что бы это могло значить? Не могут же в штабе не знать, что немцы с минуты на минуту подойдут к Джумушкаю. Теперь мы были уже уверены, что танки, которые видели полчаса назад — непременно немецкие.

Присели на краю блюда, Анохин пошел докладывать и узнавать. Лунин и Копылов бродили среди сидевших на полянке, смотрели, нет ли солдат из нашей роты. Никого не нашли. Ни с чем вернулся и Анохин: выслушали и сказали, чтобы ждать распоряжений, как ждут другие.

Неподалеку у солдат горел костер. Рядом, у кромки блюда, был колодец, очень глубокий, с холодной, ломящей зубы водой. Набрали воды, наложили концентратов, попросили у солдат разрешения сварить на их костре еду. Поделились с ними концентратами: они с радостью пристроили рядом с нашими и свои котелки. Пожаловались, что со вчерашнего дня ничего не ели: ни приварка, ни хлеба не дают уже вторые сутки. Спрашиваем, что тут происходит? Но солдаты ничего не знали. Слышали, будто приказано защищать Крым до последнего, — до последнего, конечно, солдата, в чем тоже не было ничего нового, как и в том, что их не кормили.

Был еще слух, что прилетел Мехлис и что расстреляли не то командующего фронтом, не то его заместителя и еще одного командира из высших. И в этом слухе ничего ни нового, ни удивительного: там, где Мехлис, генерал больше от НКВД, там должны быть и расстрелы. По слухам, штаб уже эвакуировался в Тамань, тут осталась мелкая сошка.

Поели, посудили, что делать. Если не через час, то к ночи немцы будут здесь. Мелкая сошка ничего не решит. Не пойти ли к переправе? Там не спят и не ждут. Может быть удастся уйти от верной беды? Или по крайней мере узнать, добиться какой-то определенности?

Побрели по той же дороге, по которой пришла от переправы несколько дней назад. На душе муторно, одолевает безнадежность. Придумать что-нибудь, чтобы изменить судьбу, невозможно. Не было надежды и на удачу у переправы: это было бы чудо.

Навстречу тащились два солдатика и сержант. Вид измученный и тоже безнадежный. Спросили, не с переправы ли? Ответили вопросом: а мы — не на переправу ли? Незачем, вертайтесь назад, — уныло и категорично, как приговор без права обжалования, изрек сержант.

Присели у дороги на пыльную траву, закурили. Вот там, показал сержант, где кончается металлургический завод, стоит цепь офицеров с автоматами и не пропускает к переправе ни души. У железной дороги стоит вторая цепь, а на пристани третья, проверяет каждого, кому разрешена посадка. Проскользнуть невозможно. Есть приказ эвакуировать только штабы, раненых и технику, остальные должны защищать Крым.

Они втроем провели у переправы почти двое суток, ходили вдоль кордона до воды в одну и в другую сторону, — лазейки нет нигде. Там толпы сидят, ждут неизвестно чего. Время от времени их разгоняют, приказывают идти в штаб к Джумушкаю, к защитникам Крыма. Иногда отгоняют, давая очереди из автоматов поверх солдатской толпы.

— Но может быть в последний момент перевезут? — усомнились мы. — Не могут же столько людей бросить на произвол судьбы, оставить немцам ни за понюшку табаку?

Сержант отрицательно покачал головой:

— Офицеры говорят: не надейтесь. Есть приказ из Москвы, его вам никто менять не будет. На что же надеяться? Не на что...

Он рассказал, что некоторые солдаты, из более решительных, делали плотики из автомобильных надутых шин: клали на них две доски, связывали и плыли на тот берег. Но больше этого не делают: говорят, что как только подплывают к таманскому берегу, их расстреливают из автоматов, как дезертиров, не дают и к берегу подплыть. Тут близко, перебраться не великий труд, и машин брошенных стоят десятки. штабных, санитарных. Какие офицеры еще и издеваются: кому, говорят, жить надоело, самоубийством хочет кончать — плыви на ту сторону.

Сержант растоптал окурок, тяжело вздохнул: — Теперь самый раз для тех, кто в плен хочет попасть, из войны выйти. Не надо и ловчиться: зайди вон за ограду, спи, встанешь — уже у немцев.

Попадать в плен ни у меня и ни у кого из наших желания не было. Если бы прежде, в Москве, или потом в эвакуации, — тогда еще не было полной уверенности в том, чего хотят немцы, а вернее — Гитлер, немецкий Сталин, с его окружанием. Может быть, все же главная их цель — свалить большевизм, коммунистов, как объявляли они в своих листовках и по радио? Тогда еще можно было сомневаться, — теперь сомнений нет: они воюют с нами, а не с коммунистами. Гитлер, кажется, еще дурнее, еще одержимее, чем Сталин, и в насилии может быть его опередил. Что же тогда может сулить плен, кроме новых мытарств и унижений?

Как все же непредставимо идиотски вышло! Вспомнилось, как шли от Тоннельной, как гнали в Крым вереницы грузовиков — для того только, чтобы отдать немцам? Почему, зачем? Как могло так получиться? Всего лишь из-за непроходимого кретинизма командования? Не могут же они не видеть и не понимать, что нельзя оставлять врагу эти тысячи людей, и так, за здорово живешь. До чего страх должен был разложить их, превратить в безмозглую слизь, отняв разум и волю, чтобы они безучастно соглашались сдавать нас в плен, хотя еще можно спастись. Если бы разрешили, — мы столько наделали бы

"плавсредств", плотов, что своими силами оказались бы на том берегу. А что теперь?

Голову кружило до тошноты. Но и пусто в ней, и в душе: что же, в конце концов все привычно, ничего необычного нет. Тягостно, муторно, тебя будто обманули подло и смертно еще раз, но и возмущения нет: все время обманывают. И ничего не придумаешь, ничего не изобретешь, чтобы стало иначе. И в тебе, и вокруг — великая пустота, опустошенность и обреченность и ничего, что могло бы сулить надежду.

Поднялись, побрели, как прибитые, назад, к каменоломне. Около нее словно бы прибавилось солдат. Тоже сидят хмурые, молчаливые, ушедшие в себя.

Сумерки сгущались, — решили идти заранее, поискать место получше. Теперь ни в сторожку не пойдешь, ни на полянке не останешься: надо держаться со всеми, делить общую участь.

В галерее продолжал стучать движок. Прошли подальше, мимо входа слева в клоповник. Вошли в поперечную галерею, обнаружили в ней углубление в стене, вроде пещерки, — в ней и можно завалиться спать. Спать и спать, сколько влезет, о чем еще думать? Пусть будет, что будет, — все равно ничем и никак на свое будущее повлиять мы не можем...

(Продолжение следует)

Г. Андреев

## ИВАНУШКА

(ок. 1732-1768)

Словом: наша речь о том, Как он сделался царем.

Колико росские пииты В дни оны жили на земли, Толико гласно, сановито Они высокий штиль блюли.

А коль с гудком заместо лиры И нисходили с облаков, То, чаю, токмо для сатиры Иль для любовных, мню, стишков.

Незапно, аки луч из тучи, Сверкнул меж ними юный муж, Писавший с каждым днем все лучше И русским языком к тому ж.

Легко сидел он на Пегаске, Но правил твердою рукой, Им помыкая без опаски — Ни дать ни взять своим слугой.

Он вздыбил стих неукрощенный, Еще не обращенный в штамп, Дабы заржал весь мир крещеный И жеребцом дымился ямб.

И так на ржанье жеребячьем Вознесся выше пирамид, Что сколько мы его ни прячем, А он главою вверх стоит.

С тех пор, хотите ль, не хотите ль, Царем поэтов русских стал Наш незаконный прародитель, Наш полу-Пан, полу-пропал,

Певец скабрезнейшего склада, Общечитаемый (......)\*, Лет за сто до "Гаврилиады" Владевший пушкинским стихом,

Лихой и буйный завсегдатай И бард российских кабаков, Родоначальник Самиздата, Плебей без юбилейной даты, Отца-не-помнящий, но знатно Мать поминавший И. Барков!

Николай Моршен

<sup>\*</sup>Тайком

# ВЕНЕЦИЯ МАНДЕЛЬШТАМА И БЛОКА

I

Замысел *веницейской жизни* возник у Мандельштама в Феодосии, в 1921 г., а 21 октября того же года он читал это стихотворение в Петрогралском клубе поэтов.

#### **ВЕНЕЦИЯ**

Венецейской жизни мрачной и бесплодной Для меня значение светло. Вот она глядит с улыбкою холодной В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки. Белый снег. Зеленая парча. Всех кладут на кипарисные носилки, Теплых, сонных вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи, Словно голубь залетел в ковчег. На театре и на праздном вече Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха: Тяжелее платины Сатурново кольцо! Черным бархатом завешанная плаха И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы, В кипарисных рамах зеркала. Воздух твой граненый. В спальне тают горы Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах роза или склянка — Адриатика зеленая, прости! Что же ты молчишь, скажи, венецианка, Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает. Всё проходит. Истина темна. Человек родится. Жемчуг умирает. И Сусанна старцев ждать должна.

Венеции предшествуют многие стихотворения Мандельштама об Италии. Существеннее, что это его "итальянское" стихотворение входит и в цикл его стихов о любви и смерти: это главная тема Соломинки и многих других его стихотворений 1916-1921 г.г.

Размер: чередуются 4-5-6-стопные хореи, а в одной строке даже 7-стопный хорей, в русский поэзии очень редкий: Тяжелее платины Сатурново кольцо... Нужно некоторое усилие, чтобы прочесть этот стих: и, может быть, его непривычная длина — эквивалент тяжелого Сатурнова кольца.

Язык соответствует теме: при этом, выделяются два слова. Первое анахронизм — веницейский. Это слово появляется в Хождении Гагары 1634 г. и оно еще встречалось у Гоголя (Фасмер). Другое слово может показаться слишком русским: вече вместо народного собрания или соответствующего итальянского термина (Кончьо или Арего, отмененного в Венеции в начале 15-го века). Но оба эти слова уместны. Прилагательное веницейский сигнализирует: это старая Венеция (до потери независимости в 1797 г.). А вече подает другой сигнал: Венеция увидена русским и как-то ассоциируется с русскими средневековыми республиками — Новогородом Псковом. Еще переосмылено прилагательное дряхлый: голубое дряхлое стекло. Дряхлые по-русски преимущественно люди, живые существа. У Пушкина его няня: Голубка дряхлая моя. Но Мендельштам и прежде переносил понятие дряхлости с людей на предметы (и, тем самым, их одушевлял) Слишком дряхлы струны лир; Солнца дряхлая повозка. Также: дряхлеющая любовь Овидия-изгнанника.

Интонация. В трех стихах 6-ой строфы два вопроса, два восклицания, два императива. Конечно, от читателя зависит: как читать стихи. Но мы знаем, что в вопросах, восклицаниях, приказах допускается и даже ожидается повышение голосового тона. Вопросы: Что же ты молчишь... Как от этой смерти праздничной уйти... Восклицания: Адриатика зеленая... венецианка (это вокативы по смыслу). Приказы: прости... скажи... Особенно насыщена интонациями третья строка (и едва ли во всей русской поэзии найдется другой такой богатый интонациями стих): Что же ты молчишь, скажи, венецианка... Здесь в пяти словах: вопрос, приказ, призыв.

Стихотворение можно разделить на три части: описательную (строфы I-IV), монологическую — обращение к Венеции от первого лица (У -УI) и заключительную, пояснительную (УII).

Разбор по строфам.

1. Сразу же изумляет резкий контраст-парадокс. Значение мрачной и бесплодной жизни в Венеции: светло. Это почти то же самое, что сказать: черное — белое! Но абсурда здесь нет. Мрачность, бесплодие (а также и холодная улыбка), несомненно, связаны с историей Венеции. Мандельштам историком не был, но у него было острое чувство истории. Венеция: государство-паразит. На лагуне ничего не росло. Но она веками богатела, блистала, эксплуатируя свои многочисленные колонии, выгодно торгуя в средиземноморском бассейне, завоевывая новые угодья на твердой земле (Виченцу, Верону и др. области). Вместе с тем, Венецианская олигархия отличалась беспощадной жестокостью, казнями, тюрьмами, в которые вели через знаменитый Мост вздохов. Правда, в средние века и в эпоху Ренессанса жестокость была повсеместной. Но во Флоренции, в Милане и в самом Риме бывали мятежи, ереси, которых не было в этой олигархической республике. Венеция любила веселиться, но свободомыслия не допускала. Что же тогда — в Венеции светло? Светло для Мандельштама искусство, хотя бы голубое дряхлое стекло, на которое она глядит с холодной улыбкой. Так, мрак, холод венецианской политики находит оправдание в своей противоположности: в радующей эстетике.

II. Эта строфа замечательна своим колоризмом и вещественностью. Это: тонкий воздух кожи. А в варианте (которому я отдаю предпочтение): Тонкий воздух. Кожи синие прожилки. Еще снег, который в Венеции выпадает редко и, конечно, для нее нехарактерен. Белизну скорее видишь на венецианских картинах, напр., на нижней кайме головного дожа Лоредана, облаченного в зеленую парчу, о которой Мандельштам говорит в том же стихе, по соседству со снегом. Вообще, освежающей белизны немало в венецианской живописи, и не только на этом портрете работы Джованни Беллини. Это, например, белый платочек на темно-зеленом фоне, у Витторе Карпачьо (Подруги) или белая простыня купающейся в зеленом саду Сусанны у Тинторетто. Существенно также, что всякая зелизна господствует в венецианской живописи разных периодов и здесь опять вспомним о Карпачьо. В его цикле Жития св. Урсулы небо кажется продолжением моря и различие между зелеными оттенками неба и воды неуловимы: это зелень груши, винограда и огуречного рассола. Зеленого много и у других венецианцев разных эпох: у другого Беллини — Джентиле, у Джорджоне, Веронезе, Тинторетто, позднее у Каналетто или Гварди. Это сближение с живописью оправдано тем, что у Мандельштама было очень развито чувство живописи и он писал о венецианских художниках: Дивлюсь рогатым митрам Тициана, (И Тинторетто пестрому дивлюсь). Может быть И Венецию он воспроизводил преимущественно по картинам, подтверждающим его интуицию. В Италии он побывал, но неизвестно — был ли в Венеции.

На кипарисные носилки кладут всех венецианцев, писал Мандельштам, а на самом деле немногих знатных, богатых. Это лирическая гипербола. Их, теплых, сонных вынимают из плаща. Эта "сцена" создает впечатление "домашности", уюта в Венеции мрачной политики и пестрой эстетики.

III. Уют продолжается. В корзинах горят свечи: их, вероятно, несут слуги, сопровождающие привилегированных венецианцев. Метафора или даже символ: трепет свечного пламени сравнивается с трепетом голубя, залетевшего в Ноев ковчег (с масленичной веткой). Это означало: всемирный потоп кончился. Может быть и Венеция спасется, как Ной со всей своей фауной?

Но далее неожиданный резкий переход из жизни в смерть.

Смерть на театре — ненастоящая: в разыгрываемой трагедии. Это климакс, за которым следует катарсис (разрежение или очищение). А смерть на вече — настоящая. Пусть венецианское вече было более мирным, безобидным, по сравнению с новгородским. Здесь оно символизирует всякую вообще жестокую политику: и политика в недемократической Венеции была кровавая. В этой строфе впервые упоминается смерть: "Умирает человек".

IV. Тема смерти развивается в сопоставлении с любовью. Нет спасенья не только от страха (смерти), но и от любви (которая убивается смертью или сама губит).

Сатурн или греческий Кронос иногда путается с богом времени Хроносом. Так, в одном раннем стихотворении Шиллера летящий Сатурн искал свою невесту: вечность. Сатурн иногда связан и с меланхолией (на гравюре Альбрехта Дюрера). У Мандельштама здесь ощутительны оба оттенка: чего-то тяжелого (как платина) и угнетающего (как время и меланхолия). Далее опять сопоставление смерти и любви: прекрасного лица (любимой). И, повторяю, это главная тема многих стихов Мандельштама 1916-21 г.г. Черный бархат, завешивающий плаху "возродится" в декабре того же года в мандельштамовском Петербурге: В черном бархате советской ночи. В бархате всемирной пустоты. Это Россия эпохи террора, чекистов, которые едут в "злом моторе". Но там же продолжает звучать и мотив любви к прекрасным женам а также и мотив поэзии — ее бесмертных цветов: Всё поют блаженных жен родные очи. Все цветут бессмертные цветы.

V. Здесь начинается монолог Мандельштама: он обращается к Венеции с речью. Если у Сатурнова кольца тяжесть платинывремени-меланхолии, то Венеция тяжела восхищающими уборами. Это тяжесть в кипарисных рамах. Опять повторяется голубое дряхлое стекло и оно тоже тяжелое (хотя и тает) — его ведь целые горы! Самый воздух — граненый, как стекло: и таким воздухом нелегко дышать. Но зеркала и стекло не давят, как Сатурново кольцо, а радуют-восхищают. Тема тяжести — постоянная тема у Мандельштама. Еще в Камне он сказал: ... из

тяжести недоброй/ я когда-нибудь прекрасное создам. Но в данном случае образ тяжести скорее связывается со стихами того же 1920 г. (предшествующими Венеции): Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы. Как мы видели, в Венеции тяжелые "веши" и устрашают Сатурном-временем приближающим к смерти и восхищают тканями или стеклянными уборами, а нежностью любви овеян образ прекрасной венецианки. И в обоих стихотворениях смерть: Умирает человек. Человек умирает. Так, в разных вариантах звучит мелодия любви и смерти.

VI. Здесь продолжение начатого в предыдушей строфе монолога Мандельштама: и я уже говорил, по интонационному богатству и лирическому напряжению, это четверостишие — апогей всей Венеции и один из самых высоких климаксов мандельштамовской поэзии.

Уже в первой (максимально сжатой) строке дана вся ситуация любви и смерти: роза — любовь, а склянка (с ядом) — смерть. В чьих пальцах цветок или сосуд? Любовника ли, который хочет послать даме розу любви или же он хочет отравить неверную возлюбленную, а, может-быть, своего соперника. Этот сжатый стих мог бы послужить эпиграфом или мотивом чуть ли не для дюжины новелл эпохи Возрождения. Та же эротическая фатальная музыка слышится в мемуарах Бенвенуто Челлини или в стилизованных новеллах Стендаля. Тогда умели любить, умели и убивать, о чем свидетельствует до сих пор сохранившаяся в Венеции и уже вполне безобидная улица Ассасинов!

Кто говорит: "прости"? Может быть, дама или кавалер, но так-же и Мандельштам: кажется, все они могли бы это "прости" сказать. Испрашивается ли здесь прощение (прости меня...) или же кто-то прощается? Прошание подтверждается желанием "уйти" из Венеции. Почему смерть в Венеции: праздничная? Не потому ли, что там она не только настоящая (казни, отравления), но и ненастоящая, — прекрасная в искусстве, на театре или в живописи. Она климакс трагедии — темный фон (черный бархат) для красок "веницейской жизни": зеленой, а также голубой, синей, желтой, белой.

Читая эту строфу, хочется перефразировать слова, будто бы сказанные Потемкиным Фонвизину (после представления Недоросля в 1782 г.): — Умри, Денис, лучше ничего не напишешь... И можно было бы сказать: — Умри, Осип, лучше ничего не пиши... (хотя позднее он писал, если и не лучше, то и не хуже!). Может быть и так: Мандельштам, достигнув здесь одного из своих лирических апогеев, не мог вынести мучительного блаженства: и ему захотелось уйти от этого счастья, как от смерти. Вообще же, эта строфа не может быть и не должна быть до конца разгадана. В этих четырех стихах — полнота бытия поэзии.

VII. После энтузиазма в климаксе — отрезвляющий антиклимакс. Лирическая энергия Мандельштама иссякла. Он уже не поет во весь голос, а разъясняет, что, по правде сказать, и так ясно для читателя.

В четырех строках (VII-ой строфы) шесть коротких предложений. Веспер (т. е. Венера, Афродита, "звезда" любви): черный, траурный, и напоминает ночное или черное солнце во многих прежних стихотворениях Мандельштама. Здесь почти отождествляются главные темы стихотворения: любовь и смерть. Далее скепсис из ветхозаветного Экклезиаста: все проходит, "истина темна".

О том, что "человек родится" мы узнаем после того, как Мандельштам сказал: "умирает человек" (в III-ей строфе). Рождение в мрачном эпилоге — явно нерадостное. Далее: "Жемчуг умирает" (т.е. красота).

Сусанна — образ из книги пророка Даниила. Ее оклеветали старцы, безуспешно старавшиеся соблазнить эту добродетельную матрону. Сусанну могли приговорить к смерти, но ее спас своей защитой пророк Даниил. А у Мандельштама она еще должна ждать неправедного суда иудейских старейшин.

Еврейка Сусанна ассоциируется с венецианкой Сусанной на картине Тинторетто. А у Мандельщтама она не только венецианка, а и любимая им, обреченная Венеция, которая в этих стихах оправдана не Даниилом, а Мандельштамом. Вместе с тем, мы угадываем в ней черты его музы, являвшейся ему в разных образах — Соломинки-Леноры-Лигейи-Серафиты,

Прозерпины, Персефоны и других обреченных прекрасных жен и дев — едва ли возлюбленных, скорее — сестер. Венеция Мандельштама: песня песней любви и смерти.

В VI-ой строфе лирическая благодать достигает предела: невыносимого счастья, и вдруг иссякает. Раскалив поэзию до бела, Мандельштам в последней строфе расхолаживает рифмованной прозой. Эпилог: каталог сентенций из Экклезиаста или протокол, составленный крайним пессимистом. Так Мандельштаму угодно было закончить это стихотворение. Но сентенции мы забываем, а благодать остается в памяти, может быть, в вечной памяти.

П

Повидимому, Блок познакомился с Мандельштамом еще в 1911 г. 6 июня этого года он писал Андрею Белому в связи с антологией Мусагета: Отчего Рубанович второго сорта, когда у нас есть Рубанович лучшего сорта по имени Мандельштам? В Дневнике за тот же год встречаем отрывочные записи: Пяст и Мандельштам (вечный) — 29 окт. и далее, опять-таки в связи с Пястом: Мандельштамые — 4 дек. Более позднее упоминание в письме к А.Н. Чеботаревской (жена Федора Сологуба): Вы предлагаете то гобелены, то столы, закрывающие чтецов до подбородка, то Мандельштама, то Игоря Северянина (9 февраля 1915 г.). Все эти записи не всегда ясные, но явно пренебрежительные.

Блок не упомянул о Мандельштаме в своей негодующей статье, написанной в апреле 1905 г. Этот памфлет был направлен против Гумилева и акмеистов, включая и младшего из них — Георгия Иванова, и был озаглавлен пушкинским стихом: Без божества, без вдохновенья. Неупоминание о Мандельштаме, конечно, не было вызвано тем, что Блок находил в его поэзии божество и вдохновенье! Скорее всего он не принимал его всерьез, как забытого Семена Рубановича (ум. в 1932 г.). Но имеется и еще одно суждение о Мандельштаме.

21 октября 1920 г. Мандельштам читал стихи в Петроградском клубе поэтов. Прочел он и разобранное нами стихотворение о Венеции. На другой день Блок записал в Дневнике:

Гвоздь вечера — О. Мандельштам. Сначала невыносимо было слушать — общегумилевское завывание. Постепенно привыкаешь... Виден артист. Его стихи возникают из снов, лежащих в области искусства только. Как будто это положительная оценка, но с оговорками.

Можно утверждать, что именно в 1920 г. Мандельштам достиг своего акме (зрелости, расцвета), но для многих современных читателей ясно: он был большим поэтом и в 1913 г., когда издал сборник Камень (дополненный и переизданный в 1916 г.). Если к 1920 г. и "вырос", то и за десять лет до этого был "рослый". Он не какой-то Рубанович лучшего сорта! Но даже его друзья-акмеисты — Гумилев и Ахматова (в те годы), не понимали — какой он большой поэт. Этого не понимал и Блок и до конца жизни не понял Георгий Адамович. К тому же, похвалив Мандельштама, Блок сказал, что его сны "лежат" только в пределах искусства. В устах Блока это суждение отрицательное. Здесь подразумевается: его собственные сны, не эстетические, а метафизические "лежат" в высцих сферах Вечной Женственности, Софии, Прекрасной Дамы или Незнакомки, Карменситы, России....

Отмечу: некоторые образы в мандельштамовской Венеции те же, что и в двух стихотворениях Блока *Венеция* (1909 г.):

у Блока венецейская дева; черный бархат, бархатная ночь... у Мандельштама веницейская жизнь, венецианка; черным бархатом завешенная плаха...

У обоих поэтов библейские образы: у Блока Саломея (изображенная на мозаике в соборе Сан Марко), у Мандельштама Сусанна (Тинторетто), и та же лирическая доминанта — любви и смерти.

Существенно и то, что в итальянском цикле Блока есть совсем "акмеистическая" любовь к мелочам:... как мы, поэты, ценим/ жизнь в мимолетных мелочах. К тому же, в лирической Италии Блока нет отрицания искусства, как во многих других его стихах. Все же, и там ему снились пророческие сны о будущем. Блоковская Равенна заканчивается стихом:

Тень Данта с профилем орлиным О Новои жизни мне поет.

Так называлась книга Данте: Vita Nuova, где он рассказывает о встрече с Беатриче. А в блоковской Венеции "некий ветр": О Жизни будущей поет (Блоку казалось, что когда-нибудь он опять родится от венецианских родителей). Таких символических ветров у Мандельштама нет, а гораздо позднее он истолковал Данта иначе, чем Блок, которого укорял в полном непонимании Божественной комедии. Своя творческая правда была у обоих поэтов.

Мандельштам не раз писал о символистах и готов был признать их "великую заслугу" в просвещении полуобразованной интеллигентской массы. Но чаще он от символистов отталкивался. Ему был чужд их мистицизм, их метафизический жаргон, в особенности у Андрея Белого, — и их игра в жрецов. Но Блока Мандельштам выделял, ценил (как одно время и Вячеслава Иванова). Для него Блок: живой и опасный. Не значит ли это: он большой поэт и именно благодаря своей певучей силе — опасный противник для всего поколения акмеистов (хотя в данном контексте Мандельштам имел в виду футуристов).

Блок еще в юности ждал конца мира. Ему даже казалось, что мир уже гибнет:

Да, я как ни один великий человек, Свидетель гибели вселенной.

(1900-14 г. г.)

А позднее Блок писал с упоением: И погибнуть мне весело (1907 г.). Или:

И была роковая отрада

В попираньи заветных святынь...

(1912 г.).

Романтик и апокалиптик Блок верил: из пепла старого мираи христианского, и гуманистического, возникнет новый лучший мир, для него самого неясный, но желанный. А Мандельштам апокалиптиком не был и не верил в зыбкие романтические утопии символистов.

Свои мысли об ограниченности искусства Блок лучше всего выразил в стихотворении *Художник* (1913 г.). Там он сожалает о

том, что творческий разум убивает метафизические замыслы и поэт заключает свободную птицу (вдохновения) в холодную стихотворения. Написанные стихи Истинны неполноценны. только видения вечности "несказанное"). Значит: незачем заниматься стихотворством. Этот вывод и сделал Георгий Адамович. Отчасти исходя из Блока он сказал: настоящая поэзия "невозможна" (в статье о Невозможности поэзии). Тем самым, он выразил одну из заветных мыслей Блока, который после Двенадиати и Скифов стихов почти не писал.

Ничего не следует упрошать. Мы видели: в Италии Блок дышал воздухом искусства, но, по существу, он был враждебен и искусству, и культуре — всякому вообще строительству в "дурной бесконечности" истории, которая должна кончиться или провалом или утопией — царством Софии. Но, враждуя с искусством да и со всем миром, Блок писал гениальные стихи о бессмысленности всего что есть в жизни, о вечных повторениях (которые, заметим, не пугали Мандельштама):

И повториться все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.

На самом деле многие сны Мандельштама тоже "лежали" за пределами искусства, но он знал, что их можно и нужно воплощать только в поэзии. Для него реализация — совсем не измена какому-то метфизическому замыслу. Он также верил в возможность и необходимость строительства христианской культуры. Православие впервые раскрылось для него в московских соборах, в византийской Айя-Софии, католичество в римском Св. Петре, а протестанство в музыке Баха и Бетховена. Да и во многом другом.

Нельзя сомневаться в том, что вера, любовь, смерть, Бог были для Мандельштама вне-эстетическими реалиями бытия. Об этом мы узнаем из его статей и из воспоминаний Надежды Яковлевны (вдовы). Bce же. ОН был И хотел преимушественно поэтом. пророком, не предтечей a не символисты, религии, как включая значительного из них — певучего и "опасного" Блока. Мандельштам знал, что поэзия не поучает, не спасает, но в самые

напряженные моменты — в счастливых стихах граничит с метафзикой и стремится воплотить то, что достойно вечности: и не только соборы, симфонии, картины. Да, поэзия на своих высотах соприкасается с тем, что вне времени, но ни поэт, ни его читатели, увидев кусочек блаженной лазури, из клетки стихотворения не вылетают. Большего от искусства требовать нельзя. Невозможная поэзия Георгия Адамовича, вдохновлявшегося Блоком (а также и Лермонтовым) — лист чистой бумаги. Это то ничего, в которое проваливаются многие разочарованные романтики, включая Блока.

Одно из распространенных и верных определений искусства: искусство — игра. Об этом еще писали Кант и Шиллер, а в наше время Хойсинга в замечательной книге Играющий человек (Homo Ludens). Мандельштам писал об искусстве-игре фрагментарном очерке о Пушкине и Скрябине: "Вся наша двухкультура, благодаря чудесной тысячелетняя христианства, есть отпущение мира на свободу для игры, для духовного веселия, для подражания Христу". Там же он говорит, что христианское искусство есть: "Радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки духа". Что это значит? Решаюсь дать мое истолкование этой как будто бы непонятной игры с Богом в жмурки и прятки. Может быть. художник прячется от Бога, ибо боится его "поймать". Если "поймает", то уже не будет писать стихов. А Бог "прячется" от художника, ибо знает: Его величие в искусстве невоплотимо. Но в Царствии Божием или в святости — уже незачем будет играть в прятки. Жмурки заменит игра в открытую: и уже не в искусстве, а в вечной жизни. В этой же статье Мандельштам сказал: искусство остается иллюзией, "божественной иллюзией". Значит: пределах искусства не непосредственного богообщения в вечности. Но этим искусство не опорачивается: всему свое место. Художник ниже святого, ниже раежителя, но и он нужен в Божием и в человеческом хозяйстве. А максималист и апокалиптик Блок с этим не нигилистически отрицал все согласился бы: ОН искусства, культуры и вечные повторения в "дурной бесконечности" истории. Между тем, ничто во времени не повторяется: ни человек, ни его дела. Все люди и их дела неповторимы и, поэтому, осмыслены по своему качеству, по своеобразию. Поэтому, Мандельштам, многое в истории отрицая (напр., Сталина и его террор), от истории не отрекался. Но об этом следовало бы поговорить особо.

В поэзии Мандельштам тоже часто говорил об игре: и яснее, чем в статьях. В его Париже: Играет мышцами крестовый легкий свод. А в будничной жизни его восхищает нежная игра в бабки. Об игре он писал и в страшные тридцатые годы, в воронежской ссылке:

И я сопровождал восторг вселенский Как вполголосая органная игра.

А на православной литургии:

Все причащаются, играют и поют...

Не вся ли поэзия Мандельштама — священная игра "божественного мальчика" (как называла его Цветаева).

Для Блока стихотворения — клетка-тюрьма. Или иногда соблазн (как в итальянском цикле):

На легком челноке искусства

От скуки мира уплывешь.

Мандельштам этой романтической скуки не знал. У него был дар восхищения. Он познавал бытие не в тревоге, ужасе, как экзистенциалисты от Киркегора до Хейдеггера и Сартра, а в восхищении, в творческом труде и, повторяю, изо всего, будь то соборы или мороженое или "праздничная смерть" в Венеции, он делал в поэзии вещи, достойные вечного бытия.

Блоку, как и Лермонтову в стихотворении Ангел, скучные песни земли не могли заменить "звуков небес". Песни Мандельштама — земные, но иногда они сливались с небесными в музыке хвалы. А в поэзии Блока звучала музыка гибели и зыбких обреченных романтических чаяний. Блок — Апокалипсис русской поэзии. Мандельштам — русский Псалмопевец. Но не ветхозаветный, а уже новозаветный, прославляющий Спасителя. Он не пророк, не жрец, а только поэт, свидетельствующий в поэзии о вечном полдне Евхаристии:

И на виду у всех божественный сосуд Неисчерпаемым веселием струится.

Надежда Яковлевна Мандельштам как-то сказала: нельзя сразу любить и Блока, и Мандельштама. Но в разное время: можно.

Я принадлежу к поколению, для которого в 20-х г. г. Блок и поэт были понятия тождественные. Но это уже прошлое. В наши дни для многих поэт — это, прежде всего Мандельштам.

Юрий Иваск

## ПОЛЬ СЕЗАНН

Искусство — не слезы, не вопли, не щедрость излишняя:

мера

игры светотени рельефа, дорической ясности строй.

Спокойные сизые кубы, во времени нас умудряя, вне времени снова поют.

Kmo

в скомканной скатерти

кроме

Сезанна

заметит зеленый

ледник

на щербатой горе?

🔪 Алексис Раннит

Перевод с эстонского Юрия Иваска

#### ЛОПУХИ

Стихам, что у забора Родились среди сора Через союз раздора,

Через словечко: "но", Судьбою суждено, Грамматикой дано

Незыблемое право, Словесности во славу, Быть многим не по нраву.

#### возврашение

Мне прошептала смерть: "живи" И отпустила на поруки. С тех пор, из всех богатств любви, Предпочитаю я разлуки.

В них судорога губ и рук И опьяненье вольной волей. Земное счастье, без разлук, Как день без ночи, хлеб без соли.

Боль расставаний — пустяки, Романтика наивной муки, Тут нет следа слепой тоски Последней и сплошной разлуки.

Глеб Глинка

# А. К. ТОЛСТОИ

# К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ, 1817-1875.

Я буду говорить здесь о некоторых характерных чертах творчества графа Алексея К. Толстого и о главных источниках его лирического вдохновения.

Почему "средний читатель", особенно — молодежь разных хронологических и бытовых слоев русской культурной жизни последних 100-120 лет так часто поддавались художественному и нравственному обаянию Алексея Толстого, даже не разделяя черт его миросозерцания? Хотя, по существу, молодежь была нередко ближе к нему, чем на первый взгляд могло бы казаться. Может быть это была его жажда подлинной. высшей — Правды и Справедливости ("Двух станов не боец") и жажда нравственного и духовного подвига, что захватывало различные круги молодежи? Почему большое число его стихотворений (не менее 55) переложено на музыку лучшими русскими композиторами 19-го и 20-го веков.? 11 стихотворений переложено Антоном Рубинштейном, 12 — Чайковским, 12 — Римским-Корсаковым, 7 — Рахманиновым, 5 — Мусоргским, 20 Кюи, 5 — Гречаниновым, 1 — Ипполитовым-Ивановым, 1 — Танеевым, 3 — Аренским, 1 — Влад. Полем и т.д., а две пьесы переложены на музыку — в том числе большая баллада "Слепой" — еще Францем Листом<sup>2</sup>. Очевидно, эти композиторы

- 1. Уже в эмиграции в Париже ("Пантелей-Целитель")
- 2. При этом ряд стихотворений был переложен на музыку, независимо друг от друга тремя-четырьмя композиторами (напр. "Звонче жаворонка пенье", "Край ты мой родимый край", "Острою секирой ранена береза", "Коль любить так без

чувствовали внутреннее лирическое пение в стихах Алексея Толстого. Почему, наконец, серьезная литературная и особенно театральная критика и ценители драматического искусства (и русские, и иностранные — особенно в Германии) так высоко ценили первые две части его "Драматической Трилогии", причисляя их к высшим произведениям русского драматического искусства? Почему вместе с тем, так часто встречалось (и теперь иногда встречается), если не враждебное, то снисходящепренебрежительное отношение к нему, — к поэту "Божией Милостью", носителю крупного поэтического таланта? Одна причина этому несомненна: его не взлюбила (за его "Пантелея", "Потока-Богатыря") радикально-революционная лигенция, воинствующие проповедники материалистически-механического миросозерцания, отрицатели духовных ценностей и духовных потребностей человека, враги красоты в мире и всякого высшего сверхмирного смысла жизни. А это было тем, чем жил и чем в своем творчестве вдохновлялся Алексей К. это он был непопулярен этих воинствующе-материалистически настроенных революционной интеллигенции. Но рядовой русский юноша, по своему бытовому окружению и по многим своим взглядам часто принадлежавший скорее к либерально-радикальному сектору интеллигенции, неожиданно для себя находил — как об этом свидетельствуют факты — внутренний контакт с поэзией Алексея Толстого, с духовными источниками его творчества. Дух юности, юношеского горения, дух рыцарства, стремления к служению высшей общечеловеческой Правде, дух захваченности Красотой, разлитой в мире, весенней, будящей, мажорный дух служения некой высшей Правде, отголоски и отблески которой живут и в окружающем мире, несмотря на зло и страдание, и необходимость подвига, радостного в борьбе за высшую божественную Правду — все эти тона не могли не привлекать русскую молодежь и привлекают доныне.

разсудку", "Дробится и плешет и брызжет волна"); два стихотворения (в том числе "Горними тихо летела душа небесами") пятью композиторами; "На нивы желтые снисходит тишина" перелагали на музыку 6 композиторов, в том числе Чайковский, Римский-Корсаков и Гречанинов.

раскрываются и некоторыя причины не только предубежденно-злостной, партийно-однобокой критики стороны последователей взглядов резко враждебных миросозерцанию А. Толстого, но иногда и основания для некоторых критических замечаний со стороны поклонников миросозерцания Алексея Толстого и вместе с тем горячих друзей его поэзии его привлекательной личности и его истинного поэтического дара. Но мы знаем что у ряда очень крупных, даже у величайших поэтов, у которых творчество льется иногда очень "легко", как бы захватывающим их потоком (так было это и с Алексеем К. Толстым), в самой — чаще кажущейся "легкости" творчества таится некоторая опасность. В самой поспешности уловить, воплотить внутреннее творческое переживание, в этой "спешности уловления" может иногда заключаться причина некоторого впадения в абстрактность или даже некоторую трафаретность. Это случается с А. Толстым в некоторых местах его стихотворений философского или религиозно-философского характера. Художественная сила не поспевает за философским созерцанием, ибо как говорят мистики и поэты: "перед Несказанным блелнеет язык".

Так до известной степени в той части речи Иоанна Дамаскина к Калифу, где он излагает учение о Высшем Первоисточнике всякой Красоты. Не таково в той же поэме о Дамаскине молитвенное обращение Иоанна к Владыке души его — Иисусу, исполненное высокого подъема.

Где тут граница? Трудно указать и объяснить, но разница ощущается. Так в его знаменитом стихотворении "Против течения" ("Други, гребите!...") рядом со строфами победного подъема идут более повествовательные строфы например об иконоборческих спорах в Византии. Особенно этот контраст ощутителен — между захватывающим подъемом и более "разсуждающими" и потому более холодными частями — в одном из его самых интимных и замечательных по силе стихотворений: — "Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре", — в

<sup>3.</sup> Таково напр. отношение к А.К. Толстому историка литературы Скабичевскаго.

котором он обращается к той, кто была предметом горячей беззаветной любви всей его жизни.

Но его любовь не "оазис", не "кусочек" вырванный из вселенной — она сливается с огромным всеохватывающим фоном всепокоряющей Любви:

"Но я любить могу лишь на просторе, Мою любовь, широкую как море Вместить не могут жизни берега!"

И далее следует ряд строф, развивающих эту мысль в деталях. Это религиозно-философское разсуждение, переложенное в стихи (и отсюда — некоторый прозаизм, некоторая книжность этих посредствующих строф). Но в конце, в последней строфе — опять подъем, еще более замечательный чем в начале:

"Но не грусти, земное минет горе Пожди еще, неволя недолга! В *одну* любовь мы все сольемся вскоре, В одну любовь, широкую как море Что не вместят земные берега".

Это строки принадлежат к самому вдохновенному, что написал А.К.Толстой. Они уже делают возможным признание его и великим лириком и великим религиозным поэтом.

2

Но эти "прослойки" прозаизма (в переложении философских мыслей в стихи) иногда немного расхолаживают и горячих почитателей его подлинного и свежего таланта. Кроме того, действует еще один необоснованный предрассудок. Иногда несколько как бы сбивает с толку необыкновенная многогранность, многострунность, легкость и быстрота перехода от настроения к настроению в его творчестве и этот широкий, казалось бы непрерывающийся поток поэтического творчества, изливающийся из его души (включая и его блестящие, веселые, талантливейшие сатиры и пародии). Но какое дело читателю, как это все далось поэту А.К. Толстому? К тому же это внешнее впечатление о какой то "легкости" его творчества (понимаемой в смысле некой поверхностности, не связанной с глубиной

переживания) нужно считать весьма ошибочным. Своему творчеству А.К. Толстой отдавал все свои физические и духовные силы. Свидетельствует об этом ранняя изношенность его от природы крепкого организма (он умер около 58 лет). Свидетельствует о том и огромная сила воздействия его свежебьющей, подлинной лирической струи, его ярких картин окружающего мира и, более того, некоторых захватывающих прорывов подлинного мистического созерцания.

Остановимся здесь на некоторых главных направлениях его поэтического творчества, особенно его лирики и его эпических баллад.

Поэзия А. Толстого глубоко *мажорна*. Это он сам неоднократно утверждал<sup>4</sup>. Он исполнен порыва и вместе с тем он захвачен окружающей его красотой

"Звонче жаворонка пенье Ярче вешние цветы" ... Его душа звучит "как натянутые струны Между небом и землей".

Он не пассивно только воспринимает мир, его манит, его зовет простор окружающих степей, он хочет в него окунуться:

"Край ты мой, родимый край Конский бег на воле В небе крик орлиных стай

Волчий голос в поле!"

Его душа созвучна окружающей его огромной жизни природы — родной природы, прежде всего, в первую очередь Украине, его Черниговской губернии:

"Шумя тростник над озером трепещет И чист и тих и ясен свод небес

<sup>4.</sup> Так в письме к Маркевичу (от 5 Мая 1869 г.) он пишет: "Когда я смотрю на себя безстрастно... я думаю, что я могу признать для себя мажорный тон моей поэзии, которая этим и выделяется на общем минорном тоне наших русских поэтов, исключая Пушкина, т.к. он решительно "мажорен". А в письме к своему итальянскому другу проф. А. де Тубернатио, за два года до смерти, он пишет между прочим об увлечении своем охотой, "которое осталось не без влияния на колорит моих стихотворений. Мне кажется, что ему я обязан тем, что почти все они написаны в мажорном тоне".

Косарь поет, коса звенит и блешет, Над озером стоит кудрявый лес И к облакам, клубяся над водою, Бежит дымок синеющей струею

Вот этот пейзаж: частью водяной, частью — лесной и луговой — его особенно привлекает! Речка (его любимый Красный Рог) вытекает извилисто из леса прежде чем затеряться в луговых лощинах; с обеих сторон она окружена высокими стенами болотных и приречных трав и цветов. Над ними реют звуки богатырских гуслей из лодки Алеши Поповича, скользяшей по извилистой речке

Их услыша присмирели Пташек резвые четы На тростник стрекозы сели Преклонилися цветы...."

Как часто сам Алексей Толстой — и мальчиком и юношей и взрослым человеком — скользил в лодке по этому Красному Рогу, любовался его тихими берегами. И как стихийно-радостно, в унисон силе ранней весны, растет и ширится в его сердце неумирающее чувство охватившей его раз навсегда любви.

"И плакал я перед тобою На лик твой глядя милый — То было раннею весной В тени берез то было..."

Как часто эта острая струя весеннего восторга или мирного летнего торжествующего цветения врывается в эпико-драматическую ткань его баллад — иногда в контрасте с их содержанием или как успокаивающе-мирный фон.

Молодой Канут едет на верную смерть, предательски подготовленную, не зная о том, по сияющему весеннему лесу:

"Въезжают они во трепешущий бор, Весь полный весеннего крика; Гремит соловьиный в шиповнике хор Звездится в траве земляника. Черемухи ветви душистыя гнут Вот дикие яблони в цвете, Их запах вдыхаючи мыслит Канут:

"Жить любо на Божием свете!"

А вот Владимир с молодой женой в большой золоченой княжеской лодке, окруженный дружиной, возвращается вверх по Днепру из победоносного Корсунского похода. Все цветет и поет. Так и в сердце князя Владимира.

"Все звонкое птаство летает кругом, Ликуючи в тысячу глоток, А князь многодумным поникнул челом, Свершился в могучей душе перелом — И взор его мирен и кроток".

Красота пронизывает мир, врывается в нашу жизнь. Ее отголоски окружают нас. Они говорят нам опять и опять почти красноречивей чем стихами о том же — в мимолетных записях Толстого, в интимных его письмах. Особенно там, где он пишет о весенней охоте в лесу — поздней ночью или рано на сплошной Это какой-то праздник, пробуждается, все поет журавли, утки, черные дрозды, соловьи участвуют в общей симфонии. 15 апреля 1869 г. он пишет: — "Если Вы найдете в этих стихах что-то весеннее, если Вы в них почувствуете запах анемонов и молодых березок, как я чувствую их, — так это потому, что они были написаны под впечатлением молодой природы, во время, да и после моих поездок в лес, весь наполненный криком журавлей, пением дроздов, цаплей, кукушек и мелких болотных птиц. И теперь в час ночи всегда сажусь на лошадь и еду верст за десять ждать у горящего костра восходящую зарю, чтобы стрелять великолепных глухарей. Третьего дня я взял с собою мою жену, она была так восхищена всем, что видела и слышала, что ей жаль было уезжать. Луна стояла полная, и прежде чем заря занялась, лес запел! — Цапли, дикие утки и особенный сорт маленьких бекас проснулись и начался весь их гармонический галдеж".

И опять через неделю: — "В эту минуту, как я Вам пишу — уже без четверти четыре часа утра. Сад полон соловьями, кукушками, лягушками, которых я очень любю... Господи, какая красота весна! Неужто на том свете будет еще лучше чем здесь весной. Но за красоту нужно бороться. Она манит нас, но так просто не дается нам в руки. Мы призваны к тому же бороться за нее, бороться за ее права в мире и жизни.

Она манит и зовет нас, куда? Туда, где откроется нам, бессмертной и неугасающей, откроется нам в полноте.

"О не грусти, земное минет горе Пожди еще! Неволя недолга. В одну любовь мы все сольемся вскоре..."

3

Не только красота, но отчий дом, семья, родина, связанность узами взаимной любви, чувство *созвучия* друг с другом — пронизанность единой великой охватывающей любовью.

Чувство родины очень сильно у А.К. Толстого. Связанность не только с родным Черниговским краем, не только с Украиной, но и с русскими просторами вообще. И с русским народом — через кровь, наследственность, семью, быт, красоту, но и трагедии и борьбу прошлого и через призвание служить там, где ты поставлен. Это чувство моральной ответственности, призвания служить, посвящения себя, отдания себя для великого общего целого, которого являешься частью, вот это чувство моральной связанности со своим народом — которое само по себе еще не является последней инстанцией, а само подчинено Правде Божией — пронизывает и личность и творческое служение Алексея Толстого. Его служение Красоте также неразрывно связано и с этой все снова и снова переживаемой красотой просторов его родины.

"Ты знаешь край, где утром в воскресенье, Когда росой подсолнечник блестит Так звонко льется жаворонка пенье Стада блеят, а колокол гудит, И в Божий храм, увенчаны цветами Идут казачки пестрыми толпами".

Прошлое и настоящие сливаются в одно, целое — в одну любовь, в одно чувство глубочайшей связанности служения. Ибо и народ — и народы призваны служить Правде. И этих смелых и верных служителей Правде, отдающих свою жизнь за осуществление — хоть частичной, хоть малой, по мере своих сил, — правды — рисует нам Толстой среди образов прошлого: в Василии Шибанове и в князе Михайле Репнине, отчасти и в князе

Иване Петровиче Шуйском и в образе Ильи Муромца. Но он не только историк-археолог, он тесно связан с настоящим, он знает, что на него самого, как на поэта, возложено призвание свободного голоса. свободного нравственного служения России. Он ощущает народ как великое органическое один с другими связан органическими узами и преемственности и крови и нравственной ответственности и служения. Он всем сердцем своим сочувствует реформам Царя Освободителя, благодаря личной близости с Александром II, он старается влиять на него сколько возможно — именно тем, что, незаметно от других, в личном общении говорит ему правду. В своих интимных записях он иногда говорит об этом с величайрадостью и удовлетворением (но величайшей и с дискретностью и сдержанностью)5.

"Двух станов не боец, но только гость случайный, За правду я бы рад поднять мой добрый меч, Но спор с обоими — досель мой жребий тайный, И к клятве ни один не мог меня привлечь. Союза полного не будет между нами — Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя Пристрастной ревности друзей не в силах снесть Я знамени врага отстаивал бы честь!"

Это стихотворение чрезвычайно характерно для Алексея Толстого. Он не "правый" и не "левый" в обычном смысле слова. С правыми его сближает уважение к духовным реальностям освящающим жизнь (не со всеми, конечно, "правыми"), к ценностям религиозно-нравственной традиции, являющимся основой для нормальной жизни человечества, в частности и для жизни родного народа. С подлинно либеральными деятелями сближает его жажда справедливости, терпимости, гуманности и отвращение к духу рабства и пресмыкательства, глубокое уважение к свободе совести и личности человека. Почему оба эти направления не могут слиться в едином служении Правде и Добру, независимо от партий в духе истинной свободы,

<sup>5.</sup> См. особенно два очень интересных места в письмах к будущей его жене от 6-го окт. 1856 г. (изд. Маркса 1908 г.) и 16 янв. 1858 г. В советском издании 1964 г. оба эти места выпущены.

терпимости и уважения к достоинству человека? Разве такая свобода, уважающая прежде всего личность, права личности каждаго человека и его истинную духовную свободу, не может нашем общественно-политическом критерием В служении Правде и родному народу? Поэтому так привлекает напр. в английской истории образ лорда Халифакса, крупного английскаго политическаго — именно морально-политическаго — деятеля конца 17-го века, вдохновленного идеей истинной внепартийной и надпартийной справедливости. Но по этой самой причине, сочувствуя великим реформам Александра 11-го и духу истинной гуманности, их проникающиму, он так строго осуждает мелких и крупных деспотов-бюрократов, столько вреда приносивших России. Но еще более того — он всеми силами своей души возстает против стремления к бессмысленно-жестокому разрушению всего существующего, всех человеческих моральных устоев жизни во имя жестокого разгула Хаоса, возведенного в принцип. Характерно в этом отношении его замечательное письмо к проф. М.М. Стасюлевичу, редактору высоко-культурного гуманно-либеральноого И "Вестника Европы" / в котором А. Толстой ревностно участвовал, как, впрочем, одновременно и в более правом "Русском Вестнике" Каткова.

Алексей Толстой исполнен ужаса и глубокого нравственного возмущения перед надвигающимся красным разливом, беззаконно присвоившим высокое имя свободы. Ибо не свободу приносят эти сторонники мировой и всечеловеческой моральной и психологической — революции, а рабство, с уничтожением моральной свободной личности человека ответственной перед собой и перед Высшей Правдой. Это движение — так говорит нам Толстой и в этом видит основное вдохновение нигилизма — отрицает ту высшую Реальность из которой мы живем.

Против "Потока-Богатыря" поднялся страшный крик со стороны ультра-радикальных кругов, как и не в меньшей мере против его баллады "Пантелей Целитель".

"А еще, Государь Чего не было встарь. И такие меж нас попадаются, Что лечением всяким гнущаются. Они звона не терпят гуслярнаго, Подавай им товара базарного! Все, чего им не взвесить, не смеряти Все, кричат они, надо похерити; Только то говорят, и действительно Что для нашего тела чувствительно"

Но особенно страшны и нравственно возмущают Толстого приемы деспотизма и насилия, с которыми производится эта проповедь мнимаго освобождения. Об этих приемах подавления свободы критики, свободы возражения, свободы другого мнения, при которых протекает эта фанатически-изуверская проповедь нигилизма, Толстой пишет в одном своем замечательном письме, к своему другу, культурному и гуманному редактору "Вестник Европы" проф. М. М. Стасюлевичу. Стасюлевич уговаривал его не волноваться по поводу нигилизма, в виду моральной ничтожности последнего и не тратить времени и сил на полемику с ним. "У нашего нигилизма адвокатов довольно и сам он пишет себе панегирики на все лады и противников своих бьет на все корки. Отчего же "большому таланту" (низкий Вам поклон), который считает его вредным, не указать на его смешные стороны? Разве потому, что он слишком ничтожен, слишком забит администрацией, слишком робок. чтобы самому поднимать голос и что лежачего не бьют?... Позвольте мне в этом случае взять сторону нигилизма и защитить его от Вашего пренебрежения. Он вовсе не "дрянность, он — глубокая язва. Отрицание религии, семейства, государства, собственности, искусства — это не только "нечистота", это чума, по крайней мере по моему убеждению. Он вовсе не забит и не робок, он торжествует в значительной части молодого поколения, а неверные, часто несправедливые, а принимала возмутительные меры которые против администрация, нисколько не уменьшают уродливости и вреда его учения..." — "Заметьте еще, что ни Вы, ни кто другой, меня не упрекает за то что в том же "Потоке" я выставил со смешной стороны раболепство перед Царем в Московский период. В других стихотворениях я писал сатиры на пьянство, на спесь, на

взяточничество, на эгоизм и пр. и никому не приходило в голову этим возмущаться. Все это позволено, но нигилизма не смей касаться! Noti Tangere! Что это за святыня? Что это за особенная привилегия такого учения, которого первый догмат — отмена всех привилегий? Нигилизм будет отрицать все на свете, его самого никто не смеет отрицать!" Здесь Толстой ярко отметил деспотизм и порабощение духа, как глубочайшую основу нигилистического движения.

А. Толстой не мог молчать, он считал себя призванным на борьбу за свободу духа. Но Толстой вдохновлен не злобой и распрей, не желанием высмеять, даже не благородной борьбой как таковой (хотя ему дорог идеал самоотверженного, морального и духовного рыцарства), его влечет то, что выше борьбы. То, чему мы все призваны служить — Вечная Правда. Она должна — по Толстому — служить мерилом нашей повседневной политической и общественной жизни.

Поэтому его и в политической жизни привлекает и вдохновляет надпартийность, признание решающего значения Высшей Правды, которая не может быть отождествлена с однобокой "партийной программой": Поэтому-то он и — "двух станов не боец, а только гость случайный".

Он зовет не к ненависти, а к духовной борьбе со злом, и цель этой борьбы — моральная победа над Злом и привлечение к участию в едином нас охватывающем потоке жизни ("против течения"). Так и в другом его стихотворении, одном из тех, что дают нам ключ к его вдохновению, звучит то же основное упование его жизни:

"Но не грусти. Земное минет горе,

Пожди еще, неволя недолга.

В одну любовь мы все сольемся вскоре

В одну любовь широкую как море

Что не вместят земные берега."

Толстой верит, что люди живут из встречи с Высшим и питаются этой встречей. Но его подход не только "платоновский": по лествице земной красоты, т.е. красоты разлитой в мире, восходить духом до Высшей Реальности, до Океана Красоты первоначальной, как Платон это рисует в своих диалогах "Пир" и "Федр". Но был и динамический, более того —

решающий и *исторический прорыв* Божественной Реальности в мир — в безмерной любви отдающей себя за мир, безмерно снисходящего к нам в своем величии и смирении — Богочеловека. Ему, этому безмерно снисходящему в своем смирении и жертвенной, любви Богочеловеку посвящает себя и все силы свои и всю душу свою герой поэмы Толстого Иоанн Дамаскин в этом, пожалуй, центральном месте поэмы:

"Зачем я не могу нести
О мой Господь, Твои Оковы,
Твоим страданием страдать
И крест на плечи Твой приять
И на главу венец терновый?....
Тебе хочу я все мышленья
Тебе всех песен благодать
И думы дня и ночи бденье
И сердца каждое биенье
И душу всю мою отдать"

Это — лирический подъем и мистическое, молитвенное созерцание Воплощенного Слова и отдание себя Ему в любви.

Николай Арсеньев

### ЛЕТЕТЮ

А завтра я пока На крылышках тю-тю Ку-ку да под бока На небо лететю

Не то чтобы туда Но тут недалеко Пока мое тогда Поет твое легко

Покуда милый ах Зачем его спроси Зачем — не поняла Не надо — не проси

Не надо — так пока Я перышком тю-тю Кукаре — рекука По небу лететю

А. Волохонский, 1975

## ПРОФИЛЬ ШАРШУНА

24 ноября 1975 г. в Париже, 87 лет от роду, скончался Сергей Иванович Шаршун, русский художник эмигрант, завоевавгий себе международное признание. Но это признание (а с ним и сотни тысяч долларов!) пришло к С. И. под самый конец его долгой жизни, которую он прожил, как аскет, в вечной нужде, отдав себя всецело искусству. Мы с удовольствием печатаем статью проф. Ренэ Герра о С. И., с которым Герра долго дружил. РЕД.

Сергей Иванович Шаршун родился 4-го августа 1888 года между Волгой и Уралом, в Бугуруслане. Кто-то сказал — "это не со всяким случается". Замечание было довольно плоско, но его подхватили парижские зубоскалы из богемы.

Шаршун был "Ди-Пи", но он был не столько "перемещенное лицо", сколько "перемещенный художник". Творчество Шаршуна возникло из палитр всех значительных европейских школ и является действительно творчеством эмигранта. Свое добровольное эмигрантство Шаршун утверждает в живописи, хотя ненадолго он обращался и к музыке, и к поэзии, о чем мы можем судить по нескольким удивительным образцам для "Нарру Few".

С. И. Шаршун приехал в Париж в 1912 году, чтобы посвятить себя живописи. И с той поры жребий был брошен, мосты сожжены. Здесь он обосновывается, чтобы лучше устремиться к всегда новым горизонтам поисков подлинной авангардной живописи. В Париже, столице мировой живописи, слава которой пленяла в России стольких молодых художников картинами импрессионистов, "фовистов", кубистов, привозимыми богатыми знаменитыми меценатами, Морозовым и Щукиным, Шаршун, сам купеческий сын и плохой ученик Симбир-

ского коммерческого училища, поступает в Русскую Свободную Академию на авеню дю Мэн, потом в академию кубистов "Ла Палетт", где преподавали Метсенже, Дю Ноайе де Сегонзак и Ле Фоконье. В особенности повлиял на Шаршуна Ле Фоконье до последних дней своих он вспоминал о нем с благодарным восхишением.

Свои кубистические вещи Шаршун выставляет в Салоне Независимых в 1913 г. Но чувствуя себя еще очень близким к Ле Фоконье, создателю, по выражению Аполлинера, "физического кубизма", он в то же время загипнотизирован Делакруа, которого открыл для себя в Луврском музее.

Гораздо позже, в 1959 году, в одном из выпусков своего журнала-листовки (своего рода "Самиздата", коего Шаршун с полувековым опережением является изобретателем и который, под разными названиями выходил сначала в Берлине, а потом в Париже) он пишет: "Берлиоз и Делакруа идут в ногу" (Клапан № 3). Постоянство и глубина противоположных, на первый взгляд, влияний очевидны, но противоположность эта на деле соответствует скрытым возможностям сложной натуры Шаршуна, что ему самому открывается лишь впоследствии, после многих встреч. Не написал ли Шаршун: "Я примитивный человек, наделенный сложным характером" (Шепотные афоризмы, Париж, 1969). В основе творческого процесса Шаршуна всегда таится эмоция, стимулирующее действие которой, немедленное или задержанное, всегда выходит за пределы вызвавшей ее причины. В № 3 его журнала-листовки (Клапана) Шаршун говорит о себе: "Я не рассудочен, а впечатлителен".

Думаю, что из этого можно сделать выводы не только о его образе мыслей, но и о характере его эволюции в живописи на протяжении шестидесяти лет творчества.

До встречи с кубизмом и главнейшими проявлениями во Франции абстрактного искусства, Шаршун уже творил абстрактное, сам того не сознавая. Не удивляешься его строкам: "Что касается современной живописи, Париж не был для меня откровением зато Лувр меня восхитил".

Кроме открытия им "экспрессионизма Делакруа" он отыскивает в великих полотнах французского искусства, необходимый противовес его хаотической русской натуре,

которую старается преодолеть в своем творчестве, но которая продолжает его глубинно питать, как подземная вода.

Так, когда он поехал в Испанию, в Барселоне, для него главным оказались не первые контакты с дадаистами, а открытие испано-мавританского искусства. В его автобиографии, опубликованной Мишелем Сефором в 1949 году, он пишет: "Крашеные фаянсовые квадраты изменили мою живописную концепцию дав волю моей исконной славянской натуре — мои картины стали красочными и орнаментальными".

Этим все сказано: Шаршун нашел как разрешить противоречия своих стремлений. Отныне он станет "орнаментальным художником", подтверждая свою исконную русскость, которую он заставляет приспособиться к требованиям западной точности, в особенности французской. О необходимости этого рода поручней Шаршун говорил не раз, и в отношении их он высказывался, как о причине своего долголетия, восторжествовавшего над заблуждениями, которые он предвидел и которых боялся, над заблуждениями грозившими разбить самое его существо, — в такой степени в нем сливались художник и человек. В Барселоне он работает над двумя цветными фильмами: "Гитара" — навеянным цыганской песней и другим — кто этому удивится? — вдохновленным русской темой.

В 1916 году в галерее "Дальмау" Шаршун выставляет вместе со своей тогдашней подругой Еленой Грюнфорд свои пост-кубистические работы. Потом, в 1917 году — один — в той же галерее, которую особенно посещали дадаисты во главе с Артюром Краваном и Пикабиа, которого Шаршун тогда только видел, но секретаря которого Максимилиана Гетье узнал ближе.

В 1919 году Шаршун сделал свою собственную выставку в книжной лавке Андрэ Форни, куда был рекомендован Пикабиа, с которым он к тому времени ближе познакомился благодаря Тристану Цара. Но присоединение к движению дадаистов формально Шаршуна не связывает. Он выставляет одновременно в 1921 году в Салоне Независимых и параллельном салоне дадаистов в галерее Монтэнь, совместно с Арпом, Эрнстом, Ман-Рэ и Цара. В сущности дадаизм его уводит на десять лет назад, в Россию, покинутую им за 5 лет до революции.

В 1921 году с помощью Филиппа Супо Шаршун издает поэму на французском языке под названием "Неподвижная толпа", ям самим иллюстрированную. В ней за дадаистической найти изобразительностью можно влияние мозарабских арабесков, которых сложная узорчатость, как мы видели, открыла ему свои изгибы и извивы и внушила ему непоборимый, инстинктивный возврат к русским источникам. Неудивительно, стало быть, обнаружить рядом с его именем надпись "Русское Солнце", которую он вывел жирными печатными буквами под "Глазом Какодилат" своих дадаистических друзей, собранных в этом коллективном произведении, над которым священнодействовал Пикабиа.

В Берлин Шаршун едет не только для того, чтобы участвовать в дадаистическом движении, хотя он издает тогда по-русски свой журнал-листовку "Перевоз Дада" и небольшую брошюрку о дадаизме, но для того, чтобы вернуться в свою родную страну — Россию. Но этот "порыв" исчез от рассказов Айседоры Дункан и нескольких друзей, вернувшихся из России и поделившихся с ним впечатлениями о советской действительности. При невозможности вернуться в Россию, Шаршун нашел в Берлине Россию зарубежную: здесь он встретил художников: И. Пуни, Е. Лисицкого, М. Андреенко и поэтов — Пастернака, Белого, Маяковского. Теперь ему стало ясно, что Россия в нем самом, та Россия "отсутствующая и присутствующая", как выразился Владимир Вейдле, и которую он вновь охватывает своим творчеством. Гораздо позже Шаршун скажет с чистосердечностью — "Один из русских национальных художников будет и мой однофамилец" (Свечечка № 2, 15-5-1973).

В Берлине Шаршун участвует в выставке "Дер Штурм" 1922 года. Кроме двух частных выставок в 1922 и 1923 гг. сначала в той же галерее, потом в книжном магазине "Заря", он принимает участие в большой русской выставке, устроенной в 1922 году галереей Ван Дьемен. Отметим кстати, что в 1922 и 1924 гг. он сотрудничает в журналах "391", "Манометр", "Мерц" и "Мекано", совместно с Швиттерсом, Лисицким, Цара, Малеспином и Арпом.

После 14 месяцев, проведенных в Германии, он отказывается от мысли вернуться в Россию и возвращается в Париж. Здесь он

принимает участие в юбилейной выставке Независимых русской Монпарнасской налаживает связь С богемой. особенности с русскими последователями доктора Рудольфа признает скольким Он охотно ОН антропософии, которая, как он говорил, его сформировала и печать которой носит всё его литературное и живописное творчество. Шаршун любил говорить, что он беспрерывно умирает и возрождается в своем творческом процессе и что в час творения он весь вливается в то что творит.

Благодаря сочувствию критиков Андрэ Сальмона и Вальдемара Жоржа он выставляет в декабре 1926 года в галерее Жанны Буше все еще под знаком "орнаментального кубизма" и продает большую часть своих полотен просвещенным любителям просвещенным оттого, что они почти все сами художники.

К времени через Надю Ходасевич-Леже Озанфан, "пуризм" которого его притягивает. Написанные за этот короткий период удостоились чести быть представленными Озанфаном на частной выставке в 1927 году в галерее Обре. Тогда же Озанфан сказал Шаршуну: "у вас есть благородство". Однако от "пуризма" Шаршун очень скоро отходит, не без некоторых, впрочем, В его "эластических пейзажах" можно отражение дадаистического периода. Как бы там ни было в его "абстрактных" полотнах ОН остается орнаментальным художником, каким он был, когда тяжкий экономический кризис 1929 года обрывает его работу поставившую его на его настоящий путь.

Начались трудные времена. Лишенный всяких средств и, в особенности возможности писать, он познает тяжкую нужду. Перед тем, как оказаться вынужденным бросить кисти и взяться за литературу, чтобы скрыть от себя отчаяние, у него явилось желание возобновить пейзажную живопись с натуры, как бы для того чтобы "вновь родиться". Но силой обстоятельств это возрождение оказалось трудным. Не располагая средствами для покупки полотна и красок, он ограничивается рисованием полу-абстрактных пейзажей небольших размеров: "домов-деревьев" или

натюр морт, что есть не что иное, как размышления по поводу предметов обихода, духовное возвышение которых передается легкими тонами — белым по белому, бежевым по бежевому. Кружки, кувшины, графины, компотницы, трубки, бутылки, немного фруктов — легко понять почему — яйца, ложки, вот привилегированные предметы этого призрачного мира, в одинокой комнате артиста.

За эти годы литературная работа Шаршуна опережает живописную и создает еще более тесную связь с "зарубежной Россией", коей Париж стал столицей. Он неизменный гость всех литературных вечеров "Зеленой Лампы", организованных Мережковскими, и "Кочевья" Марка Слонима. Он активно сотрудничает в "Числах", вплоть до их закрытия в 1934 году. Между тем Шаршун в эти годы более чем когда-либо одостоевщенный двойник героя своей поэмы в прозе "Долголиков", написанной между 1918 и 1934 гг. Поэма эта — история одиночества, принявшего в этом случае мимолетную форму девушки, сидящей на скамейке, как это изображено на картине "маленькая читательница", 1938-1939. Невольно вспоминается "растворенная девушка Новалиса" — туманный женский образ, водяных сновидений, где, в "Генрих фон из Офтердинг", молодой человек в них опускается и они смыкаются на его груди. Шаршун, жизнь которого сон, не говорит ли он всякому, кто хочет слушать: "я не могу жить не видя воды". Патрик Вальберг, искусствовед, который, может быть, лучше всего понял Шаршуна, недаром озаглавил свою статью, предпосланную выставке в Национальном Музее Современного Искусства в мае-июне 1971 года "Гидра пресной воды". Но, как сказано у Маллармэ: "давайте поможем Гидре освободиться от тумана", и перейдем к литературному творчеству Шаршуна, в высшей степени показательному именно в этом смысле.

С первой же страницы сборника "Неприятные рассказы" (1964) можно прочесть: "Часто он оказывался в Булонском Лесу, на берегу Сены, потому что не представлял себе пейзаж без воды..." Другое выражение этой основной потребности можно найти в его рассказе "Роздых", подзаголовок которого вполне ясно отсылает к солипсизму, философии, особенно удовлетворявшей Шаршуна в той мере, в которой он находил

подтверждение своей склонности быть в центре мира чувств, который он воспринимает как сон: "всем видам местности он предпочитал водные..." Можно сколько угодно найти других такого же рода цитат. У него — серии полотен, в которых тема воды сама по себе приходит на ум и никто не удивится, что Шаршун, между 1948 и 1950 гг. возобновит на своих полотнах единственный сюжет своих духовных поисков, проходящих через всю его жизнь от Волги до Сены, по которой он любил спускаться до устья, по примеру своего героя Долголикова. Его прогулки вдохновенные вдоль рек и дали возможность набросать полуфигуративные и в его манере абстрактные баржи, с бегущей за ними волной, в которых всякая форма исчезает, растворясь в поэтической, бесконечно нежной струе.

Море, которое он открывает в 1948 году, вдохновляет его на более красочные композиции, словно напор текучего величия разбудил в нем затаенное желание чисто славянской пестроты, в духе той ряби, которой его детские глаза были переполнены в отеческой лавке, где распаковка материй, в дни ярмарок, вызывала разгул красок.

Этот период, — вынужденно краткий, — не представляет перерыва тем, В творчестве Шаршуна. между Превосходство орнаментализма все еще продолжает сказываться, но арабески, завитки и спирали на этих полотнах перемешаны с некоторым буйством красок, с которым Шаршун очень скоро справляется. После серии Венешии, более спокойное расположение и очень обработанная монохромия полотен, более абстрактных, возвращают нас настоящим Шаршуновским водам, тихим и легкотекущим, небесным в их сущности и в их отражениях.

Эта вездесущая вода, — изначальная стихия, — о которой подсознание человека хранит таинственную память, питающая землю как молоко, покрывает, у Шаршуна, по большей части все поверхностные формы и элементарные краски мира чувств молочной белизной, в соответствии с процессом, который он часто описывал, и который в особенности начиная с 1952 года, осуществляется в нескольких примерах, от очень красочного до тончайшей монохромии, что достигнуто трудом "ремесленника

сто раз кладущего снова на станок свое творение", в активном ожидании Благодати. Его живопись в одно и то же время кропотлива и мистична, и если в конце концов, остается только Радость, нельзя забывать и то, что художник трудился.

С 1954 года и до июня 1971 Шаршуна вдохновляют великие музыканты: Бетховен, который по словам его стал дирижером", Бах, немецкие романтики, Мусоргский, ковский и Стравинский. Великая музыка заканчивает его восхождение над сюжетами, которые он развил раньше чем достигнуть той "орнаментальной абстракции", до которой он дошел через пуризм. В "Ситэ Фальгьер", как в Ванве, он располагает на своих полотнах звуковые волны небольшого транзистора, являющегося единственной роскошью его ателье, почти аскетического в своем анахронизме, который можно было бы предположить умышленным, если бы долгая привычка к лишениям не сделала бы из Шаршуна существо мифическое, выше — и насколько! — всякого подозрения. "Куда не повернешься, наталкиваешься на самого себя" (Клапан № 8 1962).

"Музыка течет слева направо как читают книгу или как река, когда смотришь с правого берега". Таким образом оказывается невозможным отличить два источника вдохновения, там где, налицо, в душе артиста только один и тот же феномен: вода и музыка. Речь идет о все том же экзистенциалистическом опыте, о том же сновидческом переносе живых сил его природы "теллюрически" русской. Березовые леса, белые ветки которых бороздят необъятное облачное небо его родной страны, реки, в которых они отражаются и где, во время бесконечных купаний можно забыться, купаний, которые он, — ребенком, — так безудержно любил, так же как и народная музыка, оглашавшая берега, — все это, в лирической памяти эмигранта, одно с идеальный соединяется И сливается В невозвратимая утрата которого побуждает к поискам эквивалентов, никогда полностью не удовлетворяющих по той самой причине, что утрата основного единства не может быть заменена кропотливым и частичным восстановлением в беспрерывно возобновляемом двухмерном орнаментальном мире, лишь в "экстазе искусства" создающем иллюзию, — другими словами,

подменяя в хитросплетениях мысли основное орнаментальным, основное, которое можно лищь стремиться выразить но не реализовать.

Шаршун "отверженный", "неизвестный", "одинокий", достигший наконец вершины почестей в его большой Ретроспективной Выставке в Музее Современного Искусства в Париже в мае-июне 1971 года не побоялся поставить все, что он сделал за больше чем двадцать лет, предприняв, после этой триумфальной выставки, почти в девяносто лет путешествие на край света — на Галапагос. И вернулся с Галапагоса с тем чтобы возродиться к новой живописи. В нем, как когда-то сказал Адамович, "уцелел и русский сектант-подвижник из Заволжских степей, готовый за свою веру взойти на костер..."

В 87 лет Шаршун не прекращал подавать свой голос, который до странности напоминал "мягкий, анархический, бодлеровский, не имеющий ничего общего с сутолкой жизни, безвозвратно погибший, близкий к гениальности, к безумию, братский, беззастенчивый голос" его героя Долголикова.

Ренэ Герра, Париж

# Письма Андрея Белого к А. С. Петровскому и Е. Н. Кезельман.

### ПУБЛИКАЦИЯ РОДЖЕРА КИЙЗА

Андрей Белый, в последнее десятилетие своей жизни в СССР, казался довольно смутной фигурой. Хотя факты его литературной биографии нам известны, мы знаем сравнительно мало о его личной жизни в Советском Союзе. Однако, советские архивы богаты неопубликованными материалами, образом эпистолярного характера, позволяющими представить себе условия жизни его последних лет и, хоть в некоторой степени, проникнуть в душевное состояние писателя. Как станет видно из писем, здесь воспроизводимых, судьба не очень улыбалась ему и его близким; постоянные заботы о деньгах, о "жилплощади", об опубликовании его литературных произведений чередовались с ухудшением здоровья и с беспокойством о благополучии его родных. Тем не менее, в двух последних письмах Белого к свояченице. Е. Н. Кезельман, не раскрывается личность, сломленная временем: представляется нам хоть и "идущим к концу человеком", 2 но зато почти преображенным внутренней силой духа и сознанием своей неразрывной связи с родными и с друзьями.

Главным действующим лицом ниже приводимых писем, за исключением самого Белого, является его вторая жена, Клавдия Николаевна Бугаева (урожд. Алексеева; по первому браку — Васильева). Родившись в 1886 г., она пережила своего мужа на тридцать шесть лет, скончившись в 1970 г. после длительной болезни. В письме к своему другу, Р. В. Иванову-Разумнику, от 23-го октября 1927 г., Белый с любовью вспоминает первые встречи с К. Н.: 3 "А знаете, где мы впервые, не зная друг друга,

Прим. ред. "Письма А. Белого к Е. Кезельман" будут напечатаны в кн. 123 "Н.Ж".

встретились? Да... в приемной у доктора (Рудольфа Штейнера) под Базелем, в 1912 году; мы с Асей (Тургеневой) приехали на свидание, входим в приемную; там сидела лишь нами незнаемая Клавдия Николаевна; я ее, как сейчас, помню: она ужасно поправилась; и я подумал: какое милое, родное лицо; (...) но она — скрылась бесследно". Потом она случайно мелькнула в Гельсингфорсе в 1913 г., пишет Белый, на курсе Штейнера, а впоследствии, когда он сам вернулся из Дорнаха в Россию летом 1916 г., это она первая приветствовала его в московском помещении Антропософского Общества, где служила библиотекаршей (его друг, А. С. Петровский, организовывал антропософскую библиотеку в то время). "Я постоянно забегал к Алеше; и — постоянно с нею встречался". "Она — первая меня поняла в моей антропософии, (...) перед Рождеством 1918 года мне стало так одиноко, что я, бросив все в Москве, уехал в Дедово", где Белый получил "письмо — от К. Н.. Она *одна* из всех Москвичей, с невероятной чуткостью поняла, в какой мрак я ушел (я в те дни уже решил ехать заграницу); и она нашла слова; (...) И я — вернулся в Москву с решением; мне быть в России".

Клавдия Николаевна снова повлияла на судьбу Белого несколько лет спустя, когда последний был в Берлине в глубоком отчаянии, брошенный своей первой женой, Асей Тургеневой разочарованный в общей тенденции западного Антропософского Общества и даже в своем учителе, Рудольфе Штейнере: "жена' меня бросила, 'учитель' повернул от былого 'дома', 'дом" — 'сгорел'; запад — 'прогорел'; около меня выросла — Москва: К. Н.; а когда она стала собираться из Берлина, я за ней рванулся". В другом месте Белый пишет о том же периоде: "Если бы не дружеская, ласковая, антропософская поддержка из Москвы, в лице К. Н. Васильевой, приехавшей в Берлин в 1923 году, и разделившей мои истинные думы, мне не вернуться бы... даже к антропософии: (...) увидев Антропософию человеческом, сердечном порыве, сказал Антропософия...все же...есть".5

Хотя Русское Антропософское Общество (Р. А. О.) было основано до первой мировой войны, сам Белый принимал участие в его деятельности только с сентября 1916 г. Среди членов Общества в это время были и Клавдия Николаевна с

своей сестрой, Еленой Кезельман, и Алексей Петровский, "вечный путник" Белого "по жизни". Впоследствии Белый определил значение для себя тогдашнего антропософского дела следующим образом: "Слишком мало отдаваясь работе внутри московской группы антропософов, я скоро стал к ней тянуться всею силой души; она стала родною мне; я видел внутри этой группы и жизнь, и брожение моральной фантазии, и серьезность дум, и правдивость устремлений; были и дефекты в 'обшественной' жизни (...); и тем не менее: было радостно себя чувствовать в группе честных, здоровых, все же максимально непредвзятых людей". По его мнению, московская группа выявляла самое важное в антропософском движении: "С Москвою меня роднил 'живой' Дорнах, в котором я мыслил себе дом; в Дорнахе же было и много мертвечины; но Москва сумела элиминировать 'мертвый' Дорнах". В

Даже после октябрьской революции группа антропософов в Москве процветала. Белый всегда подчеркивал, что антропософы должны положительно относиться к новым общественным формам, образующимся в стране. В 1928 г. он написал об этом: "Так одно время виделся мне в нашей группе возможный орган переориентировки быта антропософии в условиях, подаваемых русской действительностью 1918-1921 годов; и в переориентировке мне виделись условия возможности нового стиля культурной работы в России для подлинного антропософа; задание его — найти себе подлинное активное место в своей стране; я должен сказать, что с этим заданием русские антропософы справлялись и продолжают справляться". 9

За пять лет до этого Р. А. О. было закрыто советской властью из-за "ненаучности" своего подхода в действительности, а вскоре после этого А. С. Петровский был арестован агентами ОГПУ под предлогом своей, якобы, "контрреволюционной" деятельности. Но Андрей Белый не сомневался в том, что истинной причиной инцидента с другом была открытая поддержка последним антропософских идей. Если в 1924 г. отношение властей к антропософскому делу еще не принимало "твердой формы", то в мае 1931 г. — в период, непосредственно предшествующий публикуемым письмам арестовывали бывших антропософов без стеснения. Как замечает Н. Я. Ман-

дельштам в своих *Воспоминаниях*: "Бесследных исчезновений в ту пору еще почти не бывало: люди из ссылки писали; отбыв свой срок, они возвращались и снова уезжали. Андрей Белый (...) говорил, что не успевает посылать телеграммы и писать письма своим друзьям — 'возвращенцам'." "Ведь судьба читателей и друзей была очень горькой: он только и делал, что провожал в ссылки и встречал тех, кто возвращался, отбыв срок. Его самого не трогали, но вокруг вычищали всех". 12

Почему Белый оставался на свободе, нам неизвестно. Может быть, у него был свой ангел-хранитель среди правящих кругов. Как бы то ни было, Белый прилагал все усилия, чтобы помочь своим друзьям, и в отношении Васильевых, по крайней мере, он добился успеха. 2-го июля оба были опять на свободе. В первом письме А. С. Петровскому, приводимом ниже, Белый объясняет, как мучительная проблема их взаимных отношений разрешилась этим чисто внешним кризисом: "мертвая петля, душившая нас троих от невозможности К. Н. развестись с ним (П. Н. Васильевым) и стать моей женой, сама собой развязалась". 18-го июля Васильевы окончательно развелись и в тот же день Белый женился на Клавдии Нколаевне. Но остальные антропософские друзья были отправлены в ссылку среди них А. С. Петровский (на два года) и Е. Н. Казельман (на три года).

Алексей Сергеевич Петровский (1881-1958) был один из старших друзей Белого; они встретились осенью 1899 г. в Московском университете, когда оба занимались естествознанием. В первые годы столетия Петровский был восторженным членом кружка Белого "Аргонавты", но скоро заинтересовался православием. В результате чего поступил Академию весной 1904 г. В Шестью годами позднее он сообщил Белому, что намеревался поехать в Швейцарию слушать курс именитого теософа, Рудольфа Штейнера. 14 В 1914 г. он работал возле Белого и Аси Тургеневой на строительстве Гетеанума в Дорнахе. Вернувшись в Москву, он принял активное участие в делах Р.А.О. до тех пор, пока власти не закрыли эту организацию. После революции он был музееведом и работал некоторое время в Румянцевском Музее (нынешней Ленинской Библиотеке). По возвращении из ссылки, он стал, повидимому, переводчиком и составил вместе с Клавдией Николаевной

сообщение о "Литературном Наследствие Андрея Белого", опубликованное в 1937 г. 15

В своих воспоминаниях о Белом, написанных во время второй мировой войны, Елена Николаевна Кезельман намечает контуры развития своих отношений с зятем, начиная с периода их первой встречи в 1913 г.16 "Должна сказать, что 'приняла' я Б/ориса/ Н/иколаеви/ча, или он 'завоевал' меня, (...) очень, очень нескоро (...) мне казалось, что он разделял меня с сестрой, и я просто устраивала ей откровенные сцены ревности (...). Постепенно все же под этим разделением начинало брезжить новое, уже не только родственное соединение. И лето в 32-м году окончательно вернуло мне не сестру только по родству и привычке, но сестру-друга. И это — дело Б. Н/иколаеви/ча". Дальше она пишет о бедственном своем положении в жизни, о крахе своего брака, о "внезапном отъезде в провинцию. оторвавшем от всего привычного, близкого, родного". Но ученис Белого о "творчестве жизни" придало ей новые силы. Следуя его примеру, она училась изменять свое отношение к внешним обстоятельствам, вернувшись к жизни, радости, природе и "солнцу любви". Она стала рисовать пейзажи с натуры, и для нее это символизировало что-то вроде духовного возрождения В заключение она пишет: "Зерно, брошенное Б. Н/иколаевич/ем в весьма бесплодную почву, все же проросло. Он обогатил мои только родственные отношения с сестрой, и он же раскрыл мне меня саму, раскрыл неожиданные возможности — пусть весьма робкие и небольшие — но дающие силы жить, любить жизнь".

Письма печатаются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе Ленинградской Государственной Публичной Библиотеки, в архиве А. Белого (ф. 60, ед. хр. 56: письма А. С. Петровскому; ед. хр. 55: письма Е. Н. Кезельман).

Недописанные слова дополнены в квадратных скобках. Неизвестные нам отмечаются звездочкой.

Роджер Кийз

New Univwersity of Ulster N. Ireland

#### ПРИМЕЧАНИЯ.

- 1. См. К. В. Мочульский, Андрей Белый, Париж, 1955, стр. 259-272; Ј. D. Elsworth, Andrey Bely, Letchworth, 1972, стр. 105-120. В 1934-36 гг. вдова Белого, К. Н. Бугаева, написала свои "Воспоминания" о нем (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 106), отрывки из которых публиковались в западных журналах. См. "Андрей Белый на Кавказе" "Новый Журнал", № 103, июнь 1971, стр. 125-36; "Андрей Белый в жизни" "Новый Журнал", № 108, сентябрь 1972, стр. 169-88; "Lc 'Contrepoint' dans l'Ocuvre de Belyj" ("Контрапункт"), "Cahiers du Monde Russe et Sovietique", 15 (Janvier-Juin 1974), 1-2, стр. 105-146. Хотя эти воспоминания очень богаты с точки зрения ее личных впечатлений о муже и об его творчестве, К. Н. Бугаева видимо не хотела дать систематическое описание его последних лет. В этом отношении ряд внутренних позиций Белого и внешних событий в его жизни, заслуживающих внимания, ею или опускаются, или рассматриваются в самых общих чертах.
  - 2. Н. Я. Мандельштам, Воспоминания, Нью Йорк, 1970, стр. 163.
  - 3. ЦГАЛИ, ф. 1782, Иванов-Разумник, оп. 1, ед. хр. 18.
- 4. Имеется в виду Дорнахский "Гетеанум", в постройке которого Белый с Асей Тургеневой принял участие в 1914 г. "Дом" этот сгорел вечером 31-го декабря 1922 г. Цитируется по тому же письму к Р. В. Иванову-Разумнику.
  - 5. "Почему я стал символистом...", отдел 15. См. прим. 27.
- 6. Выражение самого Белого. См. его письмо к Иванову-Разумнику от 1-3го марта 1927 г. [G. Nivat. "Andrej Belyj: Lettre autobiographique a Ivanov-Razumnik". "Cahiers du Monde Russe et Sovietique". 15 (Janvier-Juin 1974), 1-2, стр.71.]
  - 7. Почему я стал символистом, отдел 13.
  - 8. Там же.
  - 9. Там же, отдел 14.
- 10. См. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 8-го декабря 1924 г. (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 15).
  - 11. Воспоминания, стр. 16.
  - 12. Там же, стр. 163.
- 13. В письме к Иванову-Разумнику от 20-го ноября 1915 г., Белый описывает, как фигура Петровского преломилась в действующих лицах его "Драматической Симфонии", написанной в 1901 г.: " в то время он (Петровский) пережил очень мучительный кризис от материализма и скептицизма к "мистическому" сознанию, которое в нем в то время двоилось: и он то становился подозревающим церковником, а то чистым и просветленным мистиком, так как симфония писалясь для 'своих', для интимного круга, то я и выразил педагогическа: свое отношение к двум сторонам моего товарища, изобразив одну, как Поповского, а другую как Петковского; (...)". (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 6)
- 14. См. А. Белый, "Материал к биографии (интимной), предназначенной для изучения только после смерти автора", написанный в 1923 г. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3).
  - 15. В кн. Литературное Наследство, 27-28, Москва, 1937, стр. 575-638.
- 16. Е. Н. Кезельман, "Воспоминания", написанные в 1941-42 гг. (ГПБ, ф. 60, А. Белый, ед. хр. 140).

[Вторая половина декабря, 1931.] [Детское Село.]

Дорогой, милый Алешенька,

Как безмерно обрадовало меня Твое письмо; 2 как много прошло с тех пор, как мы виделись; все, написанное Тобой, читали и перечитывали, стараясь конкретно представить Твою жизнь. Я понимаю Тебя, в том, что Ты отдаешься интересам, которые Тебе подает действительность. Постараюсь достать книги по геологии и петрографии; после Кавказа у меня появился тоже большой интерес к геологии; 3 и если бы было время, обложился бы книгами, да жизнь не позволяет; читаешь то, что имеет касание к работе, как теперь в связи с книгой о Гоголе читаю соответствующую литературу. 4

Милый, какое утешение в том, что есть близкие; хотя мы с Тобой волей судьбы разлучены, однако *чувство нерушимой связи* никогда не переживалось так сильно, как эти месяцы; ведь мы с Тобой даже и не друзья, а братья; вся жизнь прошла вместе. Недавно долго не засыпал: мысленно вставала жизнь; мысленно озирал ее этапы; и во всех этапах ее стоял Ты. Вспомни: уже 33 года прошло с тех пор, как мы познакомились; а уже с 1899 года Ты стал играть большую роль в моей жизни; сколько раз мы оказывались связанными и людьми, и интересами; вспомни 1901, 1903, 1905, 1909, и т. д. Везде мы были вместе.

Часто с "женой" говорим о Тебе; и всякий раз с волнением и нежностью; береги Твое здоровье; единственно, что беспокоит меня, когда думаю о Тебе, это условия климата: тепло ли Тебе? Не нужно ли чего нибудь? Пиши, если что понадобится.

Пишу, что с "женой" говорим о Тебе; как странно, что то, о чем думал года, что казалось неосуществимым, в эти тревожные, темные месяцы разрешилось само собой; и главное так, что те именно, кто могли душевно поранить друг друга, оказались в счастьи друг друга не разбередить; подумай: когда мы с женой вернулись после "загса" домой (а ходили туда в "троем": я, жена и Петр Николаевич), то оказались в положении, вынужденными не говорить об этом событии Анне Алексеевне, которая одна была очень против; в виду ее волнений за дочерей и друзей,

возраста и т.д. пришлось медленно ее готовить к этому; так прошло 2 месяца; и никогда не было меж нами троими (Петром Ник[олаевичем], женой и мной) таких внутренне прекрасных, доверчиво братских отношений, К. Н. еще более почувствовала связь с Петр[ом] Ник[олаевичем], а я впервые мог ему протянуть братски руки.

Так что мертвая петля, душившая нас троих от невозможности К. Н. развестись с ним и стать моей женой, сама собой развязалась; может быть, — такое неожиданно светлое разрешение личных трагедий нас троих оттого, что мы очень настрадались в ряде лет; и уже с 23 года было почти чудовищно, что К. Н., будучи связана со мной всем, должна была числиться его женой. 5

Петр Ник[олаевич] женился; пишет нам, ждет К.Н. в Москву, куда мы с ней поедем в январе, чтобы познакомить ее со своей женой; у него будет ребенок.

Сестра жены живет в Лебедяни; у нее остатки ревматизма; ей не повезло; чувствует одиночество; не повезло с хозяевами; жена поедет ее навестить, когда мы будем в Москве, где проведем около месяца.

Мы неожиданно с весны упрочились в Детском; пока устроились очень сносно у Разумн[ика] Вас[ильевича]. Комнатой очень довольны, но на днях придется переменить ее на более неудобную (у Разумника же); но наше убежище прочно; на днях дом продается, и мы все поступаем к новому хозяину, который по закону не имеет права нас выселить до апреля и обязан нам предоставить жил-площадь; конечно, понятие жил-площади растяжимо; она может оказаться сырой и гнилой дырой; забот предстоит много; мы не знаем, где очутимся: хотелось бы остаться в Детском; и с Разумником, потому что в Летском тихо.

Мы мало кого видим; жена всецело помогает мне в работе, много хлопот по дому чисто хозяйственных, что "плюс" работа переполняет дни. "Живут в Детском Шишков (писатель), Петров Водкин (художник); мы часто видимся: ходим друг к другу в гости; иногда к Раз[умнику] Вас[ильевичу] приезжает Дм[итрий] Мих[айлович], помогающий ему редактировать Блока; 10 вот и все почти, кого видим. Жена за все время была

лишь в Ленинграде 2 раза; и то — у зубного доктора; я — раза три: не тянет. В Детском и не чувствуешь захолустья, и все преимущества природы и климата; и мы уже становимся патриотами Детского: жить бы и жить здесь!

Стыдно писать о нас; мы — что: на все предстоящие заботы смотрим с женой с "внутренним спокойствием"; а вот волнение охватывает, когда, например, думаешь о Тебе, дорогой, милый, единственный друг и брат; хотелось бы Тебе улыбнуться поддержкой, перенестись к Тебе и быть уверенным, что Ты, скрепившись, перенесешь трудные условия и вернешься к нам.

Видел летом Оттоныча; он бросил "Библиотеку" и всецело ушел в перевод Эсхила;  $^{11}$  о Петре Никол[аевиче] никак не могу получить сведеный, где он, как устроился и т. д. $^{12}$ 

Милый Алешенька, уж Ты ради любящих Тебя друзей береги себя во всех отношениях; ведь Ты не знаешь, что Ты значишь *мне* например; и во имя хотя бы нас с женой обещай вернуться к нам живым, здоровым, бодрым, ибо единственно, что осталось, когда уже и возрастом мы склоняемся к "покою вечному": жить в мире и ясности с близкими и с собой.

Твое письмо нас порадовало; от него повеяло свежестью. Обнимаю Тебя много раз. Остаюсь с горящей любовью и с чувством неразрывной связи

Б[орис] Б[угаев]

Мы в адресе не ту поставили улицу; улица — "Октябрьский бульвар", д. 32.

[Середина марта, 1932..] [Москва.]<sup>13</sup>

Милый, родной, глубоко любимый Алешенька,

Не думай, что наше продолжительное молчание знак рассеянности; вскоре же после письма к Тебе обнаружилось, что Ты переведен; и только дней 10 назад как удалось узнать новый адрес; из Ленинграда Тебе была посылка и нужные Тебе книги; посылка вернулась за ненахождением.

Пишу из Москвы; лежу в постели (грипп или бронхит); итог переутомления; очень странно несешь предельная нагрузка, предельные внешние трудности; 14 и все таки; вопреки им, наперекор им в душе огромное успокоение оттого, что в судьбе нашей с К. Н. так невероятно просто и четко разрешилось то, что 10 лет не разрешалось; и это дает силы бороться с внешними затруднениями; а их не мало; мы с К.Н. без жил-площади; на днях едем перевозиться из Детского, где и дом, в котором жили, продан санатории для туберкулезных, и будь даже не продан — жить там нельзя: ситуация сложилась так что нам нужна квартирка, ибо П[етр] Ник[олаевич], ожидая ребенка, должен менять свою комнату в Долгом, 15 чтобы иметь возможность жить с женой, а Анна Алексеевна ослабела, что особым заботам; оставить двух старушек Влад[имира] Ник[олаевича], которого весь день нет дома, невозможно; 16 из этого вытекает: нам с К. Н. жить вместе с А. А. т. е., искать квартиру в Москве (перевести А. А. никуда в таком ее состоянии и нервном, и физическом нельзя); ты понимаешь, какая это хлопотня: если бы не обещания Жилищной Комиссии Союза Писателей (строится жил-площадь), то положение было бы катастрофальным; но и при "вероятности" разрешения кризиса с жил-площадью надо достать 1500 рублей паевого взноса, чтобы иметь право на въезд; а у меня нет сейчас почти никакого заработка, ибо 2 года почти лежат без движения "Маски" и "Начало Века" в "Гихле";17 за них получено все, что можно до выхода получить; кабы не пенсия (я стал персональным пенсионером) ік, то заработок был бы "0"; отсюда; к квартирным хлопотам — денежные.

Наконец: к этому всему предельная нагрузка с литературной работой; к сроку должен сдать книгу о Гоголе и вдобавок: была очень большая переработка "Начала Века", которое 7 месяцев лежало зарезанным цензурой, 19 потом под давлением Соловьева (зав[едующего] "Гихлом") дано вторично в цензуру другим политредакторам, которые с большим сочувствием отнеслись к книге, тем не менее заставили много переработать.

В итоге — всю осень и зиму какое то мучительное бессонное перебиранье сквозь дни с недосыпом, так что, когда на днях слег, то проспал часов 20.

Живешь двойной жизнью; есть постоянная тишина, покой, и много получаешь от этих минут покоя; вне — стон и бремя жизни; и область писания — уже в зоне "стона"; отдаешь все силы механически на фразу, а когда отваливаешься от письменного стола, отбыв постылокабальную обязанность отстрочить положенное, то чувствуешь отвращение к перу и чернилам (до судороги в пальцах); отсюда специальная трудность мне: писать письма.

Но из минут тишины вижу тех, кого нет с нами; мысленно обходишь отсутствующих, ведешь беседу с ними; с Тобой часто бываю вместе, но главная тревога, как с жизнью в бараках, я при своем зяблом теле и не представляю себе внешних условий Твоей жизни; а то, что представляется, — пугает суровостью; только о физических тяготах Твоей жизни и беспокоюсь, ибо уверен, что внутренне Ты крепок, как Твое письмо: "какое-то благоухающее письмо" — сказала К. Н. Спасибо за него. Мы радовались, получив его; более того: мы гордимся им за Тебя.

разузнавали, с какого боку хлопоты за Тебя имели б успех, и отовсюду выясняется: только ходатайство с места службы в теперешних условиях и могло бы изменить Твое положение, ибо другие способы получается ответ, что и те из "антр[опософов]", которыми С возятся, надоели: "надоели" трудно переть; ходатайствовали со всех сторон; и в доме одна дама, хорошая знакомая К.,21 чуть было не рассорилась с ним из за Елены Николаевны, ходатайство за которую решили отложить по крайней мере до осени. Невский Библиотека — вот единственное место, которое сейчас могло бы поднять дело; но Невскому трудно. К. же заявлял, что ему даже ДВИНУТЬ пальцем теперь; и даже сердился при отдаленном упоминании; повидимому роль его исчерпалась пересмотром дела и смягчением приговора в общем масштабе. Клименкову ходатайствовал Театр;22 за Петра 3a Ник[аноровича] В Мейерхольд, Волгин [,] Мещеряков, 24 Союз Писателей; и тут через К. достигли, что он вернулся; за Скрябину — Театр (возвратят).

Я лично исчерпал все бывшие у меня возможности и связи летом; и теперь в этом смысле надолго без рук и без ног.

И в разговоре с А., и в бумаге, поданной в Коллегию,  $^{25}$  и в разговоре с Пешковой,  $^{26}$  и в бумаге, поданной К., я сколько мог, говорил и писал о Тебе, давая характеристику моих друзей; я просил приобщить к делу "Почему я стал символистом";  $^{27}$  рукопись была в Коллегии; а потом ее читал К.; сделал я это в виду того, что там полная картина "самосности" бывшей московской группы.

Добился же, может быть, того, что и мой разговор (часовой) с А., способствовал отчасти освобождению К. Н.; странный разговор, который и доселе стоит мне, как знак вопроса; еще страннее: он отчасти способствовал  $\dots^{2\kappa}$  тому, что изменились судьбы наших отношений с К. Н. и П. Н., ибо я Агранову сказал всю *правду о наших отношениях*; и это способствовало, облегчить то, что казалось неисполнимым; загс с К. Н.

Не чудесно ли: никогда наши отношения с П. Н. не были такими близкими, как в июле-августе, после загса с К. Н., когда мы втроем таили от Анны Алексеевны случившееся: вот где была точка наибольшей трудности, но теперь изжилось и это.

Нужен был удар грома, чтобы десятилетний узел разрешился с молниеносной быстротой; по  $npas \partial e$ .

Это лето для меня стоит над девизом: "В грозе и в буре".  $^{29}$  После него — огромная усталость внешняя; и — внутреннее успокоение.

Милый, милый Алеша, — будь бодр; если бы Ты знал, как мы Тебя любим, как Ты нам нужен, то Ты сделаешь все, чтобы мужественно пронести это трудное время; прости за немощь этого письма; пишу из под головной боли и бронхитного изнеможения; в такой бездари слов, но с огромной любовью и постоянной памятью.

Пиши милый Алешенька в Москву на Плющиху (Плющиха 53, кв. 1); к первому апрелю надеемся быть в Москве; апрель — в Москве; в мае мож[ет] быть, едем ... ... 30, к Ел[ене] Ник[олаевне]31, если не выйдет необходимость ехать в командировку.

Крепко обнимаю Тебя, целую, Христос с Тобой. Б.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. Датировано по содержанию и в связи с неизданным письмом К. Н. Бугаевой к А. С. Петровскому от 14 декабря 1931 г. (ГПБ, ф. 60, ед хр. 120). В этом письме жена Белого дает понять, что писатель сам напишет Петровскому, как только освободится от работы над книгой о Гоголе. В письме, воспроизводимом здесь, Белый упоминает, что они с К. Н. собираются в Москву в январе (1932 г.). На самом деле они уехали из Детского Села 30 декабря 1931 г. (см. К. Н. Бугаева, "Андрей Белый. Летопись жизни и творчества", ГПБ, ф. 60, ед. хр. 107).
- 2. Это письмо нами не обнаружено в архивах Белого. В это время Петровский был в ссылке.
- 3. Весной и летом 1927, 1928 и 1929 гг. Белый был на Кавказе.О том, как он увлекался геологией, рассказывает К.Н. Бугаева ("Андрей Белый на Кавказе", стр. 135).
- 4. Работа над книгой *Мастерство Гоголя* началась в сентябре 1931 г. и продолжалась до конца следующего апреля. Книга издана в 1934 г., после смерти автора.
- 5. Неловкое положение, в котором все трое давно находились в отношении матери К. Н., Анны Алексеевны Алексеевой, было подробно описано Белым в письме к Иванову-Разумнику от 16 августа 1928 г. (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 19): "(...) Дело вот в чем: мы с К.Н. вместе (и работаем, и морально мыслим, и вместе ищем, взявшись за руки) уже с 1918 года. И за десять лет Бог знает как стали близки: можно сказать, что все мое стало ея, и все ея стало моим (и мюди, и вкусы, и заботы дней и т.д.); всем это ясно; и всем это понятно (и ее родным, и Петру Николаевичу, ея мужу, который сам признается, что он вполне понимает меня и ее и ничего не может противопоставить нашей моральной связи.) Но тут то и подымаются "Парок бабье лепетанье, жизни мышьей суетия".\*

Петр Николаевич человек благородный, честнейший и силящийся сознанием стать на уровне проблемы Пути:\*\* увы. — у него слабая воля и страстное. ревнивое сердце; он мучается нашей близостью с К.Н. тем сильнее, чем яснее видит, что сказать тут нечего. Он прекрасный человек, умный доктор, изумительно музыкально одаренный, но... — несмотря ни на что он с 1910 г. (года женитьбы) до 1928-го все еше погибает от *безнадежной* любви; и ведет порою себя, как капризный ребенок. Мать К.Н., Анна старушка пуританская с явным уклоном и в толстовство, и в "брандизм" (от "Брандт", драмы Ибсена), когда то взяла с нас слово, чтобы К. Н. внешне осталась с П. Н. и чтобы мы (я и К. Н.) не были мужем и женой; она очень слаба; у нея склероз; и боязнь убить ее держит нас в условностях. Единственно, кто мог бы нас разрешить от *"уз"* протестантской *"морали" (в кавычках)* и догматов "семейного дома", в котором К. Н. (в силу обстоятельств, а не своей воли)

<sup>\*</sup>Искаженные цитаты из стихотворения Пушкина "Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы".

<sup>\*\*</sup>Речь наверное идет об "антропософском Пути".

должна играть роль "супруги", — единственно, кто мог бы нас разрешить, так это П. Н.; но повторяю: тут он слаб, как ... капризный ребенок; и, так сказать, "бронирует" себя той Анной Алексеевной, которая требует, чтобы К. Н., "якобы" щадя П. Н., осталась "мадам" Васильевой; и тут то начинаются "бабьи... лепетания" и "мышьи...грызни", буквально изгрызающие душу К. Н. "Наши" прекрасно понимают нас с К. Н.; но остается труп быта, который насильно привязали к К. Н.: все это отдаленные родственники Анны Алексеевны, живущие 70 годами прошлого века, родственники Петра Николаевича, начиная с его матери, бывшей "директрисы" Ленинградской гимназии, ныне приехавшей из Сочи к "Кладе и Пете"! (...) Конечно, Петр Николаевич, мог бы, если бы был сильным человеком, освободить К. Н., т.е., доказать Анне Алексеевне, что он не погибнет без "Клади". А он... человек слабый; а мы, который год, боимся поднимать разговоры на эти темы из за здоровья Анны Алексеевны (припадок, сердечный удар, вообще "удар"). И стало быть: ложь "жизни сей" — довлеет; мы с К. Н., когда рассуждаем обо всем этом, — решили: до кончины (не дай Бог!) Анны Алексеевны положено нам быть "страдающей" стороною, ибо мы, увы, все же — сильнее духом!..

Но что стоит это К. Н. (...)".

В письме из Детского Села от 14 декабря 1931 г., К. Н. пишет Петровскому о том, как отношения между ней, Белым и Васильевым наладились в июле и в августе месяцах: "Знаете ли Вы, что целый месяц перед отъездом сюда, мы провели буквально втроем, он, Б. Н. и я. И воспоминание об этом месяце стало одним из самых светлых для всех нас троих. Только втроем нам и было хорошо. Мама в это время сильно бунтовала и не хотела принять Б. Н. в новой роли моего 'мужа' ... И тут Петя часто заступался за Б. Н., когда у них с Мамой доходило до очень острых моментов. Теперь Мама — вся обратилась сердцем к Б. Н. и восстала на Петю. вот какая она дурная!"

- 6. Место ссылки Е. Н. Кезельман.
- 7. В середине апреля 1931 г. Белый с Клавдией Николаевной покинули Кучино, маленькую деревню на Нижегородской железной дороге, где они прожили шесть лет. Они сразу переселились в Детское Село, где жили в доме старого его друга, Р. В Иванова (Иванов-Разумник, 1878-1946).

На самом деле, Бугаевы были вынуждены уехать из Детского Села в апреле 1932 г. Вернувшись в Москву, они поселились в квартире бывшего мужа К. Н. и его второй жены. Этот "подвал на Плющихе" описывается Н. И. Гаген-Торн в се неопубликованных воспоминаниях о писателе: "Там, в Долгом переулке, он жил с женой, Клавдией Николаевной и ее родными. В восемнадцатиметровой комнате. Там стояли: рояль К. Н., его письменный стол, за шкафами — кровати. Окна — у самого потолка".

9. Ср. письмо К. Н. Бугаевой к А. С. Петровскому от 14 декабря 1931 г. "Живем очень тихо, главным образом вдвоем. Только обед, да вечерний чай у нас общие с Р. И/вановым/. Остальное время никто не мешает. Гостей бывает мало, а у нас (...) почти никого. Но время все занято. Очень много работы по книге о Гоголе. Б. Н. и меня тоже запряг. То пишу под его диктовку, то выписки делаю, то переписываю..."

- 10. Дмитрий Михайлович Пинес, блоковед и библиограф. Познакомился с Белым в марте 1920 г., в связи с начинавшейся в Петрограде Вольной Философской Ассоциацией ("Вольфила"). В конце 1923 г. он стал секретарем этой организации до закрытия ее в следующем году. В сентябре 1928 г., вместе с Клавдией Николаевной, А. С. Петровским, Р. В. Ивановым и П. Н. Зайцевым (см. прим. 23), Пинес был назначен Белым одним из исполнителей своего литературного завещания. В 1931-32 гг. он помогал Р. В. Иванову в редактировании двенадцатитомного Собрания Сочинений А.А. Блока, пока он не был арестован в январе 1933 г. за бывшие связи с партией левых эсэров. Затем он провел несколько лет в тюрьме и ссылке. Впоследствии, в 1940-50-е годы он сотрудничал с Петровским и с К.Н. Бугаевой в составлении (неизданной) библиографии литературы об А. Белом (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 116).
- 11. Владимир Оттонович Нилендер (1883-1965), поэт-переводчик, библиотекарь и специалист по античной литературе; старый друг Белого (см. воспоминания последнего о Нилендере в кн. *Начало века*, М. Л., 1933, стр. 352-5).
- 12. О ком именно речь идет, нами не установлено. В случае описки, вполне возможно, что Белый ссылается на своего с Петровским общего друга, Петра Никаноровича Зайцева (см. прим. 23), который в это время находился в ссылке.
- 13. Датировано по содержанию и в связи с письмом К.Н. Бугаевой к Петровскому от 10-го марта 1932 г. (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 120).
- 14. С 1927 года Белый все чаще болел. В письме к Иванову-Разумнику от 25 декабря 1927 г., он жалуется на свою "общую усталость и вялость"; "очень переутомился; и здоровье подхрамывает; ничего особенного, а нет дня, чтобы с какой нибудь стороны не укусила тебя какая нибудь мелочь: то голова, то кашель, то сердце, то мышцы, то зубы, то... постоянно подлечивается (...)" (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18). Жалобы на мигрень, приливы крови, повышение температуры часто повторялись в его переписке с друзьями за последние годы жизни. Пребыванием на Кавказе и в Крыму он надеялся укрепить свое здоровье. Его болезненное состояние упоминается Клавдией Николаевной в ее письме к Петровскому от 10 марта: "переутомление сказалось: сегодня Б. Н. чтото совсем свалился. (...) Приходится кроме работы за письменным столом еще много ходить в ГИХЛ, в Федерацию, в Союз. Теперь ведь он хлопочет о 'жил-плошали' в Москве".
  - 15. Имеется в виду "Долгий переулок".
  - 16. Речь идет о матери, тете и брате Клавдии Николаевны.
- 17. Роман *Маски* был закончен 1 июна 1930 г. и переработан в ноябре того же года. Он был издан издательством ГИХЛ в начале 1933 г. Переработка *Начала века*, первоначальный текст которой относился к 1923 г., была окончена в декабре 1930 г., но Белому пришлось опять переработать книгу в первой половине 1932 г. Она появилась в свет зимой 1933 г. (см. К. Н. Бугаева и А. С. Петровский, "Литературное Наследство Андрея Белого", стр. 608-9, 615.)
- 18. Белый был провозглашен "персональным пенсионером" постановлением Совнаркома РСФСР 23-го ноября 1931 г. (см. К. Н. Бугаева, "Летопись жизни и творчества").
  - 19. Описка у Белого; им написано: "лежала Зарезанной".

- 20. Письмо написано карандашом, и здесь целая строчка стерлась. Белый переходит к вопросу об изгнании бывших своих друзей-антропософов, в том числе и Петровского.
- 21. Имеется в виду Рубен Павлович Катанян (1881—?), главный прокурор ОГПУ в это время. С 1933-37 гг. он состоял заместителем главного прокурора СССР.
  - 22. Лидия Васильевна Каликина, антропософка.
- 23. Петр Никанорович Зайцев (род. 1889), бывший член "ритмического кружка", организованного Белым в 1910-11 гг., впоследствии секретарь издательства "Недра". Он часто выступал посредником между Белым и московскими издательствами. В письме к Иванову-Разумнику от 3 мая 1928 г. Белый пишет о "П. Н. Зайцеве, самопожертвенно оказавшем мне 'рой' таких услуг, что я перед ним в долгу неоплатном (в смысле разговоров с редакциями, вплоть до гонораров); если я живу в Кучине благополучно и даже еду на Кавказ, все это Петр Никанорович!" Он был арестован с остальными антропософами и сослан в Среднюю Азию. В начале 1932 г. он, кажется, вернулся из ссылки и стал опять жить в Москве.
- 24. Николай Леонидович Мещеряков (1865-1942) был в это время главным редактором издательства ГИХЛ в Москве.
- 25. Имеется в виду Яков Саулович Агранов (?-1939), член коллегии ОГПУ в то время, а затем первый заместитель Ягоды и Ежова в НКВД. Расстрелян в 1939 г. Старый чекист, он был, кажется, одним из главных следователей в 'гумилевском' деле в 1921 г. Белый говорит об Агранове и о бумаге, поданной им в коллегию ОГПУ, в письме к П. Н. Зайцеву от 23 июля 1931 г. (ЦГАЛИ, ф. 1610, П. Н. Зайцев, оп. 1, ед. хр. 16). В своем заявлении Белый попытался солиларизироваться с арестованными друзьями, настаивая на полной легальности их поведения и до и после закрытия Русского Антропософского Обшества в 1923 г.
- 26. После революции Е. П. Пешкова (1876-1965) основала "Политический Красный Крест" в России, который просушествовал до 1939 г. В теории эта организация должна была оказывать помощь всем политическим заключенным.
- 27. "Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития" (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 74). Эта длинная, неизданная статья была написана Белым за лесять дней в марте 1928 г. Этот документ опыт самоанализа излагает кропотливо отношение Белого к "общественным структурам" вообще и к антропософскому идеалу органической "общины" в частности. В этом отношении он всячески пытается отделить опыт и образ жизни московской группы антропософов от их, якобы, соратников в Ленинграде и в западном Антропософском Обществе.
  - 28. Неразборчивое слово.
- 29. Любимые темы поэзии Александра Блока. В 1918 г. Иванов-Разумник написал статью о Блоке под заглавием: "Испытание в грозе и буре".
  - 30. Два слова здесь стерлось.
- 31. Белый с женой так и провели август и сентябрь месяцы у сестры Клавдии Николаевны в Лебедяни.

## ХОЛОДНАЯ ЗИМА

#### АРЕСТ. ЛУБЯНКА. БУТЫРКИ\*

Лето 1919 года мы проводили в Звенигородском уезде недалеко от села Молоденово, в семи верстах от станции Жаворонки, по Брянской железной дороге. Наша прочная деревянная дача, принадлежавшая незнакомому нам доктору Лаврову, стояла в сосновом лесу, окруженная со всех сторон деревьями, недалеко от высокого крутого обрыва над Москва-рекой.

Хорошая погода продолжалась до конца сентября, но уже была пора думать о переезде. Друзья эсэры помогли нам найти пристанише — одну единственную комнату — в домике-особняке, занимаемом эсэром Синицыным.

В один из последних дней сентября я навестила в больнице маму. Я любила приезжать в Ховрино. Пользуясь солнцем, больные в халатах гуляли по парку. Меня ласково встретила фельдшерица Фанни Моисеевна, очень полюбившая маму. Вечером она оставила меня ночевать в своем флигеле. У Фанни Моисеевны была привычка громко вздыхать и повторять фразу, принадлежавшую по ее словам Шопенгауеру: "Жизнь есть цепь страданий, прерываемая кратковременными радостями". Ночёвка на мягкой постели с белыми простынями и чтение при электрической лампе были для меня именно такой "кратковременной радостью".

<sup>\*</sup>Мы публикуем второй отрывок из воспоминаний О. В. Черновой, падчерицы В. М. Чернова, лидера партии эсэров, быв. председателя Учредительного Собрания. Этот отрывок мы публикуем с некоторыми сокращениями. Первый отрывок см. кн. 121 "Н. Ж.". РЕД.

На другой день около полудня я уехала в Москву, у меня было назначено свидание с Виктором Михайловичем\* у Рабиновичей на Никитском бульваре. Меня очень тепло встретили и усадили за чай. Я думала засветло пойти к Богоровым переночевать у них. Прощаясь со мной В. М. сказал, что просит меня завтра перед от'ездом в Молоденово, зайти в писчебумажный магазин на Арбате, спросить Звереву и передать ей на словах, что очередная встреча состоится в назначенный день. Это была партийная явка, и В. М. точно описал мне расположение магазина.

Я пошла в сторону Пречистенского бульвара. Пройдя несколько шагов, я неожиданно встретила Юлию Федоровну Черненкову, старого друга. Она была эсэркой и в годы эмиграции постоянно жила в Кави ди Лаванья. Ю.Ф. подолгу гостила у нас на даче в Алассио со своей маленькой дочерью. Революция застала её в нашем доме. Мы все её очень любили, но совершенно потеряли из вида после приезда в Россию в 1917 году. Она обрадовалась мне и предложила пойти к ней, поблизости, и переночевать у нее. Я согласилась. Богоровы не ждали меня, и никто не стал бы обо мне беспокоиться. Ю. Ф. привела меня в свою небольшую комнату, разогрела морковный чай, мы сели за стол. Она расспрашивала, как мы живем и огорчалась, что для меня и Наташи нет возможности поступить в Университет, несмотря на то, что у нас был диплом окончания средней школы. Мы вспоминали Италию и заговорились до позлней ночи.

Утром я вышла на улицу. Светило солнце. На мне было мамино черное платье, которое я надела для поездки: оно было мне велико, и я казалась в нем взрослее. Я дошла до Арбата и увидела на круглых часах, что уже около двух. Я без труда нашла магазин — в большой витрине были выставлены синие и красные тетрадки, блокноты, карандаши. Не я одна была поражена необычным богатством выставленных товаров. Несколько человек стояло, разглядывая новые, яркие писчебумажные принадлежности в окне, и покупатели один за другим входили в магазин.

<sup>\*</sup>Виктор Михайлович Чернов. РЕД.

Я внимательно посмотрела в глубину его. Все было нормально: покупатели толпились у прилавков, а за конторкой кассы сидела барышня — по описанию В. М. именно к ней и следовало обратиться. Я вошла и, приблизившись к кассирше, спросила ее вполголоса, могу ли я видеть Звереву. Барышня, которую я приняла за служащую, вскочила, крепко схватила мою руку выше локтя и громко закричала: "Товарищи, здесь спрашивают Звереву!" Я вырывалась, но откуда то снизу — в глубине магазина, очевидно, была лестница в подвальный этаж — появилось три человека: двое подхватили меня под руки; третий в черной кожаной куртке и фуражке достал из кармана блокнот и карандаш и, глядя на меня в упор, стал задавать вопросы. Я поняла, что попалась в ловушку.

- Вы знаете Звереву?
- Нет, ответила я, и это была правда.
- Но вы спросили ее.
- Я хотела купить тетрадку.
- Зачем вам нужна Зверева?
- Я хотела купить тетрадку.
- Кто вас послал?
- Я встретила подругу по школе, я давно не видела ее. Она сказала...
  - Как имя вашей подруги?
- Таня Дрейзер, выговорила я Бог знает по какой ассоциации пришедшее мне в голову имя американского писателя.
  - Как ваше имя и отчество?
  - Катерина Ивановна Орлова.

Я почувствовала, что сейчас запутаюсь и, что еще хуже, запутаю других. Мне стало страшно. Но вдруг раздался взрыв голосов и громкий крик с нижнего этажа, прервавший мой допрос:

— Товарищ Ройтман!

К чекисту с блокнотом подбежал другой.

— В подвале ротатор... Подпольная типография!

Ротман оставил меня и бросился вниз со всеми, окружившими меня. Я перевела дух. Что было делать? Ведь я поймана с поличным. Оглянувшись я увидела, что магазин наполнился людьми, у дверей стоял чекист — он впускал покупателей, но не

выпускал никого. Я отодвинулась подальше от конторки и, стараясь быть незамеченной, затерялась среди вновь вошедших. Я надела и застегнула бежевую жакетку, и повязала голову синим платком, лежавшим в сумочке, чтобы немного изменить внешность. На мое счастье у меня не было "особых примет".

Чекисты были взволнованы важной находкой — в большом возбуждении они звонили по телефону, спускались в подвал и совещались между собой. Про меня забыли, протокол моих ответов так и остался неоконченным и без подписи. Толпа, собравшаяся в магазине видимо привлекала любопытных извне — входили все новые люди, и их задерживали, проверяли документы. Начало темнеть, зажгли электричество. Мне запомнилось, как приоткрылась дверь и две бойкие девицы, курносые и толстомордые, одна в синем, другая в фиолетовом платье, обе с перевязанным вокруг лба черным крепом, свисающим до края их подола, резво вбежали в магазин.

- А вы кто такие? игриво спросил привратник.
- Мы артистки, в один голос сказали девицы.
- Знаем, знаем, какие артистки, входите пожалуйста!

Барышни попятились, но чекист не выпустил их. В это время в Москве шла борьба с проституцией. Красноармейцы носили по улицам длинные полотнянные плакаты, надетые на две палки с надписями: "Долой проституцию", "Все на борьбу с проституцией и сифилисом!", "Сифилис несчастье, а не позор".

Уже совсем стемнело, когда начальник чекистов обратился к захваченным и сказал, что все арестованы. К магазину под'ехал грузовик и под конвоем нас заставили влезть в него. Нас было много.

Привезли на Лубянку в помещение М. Ч. К: Московская Чрезвычайная Комиссия занималась менее важными делами, тогда как Всеросийская Чрезвычайная Комиссия ведала делами большего масштаба. В темноте нас собрали в огороженном дворе М.Ч.К. и отделили женщин от мужчин. По счету чекист передал нас латышке-надзирательнице, огромной, широкоплечей женщине, которая, в сопровождении конвойного солдата, повела нас в женское отделение тюрьмы. Мы прошли по слабо освещенным коридорам, латышка открыла дверь в камеру.

Я замерла на пороге: большая комната была набита

арестованными, казалось в ней больше нет места. Женщины метались в узком пространстве камеры, плакали, рыдали, ломая руки над головой. Это была сцена отчаяния в преддверии первого круга ада, описанная Данте: "Слова скорби, гневные восклицания, высокие и хриплые голоса, сопровождаемые всплеском рук..."

В камере были деревянные нары, занимающие около её трети. На них вплотную лежали и сидели арестантки, другие, не находя покоя метались по тесному пространству камеры. Как только открылась дверь, они бросились к надзирательнице, и каждая, крича, старалась об'яснить ей, что она арестована по ошибке, случайно, и ничего не сделала против Советской власти.

— Пишите заявление, — сказала латышка, отталкивая окруживших ее женщин, и, выйдя, гулко заперла дверь снаружи.

Мне удалось протиснуться к нарам и я наконец села, после долгих часов, проведенных на ногах. Я осматривалась, стараясь дать себе отчет в том, что происходит вокруг. Меня окружали женщины всех возрастов интеллигентные и совсем простые. Все были страшно возбуждены. Одни говорили шепотом, другие громко кричали, некоторые сидели молча, сжав губы и неподвижно глядя в одну точку.

Внезапно раздирающий крик заглушил гул голосов. Арестантки бросились к центру нар и схватили за руки молодую женщину с золотыми, крашеными волосами, причесаными парикмахером. Ее шея была перетянута длинным шарфом из голубого газа.

— Лучше умереть! Сразу умереть! — кричала она и билась в истерике.

Кто-то об'яснил: она хотела повеситься на пустом крюке от лампы — артистка Художественного театра! И назвали известное имя. На взрыв голосов прибежала надзирательница и, убедившись, что беды не произошло, положила на край нар пачку мелко нарезанных бумажек, на обороте которых были напечатаны проспекты бывшего страхового общества.

— Пишите заявления. Ужина для новых не будет. Не пора. Арестантки взяли листочки и, передавая друг другу чернильные карандаши, принялись старательно писать свои ходатайства. Ко мне подошла высокая, седая дама с интеллигентным, суховатым лицом и сказала вполголоса:

— Поверьте мне, старому человеку — вы молоды. Не разговаривайте ни с кем, никому не доверяйте и не слушайте других. Молчите. Здесь есть всякие. Не давайте повода донести на вас — они только и ждут... А вы держитесь подальше. Вот видите там, возле двери, две чистенькие девушки, как будто институтки. Они сестры, обе проститутки. Ну кто бы сказал?

Я увидела двух девочек; они казались моложе меня, хорошенькие, с молочно-белой кожей и нежным румянцем, обе в темных платьях с белыми воротничками. Действительно, было бы трудно угадать их профессию.

— А вот там на нарах, видите, сидят мать и дочь. Дочь молоденькая со стрижеными темными волосами — они замешаны в серьезное дело, связанное со шпионажем в Финляндии. Плохо.

Она указала мне на двух женщин, сидевших рядом на темнозеленом пледе. Они не разговоривали, и их тяжелое молчание отделяло их, от всех. Надзирательница, обойдя камеру, собрала написанные прошения и унесла. Разговоры и движение не утихали, написанные заявления вызвали какую-то наивную надежду у арестанток. Я сидела молча, следуя разумному совету седой женщины, да мне и не хотелось вступать в разговор — мне было о чем подумать.

Становилось поздно. Латышка вошла и спросила, кому надо в уборную. Мы выстроились у двери, и она партиями по очереди, водила нас через широкий коридор. В уборной канализация плохо действовала, пол был залит. У двери стояло несколько вёдер с водой. Когда вернулась последняя группа, одна из арестанток патетически закричала:

— А знаете, что они делают с нашими заявлениями? Они бросили их в ведро. Я видела, они так и плавают с растекшимися фиолетовыми буквами. Над нами просто посмеялись!

Эти слова вызвали общее негодование и новый взрыв отчаяния и жалоб. Я снова протиснулась в уже занятое мной местечко на нарах. Окно было наглухо забито досками и воздуха не хватало. Наступила ночь, и, утомленные слезами и криками, женщины начали постепенно стихать. Зато стали громче

доноситься наружные шумы — послышалось гудение заведённого во дворе грузовика. Затем откуда-то раздались отчетливые ружейные выстрелы. Дверь распахнулась, и наша надзирательница вместе с другой латышкой вбежали с побелевшими лицами. Кто-то на нарах объяснил:

— Это расстреливают в подвалах. А чтобы было не так слышно, заводят грузовик. Даже этих вот проняло — уж на что толстокожие. У них в коридоре еще слышнее.

Я лишний раз убедилась, что люди как-то всё узнают, даже за стеной тюрьмы. Мои соседки заснули. Между лежащими телами мне удалось вытянуть сперва одну, затем и другую ногу; под голову я положила свою потертую замшевую, еще заграничную сумочку, а от неугасающей электрической лампочки под потолком закрыла глаза синим платком.

И вдруг в этом бесчеловечном мире случилось чудомолчаливая девушка с темными короткими волосами, взятая по "финскому делу", неожиданно обратилась ко мне:

— У меня продолговатая подушка — вы можете лечь с одной стороны, а я лягу с другой.

И она положила между нами небольшую подушку в белой наволочке, и улыбнулась мне. В ее желании уступить мне край своей подушки я почувствовала доверие и человечность, мне стало тепло, и я подумала, что не всё погибло, еще возможен проблеск доброты в окружавшем меня страшном мире. И мы легли: головы на подушку с противоположных сторон, а ноги врозь.

Смуглая девушка заснула. А я долго лежала с закрытыми глазами, перебирая события дня. Самое главное — мне удалось выпутаться, и я не значилась в "деле эсэровской типографии". Это было необычайной удачей. Я ничем себя не скомпрометировала, и могу смело отвечать на допросе, что вошла в магазин купить тетрадку, как любой из обывателей, попавшихся со мной в ловушку. Теперь надо забыть о Кате Орловой и о выдуманной мной Тане Дрейзер — я должна назвать свое имя и дать адрес Богоровых. иначе я поступить не могу: я там прописана и другого адреса у меня нет. Это единственный выход — если я откажусь отвечать, меня не выпустят, и я сгину в тюрьме. В

комнате у Богоровых нет ничего, что могло бы им повредить, ни адресов, ни книг.

Но когда меня будут допрашивать? Так много арестованных, и все ждут рассмотрения дела. Мне может быть придется долго сидеть. Я исчезла, и близкие не скоро хватятся: мама будет думать, что я в Молодёнове; Наташа — что я в Ховрине; В.М. уверен, что я преспокойно уехала в деревню; до него, конечно, дойдет слух о разгроме типографии — но поставит ли он это в связь? Кончится тем, что встревоженная сестра Наташа, не видя никого из нас, поедет к Викте и забьет тревогу.

Рано утром камера зашевелилась. Заключенные просыпались одна за другой, и, притихшие на время, горе и страх охватывали их с новой силой. Послышались взволнованные голоса. Владелица подушки встала раньше меня, и складывала свое одеяло. Она пожелала мне доброго утра и, когда я поднялась, подобрала подушку и перешла к стене, где сидела ее мать.

Дежурная староста помогла надзирательнице принести и раздать эмалированные белые кружки с горячей черноватой жидкостью — утренний чай. Несколько женщин поспешно застегивались и поправляли прическу — их куда-то вызывали, и они уходили и с надеждой и со страхом.

При дневном свете я снова обдумала свое положение и вернулась к ночному решению — назвать фамилию, под которой я жила, — Колбасина. Я успокоилась. И стала внимательнее вглядываться в то, что происходило вокруг. Мне помогало то, что я смотрела как бы извне, глазами "наблюдателя", думая о том, как буду всё это рассказывать маме, В.М. и Наташе.

Только после полудня нам принесли жидкий суп из капусты в металлических мисках. Когда мы кончили есть, латышка велела нам быстро собираться "с вещами по городу", потому что заключенные — и среди них все взятые накануне на Арбате — будут переведены в Бутырскую тюрьму. Это названье испугало меня. В тесноте камеры МЧК казалось, что большинство арестовано случайно — нас постепенно проверят и освободят. А Бутырки — означало долгое сиденье в настоящей тюрьме.

Мы шли долго — расстояние показалось мне большим.

Когда подошли к высокой тюремной стене из кирпича, солнце уже село. Перед нами распахнули тяжелые ворота, мы вошли, и они гулко захлопнулись за нами. Засов был задвинут, и я ощутила шемящую тоску: тюрьма.

В большой приемной комнате женщин снова отделили от Всем роздали небольшие опросные листы: отчество, фамилия, адрес. Мы заполнили бумаги и передали их коменданту. Сопровождавшие нас чекисты начали видимо. переговоры С администраторами, которые, были смущены количеством приведенных арестантов. Мы долго ждали стоя. Наконец нас разделили на группы по четыре человека, и надзирательница повела в камеры. Меня и трех других, случайно указанных комендантом женщин, поместили в "Полицейскую башню", в камеру № 14.

По винтовой лестнице мы поднялись на третий этаж. Латышка впустила в маленькую, полукруглую камеру, ярко освещенную электрической лампочкой под потолком. Она слегка втолкнула нас и заперла тяжелую дверь тяжелым ключом.

Мы очутились вместе — четыре женщины, совершенно чужие друг другу. Я внимательно посмотрела на спутниц. Старшая — московская дама лет сорока, брюнетка, интеллигентная с приятным лицом; вторая — моложе её, казалась лет тридцати, тоже брюнетка с усталым и несчастным выражением лица, интеллигентная, близорукая, с лорнеткой; третьей было не больше двадцати лет, высокая, красивая, с очень белой кожей и гладко зачесанными каштановыми волосами. В её лице было что-то неподвижное, как будто оно застыло от страха.

Слава Богу! Все три не внушают подозренья. Ничего отталкивающего в них нет. Ни одна из них не может быть "тюремной наседкой". Они — просто обывательницы и на "партийных" совсем не похожи.

Я осмотрела камеру: круглая стена, только — внутренняя прямая, и к ней привинчена узкая койка с довольно чистым матрацем и сложенное бурое одеяло. Стены до половины выкрашены в черный цвет. Маленькое, зарешётченное окошко под потолком. Темнозеленая параша в углу, около двери привинчен откидной столик и такая же скамейка. В дверях — глазок. Невесело.

Мои спутницы продолжали молчать.

- Я, хотя и самая младшая, прервала молчание.
- Вот мы в настоящей тюрьме. Здесь все-таки лучше, чем на Лубянке спокойнее и тише. Однако, пора нам познакомиться: меня зовут Ольга Викторовна Колбасина. Я живу на Пречистенском бульваре 11. Вошла в магазин купить тетрадку...
- А я хотела купить там карандаши и блокноты. Все было так аппетитно разложено в витрине, сказала московская дама. Я живу близко от Арбата. Мое имя Наталия Львовна Канделаки. Звучит по гречески, но мой муж грузин; он известен в грузинской колонии.
- Я тоже москвичка Лидия Матвеевна Матвеева. Я пианистка и учительница музыки. Вот думала купить блокнотик. И она сделала движение, поднеся лорнетку к глазам.

При слове "блокнотик", третья, самая из них молодая, разрыдалась.

— Блокнот, Боже мой, я тоже из-за блокнота.. для мужа. Как же теперь — я не могу без мужа... Он ждет меня.

Ее слова прерывались громкими всхлипываньями. Мы всетаки поняли, что её зовут Лариса Геннадьевна и она из купеческой семьи. Она совсем недавно вышла замуж.

Лед был разбит. Во время разговора я села на койку рядом с Натальей Львовной, Лидия Матвеевна примостилась на сложенном одеяле на полу, а Лариса Геннадиевна откинула привинченную к стене скамейку. Она продолжала плакать.

- Что же теперь ждать расстрела? громко вскрикнула Наталья Львовна.
- Попались в засаду, в мышеловку. Столько арестованных, места не хватает. Что они с нами сделают? сказала Лидия Матвеевна.
- Да будь они прокляты со своей типографией! Нас пристрелят, и никто не узнает.
  - А перед расстрелом заперли, как перед бойней....

Я перебила их: — "Нет, нас не расстреляют. Ведь мы ни во что не замешаны. Мы просто вошли в магазин".

- Почему вы в этом уверены? Почём вы знаете? раздраженно возразила Лидия Матвеевна.
  - Я ничего не знаю как и вы. Но думаю, что уж если бы нас

хотели расстрелять, то было бы проще в подвале МЧК. Зачем же было гнать нас через всю Москву?

- Ну и флегма же вы, Ольга Викторовна! не без досады воскликнула Наталья Львовна. Скажите, вы вообще когданибудь волнуетесь? Что захотят, то и сделают: убьют ни за что, или сгноят в тюрьме.
- Да, я боюсь, что о нас забудут. Придется долго сидеть. Если бы только знать, когда нас выпустят, сказала я.

День прошел. Время шло, и золотые часики на браслете Наталии Львовны показывали уже одиннадцать с половиной. Надо было ложиться, но как? Наталия Львовна осталась на койке, обтянутой парусиной, Лариса Геннадьевна устроилась на матраце, Лидия Матвеевна взяла одеяло, а мне не досталось ничего.

Я легла на голый каменный пол без всякой подстилки. Было холодно и жестко. Я потуже завернулась в легкую вязанку и положила голову на сумку. Рядом со мной не было черноволосой девушки с продолговатой подушкой, улыбнувшейся мне в камере МЧК.

Я стала думать: ведь если мои сокамерницы только заподозрят, что я связана с эсэрами, с самим Виктором Черновым, они просто умрут от страха и могут наделать глупостей. Я должна если не лгать, то умалчивать и стать для них Ольгой Викторовной Колбасиной, дочерью разведенной или покинутой учительницы середней школы. В таких случаях обыкновенно не спрашивают о семейных делах. О заграничной жизни или вовсе не говорить, или свести её к младенческим воспоминаниям поездок в Берлин, Париж и Италию.

Я пробовала уснуть, но, ненадолго забывшись, просыпалась от яркого света, от стонов моих товарок, от нервных рывков. Под утро сон стал крепче, но нас подняли — тюремная возня началась рано. Камеру открыли, и мы вышли на полукруглую площадку с винтовой лестницей. Надо было занять место в очереди в уборную; стоящие сзади торопили: все было рассчитано на жительниц одиночных камер, теперь в каждой сидело по четыре человека. Перед умывальником тоже началось ожиданье. Я умылась без мыла и вытерла лицо носовым платком; полотенца не было.

Затем латышка велела подмести камеру веником из прутьев. Надзирательница с помощью дежурной по камерам, быстрой и разбитной молодой женшины по фамилии Гиршпан, принесла нам бурый чай в белых эмалированных кружках и микроскопические дольки клейкого черного хлеба. Обжигая губы о горячий край, я с наслаждением выпила жидкость и разом с'ела хлеб, предназначенный на целый день. Наталья Львовна сказала, что трава, из которой приготовлен чай, называется "чередой". Так мы и стали звать наш утренний напиток.

После завтрака та же дежурная обошла камеры с пачкой газет, предлагая их заключенным. Н.Л. купила номер "Правды", а я, проверив свое денежное достояние, взяла у неё пять экземпляров. Я подумала о предстоящей ночи и решила, что сделаю из них подстилку: будет суше и мягче лежать. "Бумага — плохой проводник тепла", вспомнила я учебник физики. В то время газетные листы были огромных размеров.

Наталья Львовна развернула свой номер и воскликнула: "Взрыв в Леонтьевском переулке! Покушение сделано левыми эсэрами! Большая передовица Стеклова". Она начала читать вслух статью, в заключение которой Стеклов советовал для поимки виновных пропустить всю Москву через решето.

- Вот мы и застряли в решете! Проклятые, недаром я всегда ненавидела эсэров, хуже чем большевиков. Их "бескровная революция:" и "земля крестьянам" вот и распоясали хама! А теперь бомбы и типографии, а расстреливать будут нас.
- Н. Л. громко кричала и Лидия Матвеевна соглашалась с ней. Я молчала, а Лариса Геннадьевна, прикорнувшая на матраце, смотрела в пространство своими красивыми глазами без выражения.
- Да теперь расстрел недаром мы попались в их типографии.

Я понимала, что сравнительно со мной они все ужасно наивны, ничего не понимают и не разбираются ни в общей ситуации, ни в нашем положении. Недаром я выросла в революционной среде. В обстановке тюрьмы я была старше других и знала несравненно больше. Я поняла ясно, что мне самой гораздо проще заниматься другими и помогать им, чем

углубляться в собственный страх. Я отбросила мысли о себе и от того, что меня ожидает и постаралась как-нибудь успокоить их. Я очень хорошо запомнила эту сознательную минуту — она оказала влияние на всю мою жизнь.

Я стала уговаривать двух исступленных женщин, хотя они обе слушали меня почти враждебно, а Лариса вовсе не слушала.

— Не бойтесь расстрела. Нам поможет именно то, что так много арестованных — всё смешалось, и теперь концов не найти. Подумайте, ведь вместе с нами задержали четырех проституток за их профессию — я видела. Чекистам не легко будет разобраться в этой каше. Помните двух девиц в черном крепе? Нельзя же их заподозрить в том, что они бросили бомбу. Но нас могут продержать долго, пока разберут...

Меня охватила тоска при мысли о бесконечных днях в этой камере вчетвером. Я продолжала:

- Если бы мы только могли знать, сколько они нас здесь продержат? Две недели или месяц, было бы легче ждать. Знаете что? предложила я, можно начертить календарь на стене, и каждый вечер вычеркивать прожитый день. Так всегда делали узники.
- Вы с ума сошли со своим Шильонским узником, перебила Н.Л. с насмешкой. Вы рассчитываете просидеть здесь целый месяц? Да я просто умру от такой мысли.

Все замолчали и погрузились в невеселое чтение "Правды". Вскоре нам принесли обед — жидкий суп из серого пшена с плавающей сверху зеленой капелькой коноплянного масла. Н.Л. не выносила его вкуса и сняла его ложкой из своей миски и переложила в мою. После еды все прикорнули, каждая на своей постели, а я на куче купленых газет.

На ужин дали капустную похлебку с кусками подозрительного мяса. Эти два блюда, чередуясь или подряд, составляли наше обычное меню. Иногда капуста была сварена на селедочных головках. Один раз дали чечевицу — мы ели её с наслаждением, но осторожно, из-за мелких камешков, перемешанных с ней.

Ложась спать в этот вечер, я тщательно обмотала ноги "Правдой", а сверху натянула чулки, и под платьем завернулась

в широкие листы газеты. Оставшиеся номера я расстелила на полу. Стало сразу тепло и сухо. И я заснула.

Так прошло пять однообразных дней, с тем же установленным порядком. Ничего нового не произошло и никого из нас не вызвали на допрос. Газету, наш единственный источник информации, приносили не каждый день. Новых покушений как будто не было. Как-то вечером — а в эти часы особенно сильно чувствовалась тоска и томила неизвестность — Наталия Львовна сказала мне:

— Знаете, Олечка — вы уж извините, я так вас буду звать, моя дочь на год вас старше — мне теперь совсем не кажется смешным то, что вы сказали про срок в тюрьме. Теперь я согласна с вами, и была бы счастлива, если бы знала наверное, что через месяц меня освободят. Знаете что? Давайте сделаем такой календарь на стене.

Пользуясь сложенной газетой как линейкой, я нацарапала головной шпилькой на стене прямоугольник и разделила его на тридцать квадратиков, проставила числа и сделала отметинки на воскресных днях. И с тех пор, перед тем как лечь спать, мы вычеркивали прошедший день.

В один из следующих, бесконечных вечеров, когда никому не спалось, и обострялась тревога, я предложила, чтобы каждая из нас, по очереди, рассказывала другим что-нибудь из прочитаного или из своей или чужой жизни. Мои товарки охотно согласились и, когда уже все спокойно лежали, каждая на своей постели, а я на прослойке из газет, ставшей к тому времени довольно плотной, Наталия Львовна первая, по старшинству, начала свой рассказ.

Мы не сразу привыкли, сначала немного стеснялись и говорили не всегда гладко, но мало по малу освоились и стали рассказывать настолько хорошо, что все остальные слушали с увлечением. И каждая заранее готовилась, восстанавливая в памяти случай из жизни, рассказ или прочитанный роман.

Я знала много стихов наизусть, помнила классиков и совсем недавно прочла Гамсуна и Ибсена — все это составило мой репертуар. Лидия Матвеевна рассказывала пьесы Метерлинка — "Слепые" и "Смерть Тентажиля", и мы вместе с нею вспоминали Мелисанду в дремучем лесу и ее длинные волосы,

свисавшие из окна башни. Наталия Львовна делилась с нами воспоминаниями о заграничных поездках, говорила о театре, особенно о Художественном и о его постановках.

Даже Лариса приняла участие, и, в свою очередь. познакомила нас со своим детством и описала поездку в Киево-Печерскую Лавру. Это помогло ей выйти из своей отчужденности. Но больше всего наши ночные выступления оживили Лидию Матвеевну. Она вероятно раньше увлекалась символистами, и может быть ей давно не приходилось говорить о Метерлинке.

На десятый день наконец, под вечер, нас вызвали на допрос. Надзирательница провожала одну за другой по длинным коридорам тюрьмы. Следователь сидел в небольшом кабинете за столом, заваленным бумагами. Когда я вошла и назвала свое имя, он достал папку с моим делом и задал мне несколько вопросов. Я сказала ему, что зашла в магазин купить тетрадку. Следователь не затягивал допроса, считая его, видимо, неважным и спешил закончить. Я подписала показания и латышка увела меня обратно в Полицейскую башню.

На другой день староста, та же Гиршпан, предложила нам почтовую бумагу и конверты и сказала, что мы можем написать родственникам. Мы заплатили ей какую-то мелочь, а почта в то время была бесплатной. Я задумалась. Мне представился первый случай дать знать о себе близким, но мне не хотелось писать на адрес квартиры Богоровых и тревожить их письмом, помеченным штемпелем тюрьмы. Но что было делать — я исчезла, и вся семья должна была сходить с ума от тревоги. Да и сами Богоровы после обыска вероятно беспокоятся обо мне. Все равно пришлось адрес Колбасиной. раза дать Пречистенский бульвар 11. И я решилась написать Наташе, прося ее прислать мне смену белья, полотенце, книгу и, по возможности, какое-нибудь рукоделие — кусок материи, иголку и нитки.

Дни опять замелькали, похожие один на другой — с утренней чередой, газетами, с прогулкой или без нее, с "конопляшкой" или капустной похлебкой на селедочных головках и с вечерним рассказом одной из Шехеразад. Мы привыкли друг к другу и хорошо уживались вчетвером.

На пятнадцатый день после ареста, когда уже совсем стемнело, в камеру вошла надзирательница и сказала мне: "Собирайтесь с вещами. На свободу".

- Я быстро пригладила волосы, взяла сумочку, надела жакетку. И начала прощаться.
- Не забудьте же! крикнула Наталья Львовна. Мы все помнили на память адреса трех остальных.

Но не успела я собраться, как вошла другая надзирательница и предложила гражданке Канделаки тоже собраться на выход. И мы обе пожелали спокойной ночи остающимся, надеясь на их скорое освобождение, и пошли за латышками по узкой лестнице и длинным коридорам. Надо было пройти через комендатуру. Следователь держал в руках наши документы, взятые при обыске. Он сказал, что оставляет их пока у себя и выдаст нам временное удостоверение, а через неделю мы сможем обменять бумаги. И протянул бумажки с печатью тюрьмы, где были вписаны наши имена.

О. Чернова

## "Exodus 1947"

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

То, что я сейчас пишу, не является ни в коей степени "романом". Роман на тему "Exodus" был написан несколько лет тому назад Ирвингом Шоу и прошел как бестселер. Но это был только роман, т.е. вымысел, ничего общего, кроме названия, не имевший с действительностью. Действительная история "Exodus" была описана в книге Жака Дерожи "La loi du retour". Из этой книги можно было узнать, как развивалась и как кончилась история "Exodus 1947". Эту книгу я читал с волнением, и для меня стало ясном то, чего ни я, ни моя дочь не знали.

Для меня живы воспоминания об участии моей дочери в этом деле и о моем невольном участии "со стороны". Поэтому мне придется говорить не только о моей дочери, но и о себе, хотя это и неловко — но из песни слова не выкинешь...

Хочу раньше всего напомнить главные пункты этой "эпопеи". После того, как немецкие "лагеря уничтожения" были открыты, десятки тысяч несчастных узников, которые чудом уцелели (повторяю — десятки тысяч полуживых скелетов), стали мечтать о том, как попасть в Палестину, бывшую тогда под английским мандатом: одни — потому что им некуда было деться, другие — по идейным соображениям. Декларация Бальфура о создании для евреев национального очага была воспринята как обещание рая... Но англичане, не желая ссориться с арабами, впускали в Палестину по незначительным квотам. Тогда "Еврейское Агенство" занялось устройством нелегальных переездов в меру своих сил... Маленькие пароходики, груженные сотнями несчастных людей, отплывали из портов

Франции, Италии, Греции под флагом каких-нибудь южноамериканских республик и плыли по Средиземному морю, стараясь укрыться от английских военных судов, чтобы высадить свой человеческий груз на берегах обетованной земли. Это удавалось немногим и кончалось часто трагически: одни тонули, других английские суда вылавливали и потом отправляли людей на Кипр в английские лагеря.

Дочь моя Адинька, художница и студентка Сорбонны, ставшая убежденной сионисткой, вступила в скаутскую группу "Эклерёр израелит" и в некий памятный для меня день заявила: "Знаешь, так не может продолжаться. Я не могу, не имею права учиться и думать о себе, когда на свете происходит такая несправедливость. Я решила бросить университет и уехать в Палестину". "Я понимаю тебя, — сказал я. — Но как ты туда доберешься? Ведь англичане не пустят". "Я сделаю так, как другие, т.е. попытаюсь поехать нелегально". "Зачем нелегально, — ответил я. — Ведь у нас в Палестине есть тетя, у которой большие связи. Она достанет тебе визу у англичан". И тут моя дочь пристыдила меня. "Как ты можешь так говорить? Ты хочешь, чтобы я поехала туда на комфортабельном пароходе, с визой в кармане, в то время как столько несчастных теснятся на утлых пароходиках в ужасных гигиенических условиях и... попадают на Кипр или тонут... Нет, мы, молодые, мы должны им помочь"... Я замолчал — она была права...

Через несколько недель она уехала с группой молодых евреев в деревню Лярош, на юге Франции, где устроена была примерная ферма. Там молодые должны были учиться земледелию и ивриту и привыкать друг к другу, чтобы потом устроить в Палестине свой новый кибуц. В Лярош она скоро стала невестой одного очаровательного молодого сиониста и там была отпразднована их свадьба. Моя мать, сестра и я были на ней, и трудно забыть тот совершенно особенный "климат", царивший в этом обществе молодых, убежденных и горячих. Даже крестьяне соседней деревни участвовали в этом празднике, разукрасив телеги и коров венками и цветами, и "пели" еврейские песни и танцевали. Кстати, многие из них с уважением относились к этой группе. Иногда спрашивали: "Что вы здесь делаете? Ведь вы — студенты. Нужно ли вам заниматься нашим

тяжелым трудом?" И когда они слышали в ответ, что эта молодежь хочет стать полезной для будущего еврейского государства в Палестине, они только удивлялись: "Разве это возможно?" Их удивляла также чистота нравов этой горячей молодежи... Должен сказать, что пример этой группы заразил и католические круги, и на юге Франции было устроено несколько таких деревень-ферм для французской молодежи.

На другой день после свадьбы моей дочери в эту коммуну приехал некий "таинственный" человек с умными глазами. Он устроил собрание, произнес небольшую речь на иврите и... исчез. Позже я узнал, что это был член "Еврейского Агенства" и что он предупредил молодежь, что через два дня все должны собираться в путь. Помню, что, когда он ушел, наступила напряженная тишина. Все занялись прощальными письмами к родным, а мы попрощались и уехали в Виттель. Там мы получили от моей дочери коротенькое письмецо, в котором она сообщала, что уезжает с мужем в далекое путешествие — свадебное путешествие — и просит нас не волноваться, если долго от них не будет писем... Мы, конечно, поняли, в чем дело, и с этого дня жадно ловили газетные новости...

И вот в один, как говорится, "прекрасный день" я прочел небольшую заметку, сообщавшую, что английские военные суда захватили в Средиземном море пароход "Dt Wart", на котором было 4.500 еврейских эмигрантов, и что они направили его в один из южных городов Франции, где весь этот человеческий груз должен был быть высажен. Далее сообщалось, что высадят их насильно и что неизвестно еще, как к этому отнесется французское правительство. В другой раз сообщалось, нелегальный пароход был захвачен англичанами в открытом море, что они овладели им после битвы, в которой было немало раненых, что евреи защищались от абордажа чем могли бутылками, банками от консервов, что пароход был протаранен и уведен в Хайфу, где эмигрантов пересадили на три "Либерти Шипс", которые держат курс на один из средиземноморских портов Франции. Сообщалось также, что, когда английские военные суда окружили пароход, на нем был вывешен еврейский бело-голубой флаг со свездой Давида и что название "1) t Warf" было заменено на "Exodus 1947"! Это был настоящий вызов Англии... Как только я это прочел, для меня не осталось сомнения в том, что моя дочь с мужем и вся группа из Лярош на одном из этих пароходов, пленные и за решеткой. Французская пресса, возмущенная этим, писала даже о "плавучем Освенциме"...

Я не знал, чем все это может кончиться, и на всякий случай решил поехать в Марсель. Я получил от Альтмана, редактора "Franc Tircur", рекомендацию к Франсуа Арморэну, одному из виднейших, скажу даже, легендарных репортеров левой французской прессы. В Марселе я отыскал в отеле д'Арбуа Арморэна. Он в окруженни десятка репортеров других газет видимо, его считали главным. Я рассказал ему, что думаю, что моя дочь с мужем на одном из "Либерти Шипс". Он внимательно выслушал, спросил ее имя и фамилию и попросил показать ее фотографическую карточку. "Ada Benichou-Loutsky", — два раза повторил он, внимательно глядя на фотографию. А потом сказал: "Неизвестно еще, к какому порту пристанет этот "Либерти". Я уже летал на гидроплане, отыскивая его, но пока не нашел. Все-таки думаю, что Порт-дэ-Бук самый вероятный. Поезжайте туда и остановитесь в "Бюро-таба", я там дам вам знать о себе". На следующий день я уже был в Порт-дэ-Бук и увидел на горизонте мрачные силуэты трех "Либерти". Маленький порт представлял собой необыкновенное зрелише. Сотни членов разных еврейских организаций, корреспонденты всех газет мира и родители или родственники тех, кто на кораблях, приехали туда, как и я, на "всякий случай". Среди всей этой толпы выделялись колониальный шлем Аббе Глузберга и энергичная фигура Блюмеля. Никто не знал толком, что будет дальше. Я переходил от одной группы к другой, стараясь что-нибудь узнать. От Аббе Глузберга и Блюмеля я узнал, что они ведут переговоры с французским правительством Рамадье и что Франция заявила, что насильного высаживания людей англичанами на берег она не допустит, но что даст право убежища и даже работу тем, кто добровольно захочет высадиться. Должен сказать, что французское правительство было в затруднительном положении. С одной стороны, правительство Бевина настаивало на принудительной высадке, и неудобно было Франции ссориться с ее союзницей-Англией. А с другой — само французское правительство Рамадье, поддержанное в этом общественным мнением, никак не могло согласиться на требование англичан. Поэтому между обеими державами происхолил двусмысленный обмен телеграммами, время шло, а пока что на "Либерти Шипс" люди были в очень тяжелом положении: не хватало провианта, было много больных дизентерией, не хватало даже питьевой воды, а жара была такая, что на железных плитах пароходов невозможно было стоять.

корреспондентам Благодаря доктору, И поднимались на эти пловучие тюрьмы, выяснилось, что плененные англичанами евреи находились в очень тяжелых условиях. Надо вспомнить, что они пережили сначала продолжительное плавание к Палестине, потом битву с английскими кораблями и теперь совершали обратный путь за решеткой плавучих тюрем. Французы стали посылать на пароходы баржи с провиантом и медикаментами, докторов и медсестер. Все ожидали какой-нибудь развязки... Потом разнесся слух, что беженцы решили сдаться и высадиться добровольно, и все ожидали прибытия катеров со сдавшимися. Но слух был Действительно, два-три катера перевезли на берег около пятидесяти человек, но всё это были старые и больные люди или беременные женщины, которые физически не могли больше оставаться на пароходах. Я видел, как они высаживались и шли, опустив голову и плача... Больше всех волновались родители тех, кто оставался на пароходах, в особенности, молодых. Некоторые из них требовали, чтобы высадились и даже хотели, чтобы за ними поехал комиссар полиции. Эти люди возмущали меня. Я тоже беспокоился за моих, не зная, в каком они физическом и душевном состоянии, но верил, что они сами примут решение, согласное их совести. открыто говорил представителям организаций и, В сущности, вел какую-то пропаганду сопротивление, чем невольно вызвал к себе симпатию еврейских главарей, которые вначале тоже смотрели на меня, как на одного из тех родителей, которые капитулировали. Но я все еще не был уверен в том, что мои дети были на одном из трех "Либерти".

От Арморэна не было ни слуха, ни духа. А я все продолжал

жить в "Бюро-Таба", где спал просто на столе, подложив под голову дорожный мешок. И вдруг в какой-то вечер дверь кафе распахнулась и в нее не вошел, а влетел Арморэн. Он увидел меня и сразу сказал: "Я видел вашу дочь, она здорова и находится на "Empire Ravel". И он рассказал мне, как это произошло. Он посетил все три "Либерти" под блузой доктора с красным крестом. "И вот, — говорит он, — я поднялся на "Empire Ravel" и только стал ногой на палубу, как увидел за решеткой целую группу молодых и — впереди всех — вашу дочь. Английский часовой с ружьем не обратил внимания на "доктора", и я успел шепнуть вашей дочери: "Вы Ada Benichou-Loutsky?" — "Да, доктор"! — крикнула она. "Тише, тише, я такой же доктор, как и вы. Я — репортер "Франс-Суар". Хочу вам только передать привет от вашего отца, который на берегу и всей душой с вами, как и вся Франция, которая поддерживает вас". Не трудно себе представить, как обрадовалась моя дочь моему привету и как я обрадовался словам Арморэна.

Прошло еще несколько дней. За это время я познакомился с одной медсестрой из ОЗЕ, которая посещала пароходы и возила туда лекарства. Я послал с ней письмо дочери. Я писал: "Вы все герои. Весь мир преклоняется перед вами. Я горжусь вами, но никакого совета не имею права вам дать, ибо знаю, что вы сами решите по чистой совести, что вам делать". К письму я прибавил несколько зубных щеток, кусок мыла и карандаш. На следующий день медсестра дала мне ответ от моей дочери: "Не мы герои, а ты, — писала она, — а наш долг нам ясен". Письмо было написано карандашом на куске бумаги от маргарина. Я с трудом прочел его и храню, как реликвию. А волнения и ожидание на берегу продолжались...

Однажды один из главарей еврейских организаций подошел ко мне и сказал: "Я знаю, как вы относитесь ко всему происходящему, что вы не из тех родителей, которые требуют капитуляции, вы — сионист?" — "Нет, — ответил я. — Но сейчас я всей душой с сионизмом". "Гоу, toy, — сказал он. — Не можете ли вы оказать нам услугу?". И он указал нам одну пожилую чету, явно чем-то возбужденную. "Видите ли, эти люди требуют, чтобы их дочь (17 лет), которая на "Етреге Ravel", спустилась на берег, и даже хотять обратиться за помощью к французской

полиции... Попробуйте поговорить с ними и урезонить их". "Отлично", — ответил я. Я подошел к этой чете и завел с ними невинный разговор, а потом пригласил их позавтракать со мной. За завтраком они не переставали стонать и жаловаться... "Вы сионисты?" — спросил я. "О, да! Мы еще до рождения нашей дочери были сионистами". "А ваша дочь — единственная у вас или у вас есть еще дети?". "Нет, у нас еще двое детей". "Послушайте, — сказал я, — я никогда не состоял и не состою ни в одной сионистской организации. И дочь моя — единственная, другой у меня нет. Она на том же корабле, где и ваша дочь. И я не считаю себя в праве требовать, чтобы она прекратила неравную борьбу с англичанами. Как же вы можете не гордиться вашей дочерью и требовать от нее не исполнить то, что для нее чести?" Эти слова произвели на них большое впечатление, они разрыдались, им стало стыдно малодушия, а потом, успокоившись, сказали, что прав я, и прекратили свои пораженческие стенания...

А три мрачных парохода продолжали стоять на рейде со всем многочисленным и несчастным грузом людей... Еврейские главари и члены Агана объезжали пароходы на катерах и в рупор кричали тем, кто теснился за решеткой: "Не сдавайтесь!" Мне очень хотелось нанять моторную лодку и подъехать как можно ближе к "Empire Ravel", несмотря на запрещение приближаться к нему ближе, чем на сто метров. Я стал бродить по берегу, обращаясь ко всем многочисленным рыбакам, у которых были моторные лодки. Но никто не соглашался на этот риск, ибо это грозило лишением права на рыболовство — это было одно из требований англичан. И я уже потерял надежду осуществить мое желание... Не помню, каким образом я вдруг очутился на маленьком мостике, перекинутом через один из рукавов моря... Было невероятно жарко. Я накрыл голову носовым платком, чтобы укрыться от беспощадного солнца. И вдруг порыв ветра сорвал платок и понес куда-то... И я увилел, что он упал возле одной моторной лодки, около которой стоял рыбак... "Божий знак", - подумал я и поспешно подбежал к рыбаку. Это был старый грек, весь насквозь прожаренный греку папиросу и стал Я поднял платок, дал уговаривать его, обещая хорошу плату. "Боже упаси!

воскликнул он. — Знаете ли вы, чем я рискую, а у меня семья." Тогда я рассказал ему, что на одном из кораблей моя единственная дочь и что ни она, и никто из узников не хотят сдаться и спуститься, как этого требуют англичане, и что эти люди страдают из-за желания попасть в Обетованную Землю. Слово "англичане" подействовало на него. "Ах. мерзавцы! — воскликнул он, — Что они делают с моей Грецией, как нам отплатить им за это? Слушайте, раз это чтобы досадить англичанам, то я пойду на риск.

Садитесь в лодку".

подождал, пока двое полицейских, бродившие берегу, повернулись спиной, быстро прыгнул в лодку, залез в маленький ящик, где стоял мотор, и прижался к нему всем телом. Мотор был пущен в ход, вся лодка затрещала, и все удары поршня били меня прямо в сердце... Когда мы отъехали на приличное расстояние от берега, грек сказал мне: "Можете вылезать". Я выкарабкался из ящика и стал во всеь рост, одной рукой держась за мачту, а другой размахивая платком и что-то крича. Лодку сильно качало, я качался вместе с ней и старался не упасть... И вот мы очутились на расстоянии ста метров от парохода. Я смутно видел, как за решеткой какие-то люди танцевали, прыгали, махали руками... Больше всех прыгала какаято женская фигурка в розовой блузке... "Смотри, как она прыгает, — не твоя ли это дочь?". (Позже я узнал, что это была она, что она узнала меня по лысине, блестевшей на солнце, и что вся группа из Лярош приветствовала меня). Никогда не забуду этой памятной нелегальной поездки! Я полез обратно в ящик, и мы благополучно вернулись на берег. Думаю, что полицейские видели, как я вылез из лодки, но сделали вид, что ничего не они, как почти вся французская сочувствовали евреям...

Через несколько дней один из сионистских главарей сказал мне: "Хотите влезть на пароход, где ваша дочь?". "Конечно!" — ответил я. "Умеете ли вы говорить на идиш?". "Я кое-что понимаю, но говорить могу лишь постольку-поскольку. Плохо знаю немецкий язык." "Ну, хорошо, попробуем"... И он сказал мне несколько слов на идиш, а я ответил ему на таком "волапуке", после которого он только махнул рукой и сказал:

"Нет, это не годится, вас там примут за английского шпиона... Лучше я вам предложу другой план... Каждый день баржи, груженые хлебом и картофелем, везут проивант на "Либерти". Хотите поехать как грузчик?". Мог ли я отказаться? Мы условились, что я переоденусь грузчиком и приду на утро грузить баржи мешками с провиантом... С утра я провел весь день полуголым на берегу, стараясь покрыть загаром мое бледное "интеллигентское" тело. Потом, одетый подходящим оборванцем, я стал перетаскивать на баржу ящики, перепачканные грязью, и двухпудовые мешки с провиантом. Затем уселся с другими грузчиками в баржу. Рядом со мной сидел какой-то господин в штатском и как будто не обращал никакого внимания на происходящее. Я побаивался его, ибо знал, что на барже должен быть комиссар полиции и что я ничем не должен выдавать себя... И вот мы уже около "Empire Ravel", и какие-то шаткие сходни из веревок и досок уже ждут грузчиков... Я поднял глаза и увидел на борту парохода мою дочь с мужем и всю группу из Лярош. Все они были смертельно бледны. Они увидели меня и молчали. Молчал и я, ибо таков был наказ... И вдруг мой сосед-француз обратился ко мне: "Ты видишь твою дочь?" "Да, вижу", — ответил я, смущенный тем, что он меня уже разоблачил. — "Ну, и что же, чего ж ты ждешь, чтоб с ней поговорить? Иди туда, черт тебя возьми!" Тогда я вскочил с места и крикнул дочери по французски: — "Ну как, ты довольна твоим свадебным путешествием?!" — "Да, папа! — ответила она, — и если бы нужно было всё начать снова, я начала бы!" — и вся группа из Лярош устроила мне нечто вроде овации. Мне дали небольшой деревянный ящик с красным крестом с медикаментами и сказали: "Подымись на борт и передай им". И я стал карабкаться по этим шатким сходням, стараясь не свалиться в море. Я уже поставил одну ногу на палубу и передал ящик в чьито руки. Английский часовой не заметил, как моя дочь вышла изза решетки и была уже в двух шагах от меня. Она сияла от радости и что-то мне говорила... Но часовой вдруг обернулся и заставил ее уйти за решетку. Баржа вернулась на берег. На этом, собственно говоря, закончилось мое "участие" в деле "Exodus". Но я продолжал оставаться в Порт-дэ-Бук в надежде узнать, какое будет продолжение этой эпопеи... Разные слухи носились.

Одни думали, что плавучие тюрьмы высадят людей на Кипре. Другие говорили о Кении... Но потом выяснилось, что англичане со свойственной им деликатностью решили высадить всех в Гамбурге, на немецкой земле, обильно политой еврейской кровью. И это вызвало, конечно, всеобщее возмущение. Через несколько дней все три "Либерти" покинули Порт-дэ-Бук и действительно взяли курс на Гамбург... Я видел, как их мрачные силуэты постепенно исчезали среди лазурного дня... Я послал им прощальный привет и покинул Порт-дэ-Бук. А позже я узнал, что в Гамбурге все население трех тюрем было отправлено в английские лагеря, где все оставались пять месяцев. Через пять месяцев сотни людей стали убегать из лагерей с помощью американцев. И мою дочь мужем, предупрежденный c еврейскими организациями, я встретил на вокзале в Страсбурге и увез их в Париж. Там они несколько дней отдохнули и потом... предприняли новую попытку добраться до Палестины... Но это уже другая история. Скажу только, что на этот раз они благополучно добрались до Обетованной Земли ровно за три месяца до провозглашения еврейского государства. Хочу еще добавить историю высадки в Гамбурге, как мне это потом рассказала дочь... На всех трех "Либерти" были члены тайной еврейской Они организовали сопротивление Агана. приходилось вытаскивать их силой, Английским солдатам происходили драки и насилие. Два парохода в этом отличились, а с третьего люди сходили почему-то сами, спокойно и даже несколько поспешно, что вызвало подозрение англичан. Они обыскали весь пароход и... нашли там бомбу, которая была перенесена на него по частям, когда он был в Порт-дэ-Бук. Бомба была с часовым механизмом, но не было уверенности в точности его установки...

С. Луцкий

## "Чевенгур" и "Новый Град"

По мне, "Чевенгур" Андрея Платонова одна из самых важных книг для понимания большевицкой революции. Попала она мне в руки случайно. Все хвалили, но никто не мог ясно сказать, о чём она. На обложке имковского издания голова коня и голова солдата. Не определённо подумалось: верно что-нибудь о конармии. Тем больше с каждой страницей возрастало моё удивление. Я такого не ждал.

Андрей Платонов изображает большевицкую революцию как великую и в то же время безумную, страшную и жалкую эсхатологическую драму. В "Чевенгуре" все апокалиптики. Чевенгурские "буржуи" ждут второго пришествия:

"Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и сокращённые служащие и шептались про лето Господне, про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой освящённой страданиями земли".

Для чевенгурских же коммунистов это ожидание второго пришествия — предрассудок, контрреволюция. Но вот что удивительно, они сами ждут свершения какого-то небывалого, космического события, которое всё преобразит. После того как капиталисты и мелкая буржуазия будут повсеместно истреблены, "социализм придёт моментально и всё покроет. Ещё ничего не успеет родиться, как хорошо настанет". Новое небо и новая земля настанут: "В Дванове уже сложилось беспорочное убеждение, что до революции и небо и все пространства были иными — не такими милыми". И времени, как клялся Ангел, уже не будет:

- "А у нас всему конец.
- Чему же конец-то? недоверчиво спращивал Гопнер.
- Да всей мировой истории конец на что она нам нужна". Другому герою повести при чтении статьи Ленина о

кооперации "открылась столбовая дорога святости, ведущая в Божье государство житейского довольства и содружества". Когда он приходит в Чевенгур искать кооперацию, председатель чевенгурского ревкома Чепурный ему говорит: "история уже кончилась".

Дванов догадывается почему Чепурный и другие чевенгурские большевики так хотят коммунизма: "он есть конец истории, конец времени".

Что ждали второго пришествия чевенгурские "буржуи" понятно. Они жили "ради Бога", верили по-церковному и видели в ужасах революции несомненные признаки кончины века. Но откуда эсхатологические чаянья у чевенгурских коммунистов? Ведь они верили не в парусию, а в учение Маркса и Ленина.

Думаю, именно в этой вере в истину марксизма-ленинизма и нужно искать объяснение апокалиптического вдохновения большевицкой революции.

Не знаю, думал ли об этом сам Платонов? Слесарь, красноодарённый армеец, писатель ясновиденьем художника он в аллегорической притче рассказал о том, чему был свидетелем. "Чевенгур" — трагическая эпопея соблазнённого и обманутого Лениным русского люмпен-пролетариата. "босоты", голытьбы. В изображении Платонова эта эпопея настолько напоминает эгалитарно-коммунистические мессианские движения европейского средневековья, что с удивлением чувствуешь: тут не только сходство, а прямое, хотя и скрытое. подземное преемство. Те иностранные и русские толкователи, которым непременно хочется видеть в большевицкой революции чисто русское, невозможное на Западе явление, просто не помнят европейскую историю. Тому, кто не читал её забытые кровавые преданья, не понять откуда пошли тоталитарные движения нашего времени. Конечно, как всякое историческое событие и большевицкая И нашионал-социалистическая революции, говоря марксистским языком, происходили каждая в своём "историческом контексте" и у каждой из них была своя "специфика". Кто с этим спорит? Но в последнем, самом важном счёте это были новые, ещё небывалой силы взрывы революционного хилиазма, который в прошлом столько раз сотрясал устои европейского общества. Тот, кто не хочет этого видеть, делает ошибку.

Христиане унаследовали все варианты ветхозаветных апокалиптических пророчеств: и самые воинственные — поражение мечём всех угнетателей избранного народа, и самые светлые и мирные — спасение всех народов, уничтожение смерти навеки, "большая радость" для всех страждущих и бедных.

Ожидание нового Иерусалима стало закваской всей христианской цивилизации: "И отрёт Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже: ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет".

В самый разгар восстания Маккавеев был обнародован рассказ о сне пророка Даниила: после совершенного истребления "зверя четвёртого", — т.е. эллинистического царства Селивкидов, — "Царство и величие царств всей поднебесной дано будет святому народу Всевышнего, Которого царство — царство вечное и все властители будут служить и повиноваться ему".

Сон Даниила заворожил на века всех угнетённых и обездоленных. Но только святой избранный народ Божий теперь уже не евреи, а Новый Израиль, гонимые христиане. В награду за все муки они наследуют мессианский пир и станут бессмертными.

Награду за все страдания ждут и герои "Чевенгура". Они верят, что при коммунизме наступит "окончательное счастье жизни".

"Чепурный отстал от Жеева и прилёг в уютной траве чевенгурской непроезжей улицы. Он знал, что Ленин сейчас думает о чевенгурских большевиках... Ленин наверное пишет Чепурному письмо... чтобы Чепурный со всеми товарищами ожидал к себе в коммунизм его, Ленина, в гости, дабы обнять в Чевенгуре всех мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни".

Рождённые при коммунизме, может быть, даже не будут умирать. Когда у пришедшей откуда-то нишенки умирает ребенок, Копёнкин догадывается, что в Чевенгуре "нет никакого коммунизма — женщина только принесла ребёнка, а он умер". Копёнкина это поразило: "какой же это коммунизм... От него ребёнок ни разу не мог вздохнуть, при нём человек явился и

умер. Тут зараза, а не коммунизм... Отчего он умер? ведь он после революции родился?"

Грядущее царство святых представлялось первым христианам очень по разному: то как надмирное, небесное, то как очень даже земное. В первом веке фригиец Папиас, может быть, действительно "сидевший у ног Апостола Иоанна" предсказывает вслед за некоторыми еврейскими апокалипсисами, что тогда наступят дни сказочного изобилия: из одного пшеничного семя будет произрастать десять тысяч колосьев, в каждом по десять тысяч зёрен, из которых каждое даст десять мер наилучшей муки. И так все другие злаки и плоды земные. Работать больше будет не нужно.

Сказочное изобилие снится и героям "Чевенгура". Уже в самом начале повести появляется "вождь", который рассказывает о неправдоподобно богатой слободе, где мужики едят кур и пшеничные пышки. "В избах тепло, как в бане. — обнадёживал вождь. — Бараньего жиру наешься и лежи себе, спи! Когда я там был, я каждое утро выпивал по жбану квашёнки, оттого у меня ни одного глиста теперь внутри нету. А в обеде борщом распаришься, потом как почнёшь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы, — ешь до тех пор, пока в скульях судорога не пойдёт. А пища уж столбом до самой глотки стоит. Ну, возьмёшь сала в ложку, замажешь её, чтобы она наружу не показалась, а потом сразу спать хочешь. Добро!"

Другой герой "Чевенгура" пишет углем на стене:

"...Так брось пахать и сеять, жать,

Пускай вся почва родит самосевом.

А ты живи и веселись —

Не дважды к ряду происходит жизнь,

Со всей коммуною святой за руки честные возьмись

И громко грянь на ухи всем:

Довольно грустно бедовать,

Пора нам всем великолепно жировать.

Долой земные бедные труды,

Земля задаром даст нам пропитанье.

Начиная с третьего века церковь пытается с хилиазмом бороться. В пятом веке калабрийский затворник Иоахим Флорский предсказывает наступление в 1260 году века Третьего

Завета, века любви, равенства и свободы: тогда больше не будет никакого духовенства и никаких правителей, никому не придётся работать, все станут жить в добровольной бедности, ни у кого никакой собственности.

Церковь, которая столько веков боролась с хилиазмом, эту новую его форму не только не осудила, но трое пап уговаривали Иоахима записывать его откровения.

Учение Иоахима оказало огромное и длительное влияние на развитие европейской мысли. Средневековый хилиазм не боялся антиномий. В проповедях многочисленных последователей Иоахима похвала бедности, как состоянию благодатному, соединялась с обетованием дарового изобилия и воскресшими баснями древних о золотом веке в прошлом, когда все были будто бы равны, никто не работал и не было никаких правителей.

Вспомним Вторую часть "Романа розы", этого одного из самых знаменитых средневековых "бест-селлеров":

"Как свидетельствуют предания древних во времена наших первых отцов и матерей никто не возделывал землю, она сама, какой сотворил её Бог, приносила каждому всё нужное для его пропитания и короли и князья ещё не грабили преступно чужое добро. Все были равны и ни у кого не было никакой собственности".

Не работать — главная идея и чевенгурских большевиков. "В Чевенгуре... жители давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчётам, которым жертвуется живущее, лишь однажды, товарищеское тело человека"; "в Чевенгуре человек не трудится и не бегает, а все налоги и повинности несёт солнце"; "Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладосчто труд способствует потому происхождению имущества, а имущество — угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки. и всякое их увеличение — за счёт нарочной людской работы идёт в костёр классовой войны ибо создаются лишние вредные предметы"; "Чепурный, наблюдая заросшую степь, говорил, что она тоже теперь есть интернационал злаков и цветов, отчего беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатации. Благодоря этому, чевенгурцы видели, что природа отказалась угнетать человека трудом и сама дарит неимушему едоку всё питательное и необходимое.."; "..здесь солнечная система самостоятельно будет давать силу жизни коммунизму, лишь бы отсутствовал капитализм, чтобы сверх солнечных продуктов им оставалась ненормальная прибавка"; "Над нами солнце горит, товарищ Гопнер, — тихим голосом сообщил Чепурный. — Раньше эксплуатация своей тенью его загораживала, а у нас нет, и солнце трудится".

Неизвестно даже "настанет ли зима при коммунизме или всегда будет летнее тепло,поскольку солнце взошло в первый день коммунизма и вся природа потому на стороне Чевенгура".

Проф. Михаил Геллер в своем предисловии к "Чевенгуру" среди главных тем повести особенно отмечает темы отцовства и безотцовства. Образ отца мы находим и в идеологии почти всех революционных мессианских движений средневековья: Император последних дней. Это то Карл Великий, то по очереди Людовики 7-ый, 8-ый и 9-ый, то Фридрих 2-ой и всякие Лжефридрихи и самозванные харизматические вожди. А у чевенгурских большевиков отцы — Карл Маркс и Ленин. Свои отцы у пролетариев "потеряны".

- "— Обожди! сказал Чепурный Прокофию и лично обратился к пешим беднякам, стоявшим массой вокруг чевенгурцев.
- " Товарищи... Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь: у всяких братьев есть отец, а многие мы с начала жизни определённая безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи..."

Безотцовщина и та голытьба, что шла в средние века за пророками анархо-коммунистического хилиазма: батраки, безработные ткачи и ремесленники, подёнщики, бедные не шибко грамотные священники, "idiotae et simplices", белые монахи, уволенные наёмные солдаты, бродяги, разбойники, воры, проститутки, голь перекатная. Говоря по-теперешнему, люмпенпролетариат, и полуинтеллигенция, деклассированные, вырванные с корнем, "быстроживущие" люди: средняя продолжительность жизни в те времена вообще-то не превышала

30-ти лет, а в торгово-промышленных городах и того меньше — население в них росло главным образом благодаря постоянному пополнению прибылыми из голодной деревни.

Сходство между героями "Чевенгура" и средневековыми хилиастами полное, вплоть до лозунга "грабь награбленное". Лозунг этот был придуман задолго до большевиков. В 14-м веке, в Кельне проповедник мессианского братства Свободного Духа Иоанн Брюнский учит: всё, что господа и богатеи считают своим, они добыли разбоем, бедняки поэтому имеют право их грабить, вообше имеют право брать у всех всё, что им понравится и не платить в харчевнях.

Так и чевенгурские коммунисты. Они убеждённо грабят буржуев, Чепурный уезжает с постоялого двора не заплатив за постой. У него "денег не было и быть не могло — в Чевенгуре не имелось бюджета". И так же как для средновековых апокалиптиков евреи, басурмане, феодальные владыки, епископы, купцы и ростовшики были не люди, а демонические слуги Антихриста. плевелы, которые нужно собрать и сжечь, так и для чевенгурских коммунистов — не люди буржуи и полубуржуи. "Нет и нет, — отвергал Пиюса, — вы теперь не люди, и природа вся переменилась..."

Это самая страшная черта сходства между Чевенгуром и средневековым хилиазмом: уничтожение людей, объявленных не людьми.

Уже в первые века хилиастические мечтания начинают соединяться с жаждой кровавого отомшения всем гонителям христиан.

С первым крестовым походом нищих хилиазм оборачивается взрывчатым социальным мифом. Стихийные бедствия, глады, страшные болезни, чахотка, проказа, чума, нашествия свирепых язычников, борьба с сарацинами и тяжесть феодального строя, с бесконечными войнами, поборами, безжалостностью и несправедливостью, всё способствовало распространению среди угнетённых людей сознания, что только они одни — настоящие святой избранный Божий, христиане, народ призванный истребить мечём нечестивых слуг Антихриста: всех нехристей и лжехристиан, всех "больших", знатных и богатых. Тогда придёт тысячелетнее царство, всё станет общим, все будут равны и никому не придётся больше работать.

Особенно 14-й век ознаменовался грозным мессианских коммунистических движений. То была смутная, трагическая пора Запада. Век развития: поворот к номинализму, расцвет мистики, первые шаги гуманизма, рост коммерческого капитализма, прогресс техники и математики, — дорога открыта для экспериментальной науки, — но и век Пляски смерти, скорби, великого вопля, шатания, перелома, тревоги. После экспансии 13-го века начинается спад. Неурожай за неурожаем, и, как писали в старину, глад крепок и скудета велия при всём. Сопротивляемость болезням слабеет. Чёрная смерть губит людей. Чума возвращается ещё много раз. К концу века вымерла Европы. Строительство соборов половина населения остановлено. Движение самобичующих возобновляется с невичаще проникаясь еретическим данным размахом, всё революционным духом. До половины 16-го века полыхают жакерии и голодные бунты "синих ногтей".

потрясённого феодального общества волнения становились особенно опасными, когда их возглавля-"пророки" анархо-коммунистического хилиазма. наиболее знаменитых: "бешенный кентский поп" Джон Болл (с оговорками), возглавитель крайних таборитов — "пикарцев" и "адамитов" — Мартинек Хаузка, излюбленный герой Маркса и Энгельса Фома Мюнцер, диктаторы Нового Иерусалима в Мюнстере Иоанн Матисс и Иоанн Лейденский. В их проповеди мечтания о наступлении Третьего Завета, о новом золотом веке и о восстановлении рая на земле срастаются с обетованием меспира в один революционный разрушительный социальный миф. Когда наступит тысячелетнее царство, бедные "сияя подобно солнцу" заживут в мире и братской любви, моего и твоего больше не будет, а всё общее, болезни и смерть истребятся навеки. Но прежде в последней апокалиптической битве бедные должны очистить землю от слуг Антихриста, извести всех угнетателей и кровопийцев, всех господ и богатых, говоря по-марксистски, все враждебные классы. Несчётное число мужчин и женщин были перебиты, обезглавлены, сожжены, четвертованы. Правда, не меньше зверствовали посылаемые разными князьями и владыками на усмирение еретиков и подлого народа. По числу жертв террор карателей обычно даже превосходил террор революционных "ангелов мщения", но только эти последние видели в истреблении мечём антихристового воинства необходимое предварительное условие для прихода мессианского царства.

Так думают и чевенгурские большевики: коммунизм наступит только тогда когда будет окончательно ликвидирована буржуазия. Чевенгур — русский Мюнстер, Новый Иерусалим.

"Ишь ты, — где у него сосёт! — догадался Чепурный. — Объявить бы их мелкими помещиками, напустить босоту и ликвидировать в течение суток всю подворную буржуазную заразу!" В другом месте, тот же Чепурный: "...в первую очередь необходимо ликвидировать плоть нетрудовых элементов". Так же думает и Копёнкин: "моё дело устранять враждебные силы. Когда всё устраню — тогда оно само получится, что надо". Но и после ликвидации буржуев Копёнкин не чувствует наступления в Чевенгуре коммунизма и счастья. "Грустно затосковал" и Чепурный. Он обращается "за умом" к Карлу Марксу: "громадная книга, в ней всё написано..." Велит Прокофию читать Маркса вслух. Послушав говорит:

- " Формулируй, Прошь ...
- "Прокофий надулся своим умом и сформулировал просто:
- " Я полагаю, товарищ Чепурный, одно ...
- " Ты не полагай, ты давай мне резолюцию о ликвидации класса остаточной сволочи.
- " Я полагаю, рассудочно округлил Прокофий, одно: раз у Карла Маркса не сказано про остаточные классы, то их и быть не может.
- " А они есть, выйди на улицу: либо вдова, либо приказчик, либо сокращённый начальник пролетариата... Как же быть, скажи пожалуйста!
- " А я полагаю, поскольку их быть по Карлу Марксу не может, постолько им жить и не должно".

Чепурный принимает решение изгнать последних полубуржуев из Чевенгура навечно. "Теперь ему стало хорошо: класс остаточной сволочи будет выведен за черту уезда, а в Чевенгуре наступит коммунизм, потому что больше нечему быть".

Изгнанным некуда идти. Они остановились табором

недалеко от города. Их тогда расстреливают из пулемёта. В Чевенгуре остаётся всего 11 жителей. Но Копёнкин всё не может уняться.

"Ночами Копёнкин терял терпение — тьма и беззащитный сон людей увлекали его произвести глубокую разведку в главное буржуазное государство, потому что и над тем государством была тьма, а капиталисты лежали голыми и бессознательными, — тут бы их и можно было кончить, а к рассвету объявить коммунизм".

И так: всё что делает чевенгурских большевиков наследниками средневекового революционного хилиазма, они вычитали у Маркса. Это обязывает к двум выводам. Первый: вопреки распространенному мнению объяснение характера большевицкой революции нужно искать не столько в русской истории, сколько в учении Маркса. Второй вывод: марксизм, — я, впрочем, уже об этом говорил, — современная метаморфоза средневековых коммунистических мессианских движений на Западе.

Мне возразят: позвольте, да ведь движения эти начали затухать уже ко второй половине 16-го века и что общего между бреднями средневековых пророков анархо-эгалитарного миллениума и марксистским "научным" анализом диалектического развития экономической и социальной жизни. Малограмотные чевенгурские большевики просто неправильно Маркса поняли. И в самом деле: большинство из них Маркса даже не читали, только слышали "кое-что на митинге". И всё же смею думать, именно они поняли первооснову марксизма правильнее, чем все премудрые разъяснители его "научности". И во всём мире миллионы людей поняли марксизм по-чевенгурски. Не будь Чевенгура, Маркс упоминался бы теперь только в учебниках политической экономии.

Революционный хилиазм не кончился с Фомой Мюнцером и Новым Иерусалимом Иоанна Лейденского. Он вдохновлял крайне левые потоки всех революций 17, 18, 19, и 20 веков, менялся только язык, на каком он выражался, но суть оставалась всё той же.

Века разума, пришедшие на смену векам веры, вовсе не были более разумными. Разум, то-есть самосознание и способность думать при помощи абстрактных символов, никогда ещё в жизни

людей не торжествовал. Современные науки о человеке приходят к выводу, который давно уже напрашивался: человек, homo sapiens вместе с тем и homo demens. Его отличает от животных не только разум, но и безумне. Достаточно взять в руки газету или открыть радио, чтобы в этом убедиться. романтический испуг перед рационализмом мне преувеличенным. Люди не стали похожими на Гуиннгмов, встреченных Гулливером мудрых и добродетельных лошадей, поведение которых определялось не страстями, а исключительно доводами рассудка.

Не стали похожими на Гуиннгмов даже "философы" 18-го века. Вопреки их пылкому рационализму, они были продолжателями средневекового хилиазма. Европейское общество слишком долго жило ожиданием нового неба и новой земли, чтобы удовлетвориться идеалом мудрости и гражданских древних. В иудео-христианской цивилизации возвращения был навсегда вечного вытеснен Нового Иерусалима. Так же, как в средневековом хилиазме, в идеологии французской революции сталкивались два разных, два представления Царстве: противоречивых 0 провозглашению евангельского в своем происхождении идеала свободы, равенства и братства, другое к истреблению "врагов народа", к борьбе с "гидрой", к "святой" гильотине, к диктатуре революционному империализму. Но якобинцев. полного преображения превратило французской революции в своего рода новую мировую религию. марксизм. Его сделали опиумом многотомные исследования экономических социальных условий в капиталистических странах сто лет тому назад, а всё та же, только замаскированная видимостью научности, мессианская вера, которая вдохновляла эгалитарно-коммунистические движения средневековья.

Словарь для перевода с языка революционного хилиазмана язык марксизма составить нетрудно. Это не раз уже делалось. Мессия — Маркс. Остальные протагонисты эсхатологической драмы всё те же. Господа, попы, купцы, промышленники попрежнему воплощение сил зла, только теперь они называются не слугами Антихриста, а буржуями и лакеями капитализма.

Капитализм — новый Вавилон. Он должен быть разрушен, сметён с лица земли. Это сделают бедняки, новый избранный по-марксистски пролетарии, рабочий Диалектически пролетариат — отрицание буржуазии. Что это значит? Ведь дело тут идёт не о головной диалектике, а о диалектике социальной жизни. Отрицание буржуазии диалектике не может значить ничего другого, как ликвидацию буржуев и полубуржуев, уничтожение их в застенках органов или в лагерях медленной смерти Архипелага Гулаг. Сталинщина не была поэтому чем-то случайным. Все попытки объяснить её особыми историческими условиями, или тем, что у Сталина был подозрительный и жестокий характер, или тем, что русские прирождённые рабы и палачи — несостоятельны. Сколько бы нас не уверяли, что Маркс был в сущности большой либерал, внутренняя логика марксизма непременно ведёт к массовому террору. Мировая революция — коммунистический Армагеддон. Новые отношения между людьми сложатся только после того, как в "последнем и решительном" бою будут окончательно враждебных добиты остатки классов, тогда эксплуатация человека человеком, И никакого отчуждения больше не будет, и даже никто больше не будет совершать антисоциальные поступки, разве только психи (предопределение специальных психбольниц).

И так: под наукообразной облицовкой структура марксизма воспроизводит архетип средневекового революционного хилиазма. Но это там, где коммунисты ещё не захватили власть. В странах же, где у них вся власть, марксизм перерождается в нечто прямо противоположное и повторяет уже не средневековые анархо-эгалитарные коммунистические движения, а феодальную реакцию на эти движения.

Для отвода опасности социальной революции правящие классы феодального общества хотели заморозить его навечно. Они пытались остановить историю, остановить ход времени. Феодальная иерархия — владетельная знать, клерикальная "техноструктура", подлый народ — была объявлена установленной самим Богом по образу небесной иерархии серафимов, херувимов, архангелов и ангелов, и поэтому такой же окончательной, вечной. Всякая попытка её изменить — греховна

и преступна, посягательство на небесный порядок. Всякий прогресс: социальный, научный, технический — от дьявола. Клервосский монах, автор гимна освободительному машинизму — редкое исключение. Восход промышленной и торговой буржуазии — дело демонических сил. Спаситель рыцарь Ивен освобождает 300 порабощённых и голодных дев-прядильщиц. Посланник Бога, защитник куртуазного мира от натиска алчных слуг Антихриста, рыцарь осиян славой почти уже ангельского чина. Рыцарство — Божье воинство. Галаад уподобляется Христу.

Французская революция смела последние пережитки феодализма. Но став новым правящим классом, буржуазия сама прониклась охранным духом. Гизо увидел в триумфе буржуазии в 19-м веке завершение исторической эволюции. Теперь уже не буржуа воплощение добродетелей. a всех незабываемых "Зимных заметках 0 летних впечатлениях" Достоевский писал: "... и вдруг буржуа увидал, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал и что ему осталось теперь не то, чтоб, как прежде, уверять весь свет, что он идеал, а просто спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих".

Хочет остановить время и новый правящий класс в "социалистических" странах.

У Георгия Иванова есть строки:

"Россия, Россия рабоче-крестьянская!

И как не отчаяться —

Едва началось твое счастье цыганское

И вот уж кончается.."

Анархо-эгалитарная пора большевицкой революции продолжалась недолго. В "Чевенгуре" Пашинцев гворит Копёнкину:

"Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас всё кончилось — пошли армии, власти и порядки, а народу — опять становись в строй, начинай с понедельника... Да будь ты... Всему конец: закон пошёл, разница между людьми явилась — как будто какой чёрт на весах вешал человека... Говори — обман или нет?

" — Обман — с простой душою согласился Копёнкин".

Обман — ключевое слово "Чевенгура". Вместо жданного чевенгурцами "окончательного счастья жизни" и "государства житейского довольства и содружества" пришёл иерархический, беспощадный, тоталитарный строй. Никакой уравниловки, никакой свободы. И этот строй объявляется совершенным, установленным навсегда. Всякая попытка его изменить — предательство, ревизионизм, переход на сторону капитализма.

"Новый класс", так же как феодальные правящие классы, ненавидит новшества и боится прогресса даже в науке, и это несмотря на свое будто бы научное мировоззрение. Ещё не так давно теория относительности считалась в Советском Союзе идеалистической фантазией, кибернетика — буржуазной псевдонаукой, копенгагенская школа — чертовщиной. Даже из теории Павлова, официально противопоставленной фрейдизму, принималось только то, что можно было согласовать с партийной догмой. Пример показал уже Энгельс: по идеологическим соображениям он обозвал Ньютона "индуктивным ослом" и отверг два величайших научных открытия своего времени: второй закон термодинамики и теорию естественного отбора.

Правда, когда Капица довёл до сведения Сталина, что если не дать учёным права пользоваться теорией квантов, то советской атомной бомбы не будет, физиков и математиков оставили в покое. Но классическая генетика и молекулярная биология были "реабилитированы" только после 20-го съезда. Да и по сей день ЦК КПСС строго следит, чтобы советские учёные не поддавались соблазнам идеалистических теорий буржуазных учёных. Несчётное число советских учёных стали жертвой марксистского мракобесия: одни подверглись участи Джордано Бруно, другие участи Галилея.

Имеется в странах "социалистического" лагеря и свой образец героя: член партии, наделённый, как когда-то рыцарь или буржуа, легендарными добродетелями, правда, другими и несоответствующими общечеловеческой морали.

Современный коммунизм — двуликий Янус. Об этом часто забывают. Сегодня страны, где правят коммунисты — самые реакционные, тоталитарные, неподвижно застывшие,

неспособные к преобразованию и развитию страны. Да и какое может быть диалектическое развитие в обществе, где больше нет, так во всяком случае утверждается, классовых противоречий. Чевенгурцы правильно это почувствовали: с победой коммунизма история кончилась, время остановилось. Но на страны, где коммунисты ещё не захватили власть, марксизм продолжает надвигаться в своей революционной форме, как новая мессианская религия, как социальный миф небывалой ещё взрывчатой силы, как расплавленная лава извержения.

Чем объясняется безумное ослепление людей, которые не неё образуется когда эта лава застынет из тоталитарный Архипелаг Гулаг? Борьба с этим ослеплением обречена на неудачу, если не понять, что марксизм, и обманно, отвечает надежде, принесённой в мир две тисячи лет назал. Так же как средневековый тарный хилиазм и так же как идеология французской революции марксизм есть христианская ересь, левацкий загиб латинского христианства. По выражению отца С. Булгакова, "транспортирует на безбожный язык своего материалистического экономизма древние пророчества о Горе Божьей и мессианском царстве".

Да что же может быть христианского, хотя бы даже еретического в учении, которое привело на практике к тоталитарной каторге?

Во избежание недоразумений: я ни в какой мере не разделяю взглядов довольно многочисленных теперь католических и протестантских священников, которые безоговорочно принимают не только все экономические и политические анализы коммунистов, но и средства какими те стараются осуществить свой проект "освобождения" человека. В трагической мировой кунсткамере они видят только тюрьмы Пиночета, а Архипелаг Гулаг не примечают. Всякое насилие со стороны пролетариата, — говорят они, — оправдано. Странные христиане! Недавно по французскому телевиденью один из них заявил: Бог открывается только в борьбе классов, долг каждого христианина бороться рядом с коммунистами против мирового капитала. Он даже возмущался, этот священник, что Бог пишется с большой

буквы. Морис Клавель сказал о таких, что Христос для них только предтеча Маркса. И всё-таки о. С. Булгаков прав: марксизм — переложение на язык безбожья и материализма пророчеств о Горе Божьей и мессианском царстве.

Приглашаю читателя вспомнить тут начало моей статьи: обетование мессианского царства справедливости, равенства и братской любви стало закваской всей иудео-христианской цивилизации. На этой закваске поднялся и марксизм. Вернее марксизм воспользовался тем, что обетование это так долго не исполнялось.

В упомянутых уже мною "Зимних заметках о летних впечатлениях" Достоевский пишет о толпах рабочих, виденных им в 1862 году на улицах Лондона: "...эти миллионы, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ишут выхода, чтобы не задохнуться в тёмном подвале..."

Перед этим Достоевский говорит: — "И вы чувствуете, глядя на этих париев, что ещё долго не сбудется для них пророчество, что ещё долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и что долго ещё будут они взывать к престолу Всевышнего: "доколе, Господи".

И вот приходит Маркс и говорит: не взывайте к Господу, его служители на земле всегда на стороне тех, кто бросил вас в подземную тьму. Они одурманивают вас опиумом религии, обещая вам в награду, если на земле вы будете безропотно покоряться, "небесные сласти". Но не отчаивайтесь: надежда, жили вот уже почти две тысячи лет, скоро исполнится: по железным законам истории приблизилось другое общество более справедливое, братское и свободное, и это от вас зависит ускорить его приход: надо только устроить революцию, национализировать средства производства, ликвидировать враждебные классы, передавить как вшей всех старушонок процентщиц и тогда в мгновение ока всё изменится: эксплуатация человека человеком, между людьми новые каждый будет сложатся отношения, получать произойдёт знаменитый потребностям, прыжок из царства необходимости в царство свободы.

Но ведь это обман, — скажете вы, — утопия, которая ведёт на самом деле к архипелагу Гулаг. Да, конечно, обман. Обман в наши дни тем больший, что на либерально-демократическом Западе рабочие, с тех пор как их видел в Лондоне Достоевский, уже вышли из подземной тьмы и теперь уже не буржуи, а как раз коммунисты, когда приходят к власти, становятся старшими братьями и загоняют их обратно во тьму. И так же обман и утопия идея, что можно очеловечить общество насилием и массовым террором. Но тот не читал пророков и Евангелия, кто отвергает вместе с марксизмом и стремление к социальной правде, которым марксизм пользуется для своей пропаганды.

Родословная марксизма сложна и запутана. Идеи растут в истории как заколдованный лес, непрестанно разветвляясь, переплетаясь друг с другом ветвями и корнями, скрещиваясь, порождая ублюдочные сочетания, борются между собой и в то же время переходят друг в друга, подвергаясь непредвиденным чудовищным метаморфозам и оборачиваясь своею противоположностью. Коммунизм, например, всё больше сращивается на наших глазах с посмертно торжествующим национал-социализмом.

Как найти дорогу в этом лесу? Тут всё так перепутано, не прорубиться сквозь чащобу, не вылезти из споров. Ведь каждый из нас читает историю идей по-своему. Но на деле всё гораздо проще: нам дана путеводная звезда, которая никогда не обманывает.

Несколько лет тому назад выступая в венском университете Милован Джилас сказал: "Я не критикую коммунистическую утопию, как таковую... утопия полезна, ибо человечество не может выжить без идеала общества более справедливого и более свободного. Но когда утописты захватывают власть и пытаются осуществить утопию насилием, тогда получается прямо противоположное идеалу".

Это очень близко к тому, что говорил Лев Толстой о французской революции. 20-го августа 1904 года он записывает в своём дневнике: "Читал историю французской революции, становится несомненно ясно, что основы революции (на которые так несправедливо нападает Тэн) несомненно верны и должны быть провозглашены... ошибка была только в том, что

провозглашённые принципы предполагалось осуществить так же, как и прежние злоупотребления: насилием".

Другими словами: не провозглашение прав человека, свободы, равенства и братства — зло, ведь это глаголы Нового Завета, а зло, когда к ним прибавляют ещё два слова: "или смерть!"

Никогда не прибавлять к оглашению своего идеала этих слов. Более того, никогда не говорить ничего, что может натолкнуть кого-нибудь на мысль их прибавить — вот необманная нить Ариадны.

Ни революционеры, ни контрреволюционеры обычно не хотят этого знать. Огульные антимарксисты делают ещё другую ошибку. Они отвергают не столько даже средства, какими коммунисты пользуются для осуществления своего проекта, сколько самый этот проект, весь, без разбора и вместе с ним и всё, что в него вошло от христианства: вселенскость, веру в человеческое действие, веру в возможность очеловечить общество и мир, обетование братства. Огульные антимарксисты неспособны поэтому противопоставить марксизму подлинную альтернативу. Они похожи на игрока, который сам отдаёт противнику все козыри, а потом удивляется, что тот выигрывает.

Для действительной борьбы с марксизмом нужно противопоставить ему не отрицание огулом, а соравный проект общества более свободного и братского, решительно отвергая при этом всё то, что в марксизме ведёт к Чевенгуру и к архипелагу Гулаг, а именно: непонимание абсолютной ценности личности, непонимание неприкосновенности прав и свободы человека, насилие, террор.

В русской эмиграции ближе всего к начертанию такого проекта подошли участники журнала "Новый Град". Я не могу тут писать о "Новом Граде" подробно. Ограничусь только перечнем основных сотрудников и приведу несколько выдержек.

"Новый Град" был основан в Париже, в 1931 году. В нем принимали участие И. Бунаков-Фондаминский, Г. Федотов. Ф. Степун, о. С. Булгаков, Н. Бердяев, Н. Лосский, мать Мария и многие другие представители разных поколений зарубежной русской интеллигенции. Последний номер вышел в 1939 году. У новоградцев было два учителя: В. Соловьев и Н. Фёдоров. Так

же как Соловьёв они верили, что идея царства Божия обязывает к христианской политике, к стремлению преобразовать все общественные формы и отношения в духе высшей правды. Они называли себя сверхсоловьёвцами. Подобно средневековым хилиастам новоградцы выверяли свои чертежи земного града прозрением сходящего с неба Нового Иерусалима, подобно марксистам верили в возможность очеловечить общество и мир.

В номере третьем "Нового Града" о. С. Булгаков писал: "Христианство в идее Царства Божия имеет такой всеобщий, необъятный идеал, который в себе вмещает все благие человеческие цели и достижения. Но оно имеет и свое обетование, которое на символическом языке Апокалипсиса обозначается, как наступление 1000-летнего царства Христа на земле. Этот символ, который есть путеводная звезда для истории, односторонним истолкованием давно уже заперт на замок, так что считается чуть ли не особой "ересью" неприятие его господствующего истолкования, которое от него ничего не оставляет. Но это предельное явление Царства Божия на земле, которое здесь символизировано, не только не может оставаться лишь воспринимаемым (а пассивно идеологически даже вовсе отвергаемым) пророчеством, но должно становиться активной "Утопией", упованием. Конечно, сам по себе этот символ абстрактен, но он всегда наполняется конкретным содержанием, как очередной шаг или достижение в истории, как зов, обращённый из будущего к настоящему".

Как мы видим это совсем не августиновское понимание Царства Божия на земле.

В другой своей новоградской статье о. С. Булгаков пишет: "Научное естествознание и техника раскрывают перед человеком мир, как безграничные возможности. Глухая и косная бесформенная материя делается прозрачна и духовна, становится человеческим чувствилищем и как бы отелеснивается. Этим выявляется космизм человека, его господственное призвание в мире... Философы много истолковывали мир, пора его переделать, — мир дан не для поглядения, всё трудовое, ничего дарового, — так почти одновременно в разных концах Европы и на разных путях выразили одну и ту же мысль два философа

хозяйства — К. Маркс и Н. Ф. Фёдоров. Этот колоссальный всемирно-исторический факт хозяйственного покорения, очеловечивания и в этом смысле преобразования (хотя еще и не преображения) мира — уже обозначился, хотя ещё и не совершился в истории... Н. Ф. Фёдоров своим "проектом" преображения и победы над смерью путём "регуляции природы" сделал впервые попытку религиозно осмыслить хозяйство, дать ему место в эсхатологии. Царство будущего века совершается человечеством в регуляции природы..."

Читатель, может быть, удивится: чем же тогда новоградство отличается от хилиазма и марксизма? Да вот чем: утверждением абсолютной ценности личности, неприкосновенности её свободы и прав, отказом прибавлять к своим лозунгам слова "или смерть", отказом считать каких-то людей не людьми, отказом считать "двуногих тварей миллионы" только орудием для достижения своих целей.

В номере двенадцатом "Нового Града" в статье "Христианство и революция" Бердяев говорит: "Христиане как будто бы лучше и чище поняли теперь вечную истину христианства, которой дороже всего человек, человек с страданиями и радостями, со своей судьбой во времени и вечности выше обществ и государств. Это есть революция в установке ценностей, но революция, которая требует изменения в отношении к средствам борьбы, которыми пользуются для осуществления целей, приближения средств к целям. И в этом всё христианской от нехристианской христианская революция не допускает обращения с каким-либо человеком, как с простым средством, или с врагом, подлежащим истреблению, или как с камнем, нужным для построения нового общества. Это и есть христианский персонализм. Он предполагает спиритуализацию и этизацию борьбы, излечение от терзающей мир ненависти".

Новоградцы об этом помнили во всех своих замыслах общественных преобразований. За исключением Бердяева, они связывали защиту вечной правды личности и её свободы с принципами политического либерализма и "формальной" демократии. В восьмом номере Георгий Федотов в статье

"Основы христианской демократии" писал: "В настоящее время, когда демократия терпит крушение в большей части европейского мира, её защита для православного богослова и социолога делается особенно трудной. Общие предпосылки христианского общежития, которыми жил 19 век, перестают быть убедительными для наших современников. Те, кто верил, как новоградцы, в их божественное происхождение, обязываются к новой апологии вечных истин".

Ещё одна цитата. В четвёртом номере Ф. Степун пишет: "Самая страшная сущность враждебного нам большевизма заключается в том, что он не понимает инакомыслящих, что он отрицает диалог, дисскуссию, свободу мнения, а потому (в качестве институционного закрепления всего этого) демократию и парламентаризм".

Новоградство — синтез тенденций, которые русская интеллигенция привыкла друг-другу противопоставлять. Вот почему редко кто теперь новоградские идеи вспоминает. Но я думаю, они возродятся в движении русской мысли к созданию подлинной альтернативы Чевенгуру и архипелагу Гулаг.

Новоградны спранивали не как веруешь, а какого ты духа.

Вл. Варшавский

## КИНОМАНЫ И КИНОКЛУБЫ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ КАК СО-ЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Всё больше и больше вынуждена беспокоиться советская власть о настроениях и поведении советской молодёжи.

Нет, чтобы как раньше, в первые годы после октябрьской революции — затягивать впалые животы ремнём и, по первому кличу советских лидеров — бросаться со сведёнными челюстями, с лопатами ли на горы грунта, с песнями ли на комсомольские стройки, с наганами ли на "врагов народа" или "с благородной яростью" на "тунеядцев, обуянных буржуазной пропагандой". Нет, эти времена, когда советские хунвэйбины добровольно отлавали себя служению марксистско-ленинским доктринам — безвозвратно прошли. И, по мнению (не безосновательному) советской власти — нынешние молодые люди в СССР всё больше думают о себе, а не о служении государству, о собственных правах, благах и выгодах.

Такая позиция в жизни (считает далее советская власть), развилась у молодёжи как прямое следствие "буржуазной пропаганды", хлынувшей в страну в период "порочной Хрущёвской либерализации". Это она внушила молодёжи идеалы "эгоизма", "потребительскую психологию", "социальную безответственность". А от такой позиции (резюмирует власть) совсем уже недалеко и до того, чтобы "окончательно пойти по курсу, предписываемому западной пропагандой" и стать "прихвостнями за-

падного образа жизни", и в конечном итоге начать заниматься антисоветской деятельностью.

Для советской власти то, что она называет — антисоветской деятельностью — т. е. участие случайно или систематически, словами или делами в диссидентском движении — неотделимо от того, что она называет "разлагающим влиянием с Запада". Представители советской власти просто не могут себе представить, что протест может возникнуть, так сказать — сам по себе, без всякой связи с каким бы то ни было знанием о том — как живут люди в демократических странах Запада. Они не допускают, что протест против советской власти может родиться — от сопоставления того положения вещей, какое имеет место в СССР, с некими абсолютными экзистенциальными нормами человеческого общежития, угадываемыми и в глубине души ощущаемыми всяким нормальным человеческим существом. И так как эти глубокие экзистенциальные нормы говорят одно и то же — например, что, скажем, не обладать правом иметь собственное суждение о том, что происходит в жизни аномалия, человеку очень легко понять, насколько аномальны условия жизни, в которые его поставила советская власть.

Но для носителей советской власти, которые уже давно перестали быть просто экзистенциально нормальными людьми, и давно уже забыли, что значит — иметь собственное суждение о том, что происходит, что значит — чем-то отличаться по своим взглядам от предписанных мировоззренческих нормативов, совершенно непонятно — как можно протестовать просто против отсутствия такого права, или отстаивать собственное представление о справедливости, когда оно расходится с "интересами советского государства" (ведь сами-то они давно и намертво связали "справедливость с государственной пользой"). Поэтому в их понимании существует одна причина всякой антисоветской деятельности, всякого несогласия с тем, что происходит в советском государстве — западная пропаганда, каковой для них является даже просто объективная информация о западном образе жизни.

Поэтому для советской власти вопрос "западных влияний", "идеологических диверсий с Запада", являющийся по сути

вопросом — как сохранить при нынешней ситуации при необходимости экономических и культурных контактов с Западом — железный занавес. Это вопрос первой важности.

Всякий контакт с Западом чреват западным влиянием, а западное влияние для советской власти — ЕДИНСТВЕННЫЙ разложения советской морали "жертвенного" подчинения государственным интересам и приказам верховного начальства. Так что, технико-экономическая необходимость налаживать контакты со странами западной демократии, необходимость — буквально разрешить "это проклятое западное влияние, являющееся столь опасным" — ставит перед советской властью весьма существенные задачи. Суть их всех в том, как дозволяя западное влияние — нейтрализовать его, как сделать безвредным для благополучия советской власти, как будто сняв железный занавес, фактически сохранить его. И — как нужно работать с советской молодёжью, чтобы она, информацию о западном образе жизни, не пыталась действенно сопоставлять её нормы жизни с таковыми в Советском Союзе.

Важно отметить, что для советской власти — фарцовщик, покупающий у иностранцев одежду и сигареты и перепродающий всё это в советской среде, и диссидент, борющийся за собственное представление о справедливости и за то, что он считает правильным для своей родины — явления одного порядка. С её точки зрения, поведение обоих говорит о том, что они подпали под "буржуазное представление" о жизненных ценностях. И когда советский диссидент апеллирует к западному общественному мнению, то для советской власти это просто-напросто ещё одно подтверждение его органической связанности и родства с Западом, а, значит, органической чуждости всему советскому.

Но в нынешний период интенсификации всяческих контактов СССР с Западом группы советского населения, оказывающиеся в диапазоне этих контактов (главным образом, городские жители) — в глазах советской власти — все становятся в какой-то степени фарцовіщиками, потому что очаровываются западными модами,

и все становятся в какой-то степени антисоветски настроенными, потому что "заражаются" западными представлениями о жизни. И здесь советская власть во многом фактически права, да и как можно не предпочитать западные моды и качество продукции традиционным советским модам и советскому качеству, а тем более — западные нормы человеческих отношений отношениям человека с государством в Советском Союзе? И в крупных городах СССР купля-продажа западных вещей занимает уже очень большое место среди частных интересов людей. И разговоры о благах западного образа жизни — среди частных разговоров, особенно среди молодёжи.

Ох, уж эта молодёжь! В печонках сидит она у советской власти! Как было бы советской правящей орде хорошо, если бы мололёжь — не взрослела, если бы она была не возрастной категорией, из которой должны вырастать "зрелые советские люди, оплот государства"! Тогда бы советская власть всю её собрала (как продукцию дурного качества), да всю бы её — в концлагерь. А так приходится воспитывать, ведь только из молодёжи (больше неоткуда) может быть набран контингент будущих советских людей. В этой связи хочется сделать маленькое отступление и рассказать одну московскую жанровую сценку. Пишущий эти строки как-то проходил по улице Горького в Москве (по московскому Бродвею согласно молодёжному слэнгу) и рядом с одним из выходов из подземного перехода стал свидетелем следующего микропроисшествия. Прямо на мраморном парапете, обрамляющем ступеньки выхода снизу, сидела группа молодёжи, лет по 17-18, сидела и болтала свисающими ногами. Мимо проходил какой-то старший офицер милиции, он не был при исполнении своих обязанностей и кудато спешил, но его прямодушное лицо, прямо-таки — перекосилось, когла в поле его зрения попала вышеописанная группа. Полойдя, он нотациями, рубленым голосом быстро согнал всех с парапета. Я заглянул в глаза этому человеку, услышал обрывки сказанных им слов, и понял, что человек этот действительно считает, что в период, когда перед человечеством (и в первую очередь — перед советскими людьми, поскольку они "в авангарде") стоят такие грандиозные задачи, допускать такую

расслабленность, такую гнилостную прострацию — преступно, и что заражённую активно молодёжь надо учить — убеждением, угрозой, наказанием.

А с теми, кто ещё не заражён активно, надо работать. Неотъемлемой необходимостью для советской власти становится — сделать так, чтобы советский молодой человек, раз уж нельзя его лишить восприятия западного образа жизни, не пытался бы его нормы и поведение утверждать в окружающей советской действительности. Сделать так, чтобы советская молодёжь не пыталась иметь то, что имеют люди на Западе, не пыталась бы устроить себе такую же жизнь.

Безболезненно это можно сделать только одним путём — если молодёжь уже будет иметь то, что имеют на Западе, если уже будет жить так, как живут на Западе, иметь и жить, оставаясь лишённой всего этого в реальной советской действительности. Короче, нужно сотворить чудо, устроив так, чтобы советская молодёжь ощущала себя живущей, как бы на Западе, не живя там на самом деле.

И современная техника передачи информации смогла осуществить это чудо. На помощь советской власти пришли средства массовой коммуникации и массовой культуры.

Техника массовых средств коммуникации уже настолько соспособна что создать V воспринимающего абсолютную иллюзию сожизни тому, что происходит на телеили кино-экране, обеспенить абсолютный эффект сопереживания воспринимающего то, что ему демонстрируется. Да мастерство создания самих образцов массовой культуры, массовых произведений искусства, достаточно преуспело в том, воспринимались легко. без трений, образцы эти чтобы совершенно неотчуждённо, приводя воспринимающего к стопроцентному соучастию в том, что он воспринимает. ОСНОВНЫМ ОРУДИЕМ ИЗ ТАКИХ МАССОВЫХ СРЕДСТВ И ФОРМОЙ КУЛЬТУРЫ, НЕОЖИДАННО СТАВШИМ МАССОВОЙ ПОМОЩНИКОМ И СОЮЗНИКОМ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ — ЯВЛЯЕТСЯ МАССОВОЕ ЗАПАДНОЕ КИНО (в западной прессе часто называемое коммерческим).

Посмотрит советский человек фильм о красивой западной

жизни, о западной свободе самовыражения, о западных модах, и приятно станет у него на душе, и радостно в сердце, от того, что приобшился к подлинной жизни. И отвлекшийся, отдохнувший, посвежевший — пойдёт на работу, учёбу или собрание, партийное, комсомольское, профсоюзное или торжественное.

интернализация ЗАПАДНОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ BOT ХИТРОУМНОЕ РЕШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ B **OTBET** HA ОБОСТРЕНИЕ проблемы молодёжи. Молодёжь симпатизирует западному образу жизни, и получает последнюю на здоровье в произведениях массовой культуры. Массовая культура и в условиях Запада вызывает тревогу у подлинной интеллигенции в связи с её обедняющим и деморализующим влиянием пюлей. условиях же Советского Союза недвусмысленно становится одним из управленческих рычагов советской власти.

Предположим, не было бы у советской власти под рукой западного кино, которым можно заткнуть глотку советской молодёжи, что бы молодёжь эта делала тогда? Она искала бы всего, что ей не хватает — в жизни, и боролась бы с тем, что ей не нравится. Теперь же она то, что ей не хватает, имеет поднесённым на экранном блюдечке. И в этой благополучного культурного обладания жизненными ценностями (а русский человек в своей массе всегда больше любил мечтать о готовых благах, чем участвовать в их "изготовлении" большинство B жизни). начинает примирительно относиться к тому, что его не устраивает в окружающей жизни.

В унисон с западным кино действует и западная массовая литература, и западная попмузыка. Возможность воспринимать образцы образом переживать удокультурные И таким моральные впечатления влетворяющие психологические И благополучие жизненной ситуации рядового молодого человека выше того порога, когда человек ради принципов готов рисковать удобствами и осложнять жизнь непредвиденными негативными последствиями, связанными с протестом против существующего. Такая МАССКУЛЬТУРА ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЁЖИ ПЕРЕЖИВАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПО СОДЕРЖАНИЮ СВОЕМУ НЕСОВМЕСТИМЫЕ С РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. НЕ ВСТУПАЯ В КОНФЛИКТ С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ. Это помогает советским людям примиряться с советской властью в реальной жизни.

В отличие от общепринятого мнения, что налаживание культурных контактов между СССР и Западом — само по себе уже расшатывает рутину советской жизни и ее ортодоксальные принципы, следует сказать, что это налаживание культурного обмена не мешает, а помогает советской власти сохранить нужное ей статус кво.

Это возможно потому, что эта текущая в СССР информация о Западе не побуждает советских людей стараться изменять условия своей жизни в соответствии с нею. Она наоборот — утихомиривает их, потому что даёт возможность переживать узнаваемое о Западе как нечто уже существующее для них. Ведь отличительная особенность массовой культуры как раз и состоит в том, что преподносит желаемое за действительное, должное за сущес, мечту, ценность, идеал — материализовавшимися в "изготовленном виде".

Информация о Западе в огромной степени служит сейчас эскапизму советских людей от собственных проблем. И это потому, что советская власть, основывающая свою "работу" со своими подданными на старой испытанной политике кнута и пряника и которая уже совсем было потеряла пряник, оставляя в своём управленческом активе кнут, вновь преподносит народу свежсизготовленный пряник, на этот раз из муки западной массовой культуры.

Таким образом, получается, что в сфере реальной жизни советская власть орудует кнутом, и тут попадает тем, кто чтолибо хочет изменить, в сфере же культуры советская власть соблазняет пряником благ западной жизни. Налицо ситуация контрастного метода дрессировки.

Кто предпочтёт удары кнута реального столкновения с советской властью, а не "культурный", главным образом,

кинематографический пряник? Конечно, такие есть, но это люди релкого мужества, целеустремлённости, гражданского пафоса. Большинство же, увы, предпочитают масскультный пряник. Кажется несомненным, что борцов с советской властью было бы больше, если бы не сладость таких пряников — кинематографических, литературных, музыкальных. С их помощью советская власть лишает диссидентское движение массовости, отвлекает людей от борьбы, от актуальных жизненных проблем, от гражданской ответственности.

И международные кинофестивали и так называемые недели иностранного кино занимают место прежних трибун и Они мобилизуют толпы народа, диктуют городской жизни. Конечно же, на фильмы невозможно достать билеты, — дичайшие очереди. Каждый фильм, привезённый на такой кинофестиваль. прежде, чем его — допустить или не допустить до советских зрителей, просматривает цензурная комиссия, и пропускают, конечно, меньшую часть, но и с той, которую пропускают (ведь что-то же надо пропустить) — не без проблем. Во время последнего кинофестиваля в Москве среди кино. стоящих за билетами одновременно нескольких очередях (в разные кинотеатры, где они записывали свою очерёдность и которые периодически обегали, чтобы её не потерять и подвигаться к заветному кассовому окошечку в рай), ходил слух. что долго колебался один высокий советский как поставить чиновник перед тем. свою полпись разрешением пропустить некоторые фильмы на демонстрацию во время фестиваля, и, наконец, решился со словами: "А, чёрт с ними (т.е. с советскими зрителями), пусть смотрят на голых баб и мужиков!". Этим фестивальная судьба фильмов была решена.

Во время таких фестивалей перед входом в кинотеатры часто можно видеть молодых людей с привешенными на груди дошечками, на которых написано что-то вроде — меняю билет на такой-то фильм тогда-то и там-то на билет на — пишется другое название фильма — тогда-то. Развивается сложная система взаимообменов и взаимовыручки, связанных с тем, что одновременно, скажем, нельзя смотреть два фильма и потому важно поменять один из билетов на другой сеанс. У любителей

кино развивается своеобразный "билетный престиж", основанный на том, у кого больше билетов на большее количество фильмов. Появляется "билетная аристократия" — это люди, у которых наибольшее количество билетов и которые, следовательно, посмотрят наибольшее количество фильмов на фестивале. Они чувствуют себя увереннее, разговаривают громче — их всегда можно отличить в массе, толпящейся перед кинотеатрами.

Произведения высокой культуры советская власть отодвигает, и на фестивальный просмотр попадает то, что можно назвать — "высококачественным масскультным кинематографом" (масскультные фильмы, сделанные с высоким профессиональным мастерством).

Иногда, в случае демонстрации особо сенсационных фильмов, кинотеатры подвергаются поистине — штурму. Так, во время демонстрации какого-то фильма в московском Доме Кино весь несчастный переулок, на который смотрит главный вход — вынуждены были оцепить конной милицией, которая оттесняла толпы жаждущих подальше от просторных окон этого официального клуба советских кинематографистов, из которых три было уже выдавлено.

Кинематографический пряник для советской молодёжи уже социально институционализируется — в крупных городах развивается киноклубное движение. В Москве в настоящее время объединённых насчитывается νже около 60000 человек. членством более чем в 200 киноклубах. Это, главным образом, молодые люди, жаждущие смотреть западные фильмы, НЕ КУПЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРОКАТА. Почему особенно интересно смотреть не купленные советскими чиновниками фильмы, это понятно — потому что по критериям молодых киноманов это наиболее интересные фильмы — наиболее чуждые самому духу советскости, наиболее сексуальные, наиболее броские, поэтомуто их и не купили.

Так вот — изумительно то, что советская власть разрешает членам киноклубов (60000 молодых людей — это даже для Москвы довольно значительная цифра) смотреть фильмы, которые, как она считает — не годятся для проката по советской

стране! Что это — гуманность советской власти? Особое расположение к любителям западного кино? Проявление тенденции к ослаблению управления советским народом? Разумеется, ни то, ни другое, ни третье. Это — проявление её корыстной политики в отношении молодёжи! Пусть смотрят, раз это не влияет на их социальное поведение — вот как рассуждает советская власть. И даже ещё более хитро — пусть смотрят, чтобы в их социальном поведении не присутствовало чрезмерное количество неудовлетворённости жизнью. Пусть смотрят, чтобы им было легче смиряться с реальной жизнью и чтобы поэтому они были более склонны к такому смирению.

Само создание киноклубов, за которое активно ратовали перед советским верховным начальством представители пылкой молодёжи, происходило в глазах будущих участников киноклубного движения под сияющей звездой этой заранее обещанной советской властью льготы — права на просмотр непрокатных фильмов, и потому членство в киноклубе означает для молодого человека — обладание личным правом на эту льготу со стороны советской власти. Ну как в такой психологической ситуации не оправдать доверие советской власти! Ведь она под одно только предоставила реальные льготы! Надо властвовать не только налагая санкции, но и предоставляя И определённых ситуациях последний льготы. значительно более эфективен. Это, кажется, начинает понимать советская власть.

Молодых кинофилов, которые сплошь да рядом превращаются в настоящих киноманов, отнюдь не интересуют, действительно, серьёзные и глубокие западные фильмы. Ингмар Бергман кажется им заумным, Акира Куросава — скучным, Пазолини — сухим, Феллини — публицистичным, Антониони — медлительным, Годар — слишком отстранённым, Бертолуччи — слишком интеллектуальным, Крамер — обыденным, Дзурлини и Пьетранжели — слишком бытовыми. Что им нужно, так это яркой фактуры жизни, экзотической сочности, они хотят смотреть на красивых сильных мужчин, сексуальных женщин, блестящие машины, острые ситуации.

Специфика масскультного восприятия в том, что оно

ориентировано на получение доступного сопереживания, легко развёртываемого удовольствия, в то время как произведение культуры заставит мучиться, думать, решать, причинит эстетический дискомфорт. Высокая культура отвлекает от жизни. Она — такая же, как жизнь — требует активного и произвольного, намеренного вовлечения в себя со стороны человека, мучительного поиска, собственных открытий. Вот почему советская власть санкционирует именно маскультные фильмы и вообще массовую культуру для своей молодёжи. Чтобы та привыкала к потреблению без поиска, к обладанию без усилий, и в конечном итоге — теряла бы способность составлять серьёзное мнение относительно того, что происходит в жизни и потому не могла бы для советской власти стать оппозицией в деле определения и реализации жизненного курса страны.

Не будучи на самом деле ни интеллектуальной, ни эстетической элитой, члены киноклубов ощущают себя в отношении оснаселения. смотрящего фильмы привилегированном положении. (советской Ведь им дано властью) смотреть такие фильмы, которые никогда не увидят простые смертные, ходящие в кинотеатры. Этим привилегированным положением они весьма гордятся, что способствует неоправданному самосознанию как элитарной группы. Оправдывается это самосознание тем, элитарное привилегия касается всё же — доступа к культурным образцам, возможности приобрести опыт и знания. Так развивается своеобразная неэлитарная элита или псевдоэлита.

Поэтому молодые киноманы-киноклубники являются просто снобистической группой с неправомерным элитарным самоопределением. ОНИ ИЗ ФАКТА ЧИСТО СОЦИАЛЬНО-НОМИНАЛЬНОЙ ПРИЧАСТНОСТИ (в данном случае — к масскультным образцам) ЧЕРПАЮТ СОБСТВЕННУЮ ЛИЧНОСТНУЮ ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ И ОЩУЩЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ РЕАЛИЗОВАННОСТИ И ЦЕННОСТИ.

Но ведь это же удивительно по-советски — основывать собственную тождественность и ценность не на собственных достоинствах и умениях, а на одном факте социальной причастности к какой-нибудь ценности. Кто такой большевик до октябрьской

революции? Кастовый сноб, неоправданно считающий себя причастным к идеологической элите на том основании (которое как раз и лишает его права так считать), что он разделяет вместе с ему подобными культ высшей мудрости марксизма-ленинизма. После революции, обретя власть, группа эта просто превратилась закрытую кастово-снобистическую считающую себя элитарной, Подлинной элитой являются лишь неоправданно. свою основывает тождественность на элитарных качествах и умениях.

Кастовый сноб всегда составлял и составляет основное воинство тоталитаризма, это всегда люди, считающие себя (наверченной идеологического культа). на болт Посмотрите на лица советских коммунистов, только что вернувшихся с закрытого партийного собрания (собрания, на которое в силу важности сообщаемых вопросов, не допускаются беспартийные). Они переполнены и раздуты высшей ценностью причастности к единой мудрости И Попробуйте у кого-либо из них что-нибудь выведать (о том, что говорили на собрании). Предположим, что вам, наконец, удалось слегка пошатнуть партийный трон, на котором чувствует себя сосидящим ваш собеседник — но с каким супердостоинством он будет вам по капельке бросать поистине "золотые слитки" информации.

Тоталитарный человек — это кастовый сноб, агрессивно отстаивающий перед другими (кого он терроризирует) свою элитарность. Тоталитаризм строится на каскаде социальных привилегий причастности.

И после того, как молодые киноманы стали членами киноклубов, они полюбили западное кино ещё больше. Советская власть, разрешив киноклубное движение, как бы окончательно прикрепила молодёжь к западному кино, как она прикрепляла колхозников к колхозам, и рабочих к заводам. И когла такой молодой киноман выходит из зрительного зала и к нему бросается целая толпа с сакраментальным вопросом "ну как?", он ведёт себя точно так же, как советский коммунист после возвращения с закрытого партийного собрания.

Раздавание привилегий причастности порождает И особый снобизм. Вся воспитывает советская должностных кресел (о которой говорят, что кресло красит человека). зиждется на таком снобизме с псевдоэлитарным мировоззрением. Советская власть всё время расслаивает население, допуская одни группы к тем благам, которых лишены другие (например, если ты не комсомолец, поступить в институт, если не коммунист, не сможешь защитить диссертацию на соискание учёной степени и т. д.). Но в данном случае — давая киноклубникам те привилегии, которыми не обладает прочее население, советская власть явно расширяет территорию действия этого принципа расслоения.

Для советской власти опасен истинный элитарист, потому что он уже обладает ценностями. Но ей выгоден сноб, который тянется к некоторым ценностям и в этом тяготении зависит от советской власти, от привилегии причастности. КАСТОВЫЙ СНОБИЗМ — МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИМ АСПЕКТОМ КОТОРОГО И ЯВЛЯЕТСЯ ПСЕВДОЭЛИТАРИЗМ — ОДИН ИЗ СТОЛПОВ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. Тоталитаризм с его засилием социального контроля — невозможен без снобизма и псевдоэлитарного мировоззрения людей. Каждый советский чиновник и бюрократ являются такими снобами.

Примечательно, что на новом, так сказать — поле, в киноклубном движении — советская власть умудряется развращать тоталитарной психологией молодёжь! Превращая молодых людей в масскультных снобов с зависимостью от тех ниточек привилегий причастности, которые она держит в своих руках. Киноклубники-киноманы, любители западных фильмов ведут себя и ощущают себя — как традиционные советские люди! Советская власть, утоляя их интерес и симпатию к Западу, навязывает им тоталитарную социальную психологию, тоталитарные стереотипы поведения.

Ещё раз можно убедиться, насколько эффективен пряник как приём управления массами. Современный молодой человек становится советским именно когда тянется к прянику и ест его. Кнут — лишь предварительный, и, во многих случаях, косвен-

ный, побочный инструмент. Кнут выбивает или одним видом своим выпугивает из человека то, что в нём есть антисоветски настроенного. Но кнут не делает человека советским. Пряник же — вот что делает современную молодёжь советской, да так, что она этого и не осознаёт.

Очень важно отметить, что собирая молодёжь в большие группы (в частности, в киноклубные сообщества), советская власть имеет от этого и ещё одну "статью дохода", не такую жирную, как только что описанная, но тоже не лишнюю. Молодёжь в её целом становится более обозримой. Западные фильмы становятся той лампочкой, в свете которой легко наблюдаемы все бабочки, устремлённые помыслами на Запад. Собираясь вокруг этой кинематографической лампочки, непосредственная молодёжь обмечивается восторгами, а советская власть обыкновенными ушами обыкновенных молодых людей, сидящих тут же (по совместительству тоже любителей западного кино) слушает, слушает, слушает. И кое-кого берёт на заметку. И делает выводы общего характера.

Ницше считал, что любитель искусства (в нашем контексте это определение Ницше точнее бы прозвучало как — любитель произведений искусства, и, может быть ещё точнее как — любитель воспринимать произведения искусства) уничтожает искусство на уровне его восприятия, и именно потому, что настроен потребительски, а не на глубокую и серьёзную работу над произведением и над собой в одно и то же время. "Надо изгнать именно любителя искусства", — говорил Ницше. Отто Вейнингер вторил ему в своей характеристике отношения современного ему человека к искусству: "Искусство для него — лишь платок для вытирания пота".

Именно таким разноцветным платком является западное кино лля советских молодых его поклонников, платком для вытирания трудового пота на благо советской власти.

В. Зубов, 1975 г.

# коммунистический блок

Централизм, автономность, интеграция, кооперация — все эти термины в своих конкретных проявлениях характерны для той ситуации, которая сейчас сложилась внутри европейского блока коммунистических государств.

Но несмотря на то, что в настоящее время уже существует политико-экономический и военный комплекс этих государств и наций, несмотря на то, что это стало уже новой историко-политической реальностью, мы далеко не уверены что этот новый феномен и последствия, в которых он может проявиться в ближайшем будущем, сознаются теми, кого это касается.

исторический факт заключается наличие Варшавского договора и СЭВа (как официальных институтов) и иерархии взаимоотношений коммунистических партий (что в свою очередь является неофициальной формой подлинного единства блока) создает каркас единого целого европейского блока коммунистических государств, блока стран Центральной и Восточной Европы, в результате чего образовалась политико-географическая область с идентичной в своей политической системой, идентичной организацией экономической жизни, которая ведет к интеграции отдельных в единый целостный организм. В этой области утверждается и одинаковый, официальный стиль духовной жизни. Другими словами, интегрирующийся блок коммунистических госуларств Варшавского договора — это реальный факт, требующий своего анализа.

Внешне блок все еще представляется системой национальных и многонациональных государств. Но именно продолжающийся процесс интеграции превращает отдельные нации в явления местного характера, которые управляются центральной властью, представленной КПСС и ее военно-полицейской машиной, в трогательном единстве с национальными компартиями блока и их карательными органами.

В то же время, как это было и прежде в истории, нивелирующее давление центра постоянно порождает к жизни тенденции автономности и (в их последовательном завершении) сепарации. Оба эти процесса (интеграция и стремление к автономии) протекают одновременно, причем стремление к автономности, доходящее и до сепаратизма, наглядно доказывает неприятие населением политики интеграции и централизма.

И хотя на первый взгляд может показаться, что процесс интеграции протекает успешно и что политика централизма торжествует, в действительности под этой кажущейся благонолучной поверхностью постоянно бурлят элементы конфликта мсжду силами автономности и централизмом КПСС. И именно то, что процесс интеграции в странах блока осуществляется под давлением КПСС, является причиной того, что этот, уже лишенкаких-либо черт таинственности "социализм" ный "коммунизм" КПСС препятствует и всегда будет препятствовать целесообразной и добровольной кооперации народов этого политико-экономического блока. А ведь сама по себе кооперация означает развитие современной промышленности, возможность новейшей использования технологии. исследования, новые возможности свободного передвижения населения, гражданские свободы, координацию экономик и их сырьевой базы, повышение квалификации труда, улучшение уровня жизни и взаимный обмен достижениями различных культур, нреодоление традиций "балканизации". Но в действительности иситрализм КПСС не только не реализует всё перечисленное, а напротив, действует как сила, руководящаяся вовсе не принцинами "кооперации", а диктаторского централизма.

Исторические факты — не всегда бывают всем по душе. Но реально видеть положение все же необходимо, так как самые красочные иллюзии всегда только заводят в тупик. И это касается как тех наций, которые невольно оказались с СССР в

олном блоке, так и наций СССР. Пока что возникающие в блоке проблемы касаются отдельных его участков, но не затрагивают еще всего блока как конструкции. В связи с этим следует полчеркнуть, что чувство опасения, что одновременно с крахом конструкции разрушатся все ее этажи, проявляется как у власть имущих, так и у разных оппозиционных и реформистских течений. Но с другой стороны, если нас интересует судьба отдельных этажей, то мы не можем не принимать во внимание, что в настоящее время эта судьба тесно связана с судьбой конструкции в целом т.е. с тем фундаментом, на котором она стоит.

Объединенные в блоке страны представляют собой противоречивое целое. Оно противоречиво прежде всего с точки зрения взаимоотношений между отдельными национальными обществами, оно дифференцировано национальными интересами, разными историческими традициями, экономическим и людским потенциалом отдельных стран.

Конечно, объединение стран европейского коммунистического блока нельзя считать уже завершенным историческим фактом. Но несомненно, что это явленье медленно, но верно завершается.

История создания отдельных коммунистических правительств не одинакова, и во времени они возникли не все сразу. Поэтому совершенно естественно, что и эмиграция из этих стран отличается одна от другой, причем протекающий процесс объединения блока до сих пор не нашел адекватного выражения в действиях эмиграции из этих стран.

Объединение всегда сопровождается такими явлениями как несогласие с ним и сопротивление ему. Но объединение "по-коммунистически" считает неизбежным безжалостное преодоление всякого сопротивления и отбрасывает все традиционные исторические противоречия.

Эмиграция же потому и есть эмиграция, что она в конфликте с власть имущими дома. Но она не может игнорировать реальные жизненные условия, в которых люди, порабощенные властью, живут дома. И если задача заключается в том, чтобы напиональные сообщества блока развивались, чтобы центра-

лизм КПСС был заменен кооперацией, если у людей дома и у эмиграции интересы общие (говоря об эмиграции, я имею в виду эмиграцию политическую, ее активную часть), то вряд ли будет полезным судорожно придерживаться изолированных и изолирующих один народ от другого традиций, которые возникшее новое положение в блоке как бы не замечают. Я вовсе не подразумеваю под этим попрание истории. Я просто апеллирую к пониманию того, что история продолжается в совершенно новых условиях.

У коммунистических партий есть свой опыт эмиграции, главным образом, опыт большевиков до 1917-го года (когда они мечтали о власти) и опыт тех лет, когда они, уже придя к власти, выехать из страны. некоторым людям основании этого опыта им хорошо известно, что в определенный исторический момент часть нации, вынужденная жить за границей, может оказаться действенной, может оказаться серьезной силой. И поэтому каждая страна блока старается, чтобы зависящие от нее, но политически и связанные со своим народом, оказались без влияния, были скомпрометированы, разобщены, а иногда и физически уничтожены. В этом все правительства стран блока тесно сотрудничают.

Но и сама эмиграция разделена почти на изолированные пруг от друга национальные группы, а внутри этих групп прололжается еще расщепление. За границей встречаются те, кто оставил родину еще до прихода коммунизма к власти (или же вскоре после этого), с теми, кто наопределенной стадии исторического развития коммунистических государств относились к "победителям". Эта категория касается в основном эмиграции из свропейских стран блока, а не легальной эмиграции из СССР, которая в весьма незначительной степени охватывает представителей правящей элиты. Таким образом, коммунизм создал два типа эмиграции: некоммунистическую, как результат столкновения коммунистических и некоммунистических сил, и бывшекоммунистическую как результат конфликта внутри уже господствующего коммунизма.

Таким образом, из стран коммунистического лагеря

приходят волны как антикоммунистической эмиграции, так и эмиграции из рядов "социалистической элиты". И эта вторая волна приносит с собой как живой опыт функционирования "социалистического механизма", так и опыт (больший или меньший) попыток его преобразования. Но механизм продолжает существовать. Практическая проблема, насколько динамичным или замедленным будет развитие дома, все еще решается там внутри.

Но если мы хотим ориентироваться в настоящем и попытаться поставить прогнозы пусть и недалекого будущего (а взаимосвязь некоторых фактов делает такую возможность реальной), то необходимо вернуться к некоторым все еще открытым проблемам прошлого. Без осознания прошлого, без его вдумчивого осмысления не будет ясно ни настоящее, ни будущее. Наиболее сложным для осознания является настоящее, и это понятно, в нем мы живем. Переживания прошлого часто определяют поведение в настоящем, и что очень важно, эти переживания прошлого часто детерминируют и представления о булущем. Это проявляется, кстати, в некоем "историзме".

В принципе "историзм" присущ обеим сторонам — как правящей, так и силам некоммунистическим. Власть имущие в странах блока все время говорят о своей истории, о "супер утилитаризме" руководства своей исторически закономерной и историей избранной партии в обществе, которое должно "быть руководимо". По их мнению, национальное прошлое — это предистория, а подлинная история начинается лишь с момента прихода этих сил к власти. Но сама история правления коммунистической партии и ее настоящее представляют собой тотальное попрание духа национальной истории, она правит как монопольный. не делящий ничего с предками, а только шагающий "вперед" (и никому не известно куда) институт власти. И если коммунистические партии заявляют, что они являются новым элементом национальной истории, то мы можем им верить. Но если мы будем стараться объяснить их существование как следствие национальной истории или национального характера, то логически должны будем признать за ними и законность власти, чего сделать нельзя.

Созданные властью стран блока ограничения вызывают к неофициальное мышление, вначале мышление сравнительное — как предпосылку распознания лжи, а потом уже мышление критическое и мышление оппозиционное. Таким образом, ликтатура не только подчиняет, но одновременно и рождает потребность покончить с ней. И то, что во всех странах такое подспудное мышление существует, является отражением конфликта между правящей идеологией и гражданами той или другой "социалистической" страны. В определенный период это мышление было более выразительным в Польше, Венгрии и Чехословакии, чем в самом СССР. В настоящее время и в СССР это явление начинает приобретать все большее значение. Но проблема заключается в том, что аналогичные условия и соответствующее им аналогичное мышление существуют почти без контактов. Ибо подлинная связь между странами блока в большей или меньшей мере существует лишь в виде приказов сверху вниз, между интегрирующей "интернациональпо" — коммунистической властью. Но в области личного критического мышления слишком много времени и энергии тратится зачастую на открытие уже открытого — и все это из-за недостаточного знакомства одних с другими. Аналогичное положение существует и среди представителей эмиграции из стран блока.

Конфликт между национальным элементом и антинациональным коммунизмом внутри той или другой страны является специфической исторической категорией. Коммунистическая идеология как-то подсознательно предчувствовала этот конфликт. Поэтому она и предприняла наступательные действия против докоммунистической национальной истории и национальной духовной жизни.

Критическое мышление, как показали и показывают такие страны как Польща, Венгрия и в значительной степени Чехословакия, возвращается к своей национальной истории, и в ней оно ишет точки опоры. Эти поиски точки опоры именно в национальном прошлом мы видим сегодня и в СССР. Совершенно естественно, что они концентрируются на национальных традициях, национальном мышлении, и возрождается надежда, что можно будет возродить, свой народ, так как

возрождение именно национальной жизни является неизбежной предпосылкой подлинной международной кооперации.

Чехословакия 1968 года показала, к чему может привести освобожденная национальная энергия (развитие событий в стране было совершенно спокойным). И в СССР в настоящее время есть люди мыслящие и опытные. В странах с опытом "социалистического строительства и диктатуры пролетариата", моему глубокому убеждению, совершенно неповторима картина 1917 года. Опыт — это тоже фактор истории. После длительного периода подавления личности подавление должны отвергнуть. А для этого совершенно необходимо, чтобы нации, вернее национальное критическое мышление совершенно отчетливо руководилось в своих стремлениях к требованиями реставрации национальных традиций положительного национализма. восстановлением которые возвышали их народ и которые могут привести к конструктивному и взаимно полезному сотрудничеству другими народами, то есть к тем традициям, которые бы отвергали всякий шовинизм как путь к достижению национального величия.

Конфликт между властью и обществом не ограничивается сферой социальных, экономических и политических проблем. В действительности он происходит на уровне вопроса о том, имеет ли эта власть смысл в национальной истории вообще? И тут мы видим сократовское "познай самого себя" в несколько измененном виде: "познай сам себя, народ, и познай народы, с которыми ты связан исторической судьбой".

Эту задачу легче всего решить эмиграции. И в этом плане на ней лежит большая ответственность, или по крайней мере она должна была бы лежать. Ведь эмиграция из стран блока во всех ее волнах фактически является живым проявлением национально-исторической преемственности. Она является следствием процесса ликвидации в этой области национального элемента, и она обогащена связью с окружающим миром. В распоряжении эмиграции — собственная печать. И значение этой печати — это ее роль как органа национального общества заграницей и дома, ее роль в создании связи в межнациональном обществе, которой дома оно лишено. И совершенно не важно, что тираж эмигрантских изданий не миллионный. Важно, что эти издания попадают к ограниченному кругу лиц, а через них, в той или иной мере, определенные идеи проникают в общество. А

общество часто решается на действия, даже не зная, как оно на этот путь действия вступило. И речь идет не о манипуляции с обществом, этим искусством власть владеет мастерски. Я имею в виду существующее вне власти и вне идеологии национальное мышление.

Но теоретически может возникнуть и другая возможность. Власть может попытаться приспособиться к возрождающейся национальной энергии или может пойти по пути, когда народ насильно приводится в состояние летаргического сна. Этот второй путь мы видим в попытке "деполитизации" венгров, чехов, поляков и важнейших центров самого Советского Союза. Когда-то нашумевшее большевицкое "грабь награбленное!" сегодня звучит как "потребляйте!", только не интересуйтесь политикой и духовной культурой. (Наиболее отчетливо этот лозунг слышен в странах блока — по старому рецепту "кнута и пряника", когда эти страны после всех подавленных в них выступлений были "засыпаны" потребительскими изделиями). также абсолютную последовательность проявляемую в ее стремлении компенсировать внутренние неудачи успехами внешней политики. Этот "престиж" власти влияет на людей и внутри страны и в эмиграции. Но неужели нельзя найти в эмиграции хоть какую-нибудь возможность для подлинного, эфективного объединения всех волн эмиграции из всех стран блока (и всех республик СССР) на платформе понимания общей трагической судьбы этого интегрирующегося целого?

Может быть, для этого стоит напомнить об истории этой интеграции?

Фактически процесс интеграции ныне существующего блока коммунистических государств в сфере СССР начался уже в 1945 году. Несмотря на то, что лозунг коммунистов о мировой революции, как будто давно выпал из словаря их мировой политики (особенно — в период второй мировой войны и союза СССР со странами Запада), именно конец второй мровой войны явился началом нового раздела — сначала Европы, а потом и мира — на блоки государств с разными политико-экономическими и общественно-культурными системами.

В 1945 году СССР — стал не только одним из победителей

во Второй мировой войне. Он стал державой расцвета сталинизма. И именно в этом году СССР вступает в часть Европы и остается там, насаждая в европейских странах свою политическую, экономическую и духовную систему. Политика КПСС исходит из тезиса, что лишь та сфера влияния может оказаться надежной, где установлен тождественный с СССР политический режим.

СССР не заинтересован в национально-государственных союзниках на своей европейской границе. Его подлинным интересом оказалось образование новых стран с коммунистическими правительствами и внедрение советского образца "социализма".

Кроме того, как только западные союзники признали право этой державы на ее сферу влияния в Европе, развитие в этой сфере перестало быть делом той или другой политической (не коммунистической) партии. Оно стало исключительно делом СССР и с ним сотрудничающих внутренних сил этих государств. Таким образом, развитие после 1945 года можно характеризовать как включение стран Восточной и Центральной Европы в советскую сферу влияния с осуществлением внутри-политических "коммунистических" преобразований в них.

Сфера влияния СССР в Европе — это 990.000 км2 и 105 миллионов человек. И это превращает СССР в мощную супердержаву. Для реализации своих интересов на территории государств Восточной и Центральной Европы СССР применил прежде всего свою военную мощь, он размещал там т.н. "советских специалистов" и опирался на внутренние коммунистические силы. СССР формально не присоединил эти страны, как присоединил три прибалтийские государства. Причин этому было несколько:

- 1) Причины внешне-политические; учет настроений западных союзников. Присоединение этих государств посчиталось бы грубой аннексией и нарушением целей войны.
- 2) СССР был истощен войной до крайности, и для него не выгодно было сразу же нарушить союз с Западом.
- 3) СССР как многонациональное государство оказался в очень сложной внутриполитической ситуации. Военное время и послевоенный период вызвали волну террора, особенно в отношении нерусских национальностей. Несколько народов СССР были согнаны со своих территорий и сосланы в Азию, в Сибирь. Украинцам, литовцам, латышам и эстонцам не

ловеряли — это были нации с серьезными проявлениями национальной независимости, и против них власть фактически вела гражданскую войну. Власть абсолютно не доверяла и населению, оказавшемуся на оккупированной немцами территории, как и побывавшим в Европе солдатам. Результатом этого были массовые аресты, идеологическая и административная борьба против т. н. "космополитизма" и западопоклонничества, пропаганда приоритета русского народа и его доминирующей роли "старшего брата" по сравнению с другими.

4) СССР счел целесообразным реализовать собственные цели в странах своей сферы влияния как в "государственно суверенных" используя при этом как армию, экономические связи, так и местные национальные коммунистические силы. Внешняя политика СССР, постепенный переход (немецкий и берлинский вопрос, позже Китай и Корея) от союза с Западом к твердому курсу, идеологической войне и повышенной напряженности между бывшими союзниками явились защитным занавесом для осуществления интеграционной политики в европейской советской сфере.

Одним из первых актов неприкрытого вмешательства, продемонстрировавших, что речь идет действительно о сфере, будущее которой будет бескомпромиссно определяться СССР, явился навязанный Сталиным отказ этих стран от плана Маршалла. В результате этого страны советской сферы оказались вне наций и государств остальной Европы, и отражением этого факта явился позже возникший термин "сателлитные государства". Для Советского Союза этот термин был очень удобным, так как свидетельствовал о незаметном игнорировании со стороны Запада государственного суверенитета стран советской сферы влияния.

Начиная с 1947 года, советская политика становится наступательной, И В течение каких-то девяти завершается внутриполитический переход этих номинально "суверенных" государств в государства с монопольно правящими в них коммунистическими партиями. В каждом из государств были использованы разные варианты. Но важен не при помощи которого приходит к власти мунистическая партия, а то, что эта партия приходит к власти как партия единственная (некоммунистические партии в этих странах, если и существуют, то только номинально, как

"демократический аксессуар"). Коммунистическая же партия пользуется всеми средствами, чтобы эту власть удержать навсегда.

С одной стороны, эта политика СССР привела к реакции Запада, результатом которой явилось образование ФРГ, НАТО и ЕЭС, но с другой, она позволила СССР как бы вслед за этими актами Запада еще более углубить процесс интеграции посредством образования ГДР, СЭВа и военного объединения в форме Варшавского договора. В области же идеологии коммунистические силы отдельных стран, уже начиная с 1947 года, нашли организационные рамки в виде коминформа.

Проведенная Хрущевым критика сталинизма несколько замедлила этот процесс интеграции, хотя сам Хрущев с 1958 г. снова приступил к его форсированию. Но это уже был период, когда казалось, что борьба в верхушке политической власти в СССР закончилась, когда проявления национального автономизма (Восточный Берлин, Польща и Венгрия) были подавлены и когда восстанавливаются "добрые отношения" с Югославией. Десятилетие "спокойного развития и постепенного врастання" этих государств в "советский социализм" было в некотором смысле нарушено национально-автономной позицией Румынии, выходом Албании из блока и, главным образом, 1968м годом в Чехословакии.

Таким образом, первая четверть века интеграции 105 миллионов населения нескольких европейских стран с СССР нам показывает, что этот процесс не легок и для СССР. СССР является интегратором, а отдельные страны блока пытались и все еще пытаются (пусть в различной форме) но сохранить элементы национально-государственного суверенитета.

Но можем ли мы утверждать, что государства блока перестали быть жизнеспособными? Конечно, нет. Ведь даже при отсутствии политического представительства существуют национальные движения в СССР. И эти движения, как и события в Венгрии, Польще, Чехословакии и других странах, свилетельствуют как раз о противоположном.

В 1975 году КПСС попыталась ускорить процесс интеграции блока. В результате чего формулируется политика, не принимающая во внимание, что блок представляет собой мир различных культур и исторических традиций, различного понимания национального суверенитета, различного

экономического уровня, что этот блок является не только областью конфликта между национальным и центральным, но и областью "затушеванного" социального конфликта нациями без своего представительства и интернационалистской кастой со свойственной ей "концепцией бюрократической областью конфликта между великодержавным социализма", шовинизмом национальной автономией, следствием страха перед гибелью нации. Не случайно последнее обращение 59 интеллектуалов Польши к маршалу сейма называется "В борьбе за основные свободы". Ведущие умы этой страны обосновывают свои требования прежде всего опасениями за само существование нации.

А из этого вытекает, что проблема демократизации блока находится в непосредственной зависимости от национальной проблемы. Но такой вариант совершенно неприемлем для централизма, который всецело в плену своей собственной политической системы.

Можно предполагать, что если международные условия не изменятся, то такая "интеграция по-советски" может увенчаться определенным успехом. Одной из важнейших причин для этого является то, что существует основанная на субординации, но тесная связь между коммунистическими партиями блока, в то время, как связи между отдельными народами блока почти полностью отсутствуют. До сих пор все попытки отдельных наций блока добиться автономного национального развития оканчивались поражением. И важную роль в этом играло то, что отдельные нации все еще ограничены своими национальными рамками, и страшный факт интеграции все еще не осознается во всем его значении.\*

Но нации добровольно не исчезают. И даже само "антинациональное" наступление КПСС является доказатель-

<sup>\*</sup> В недавно опубликованной на Западе работе Зденека Млинаржа, который анализирует чехословацкую реформу 67-68 гг. и задумывается над причинами подавления чехословацкого эксперимента, автор пишет: "... с самого начала должно было быть ясно, что фактические политические, военные и отчасти экономические взаимосвязи между странами Варшавского договора и СЭВа были таковы. что какие-либо серьезные, принципальные изменения политической жизни общества в одной из них рассматривались другими (т. е. не только в "руковолстве" этих других стран) как изменения в части организма, к которому все эти страны относятся". (Зденек Млинарж, Чехословацкая попытка реформы 1968 г., Изл-во ДОБА, 1975 г., стр. 228)

ством того, что КПСС понимает, насколько национальный суверенитет препятствует осуществлению централистской власти в самом широком смысле слова. С другой стороны, именно эта наступательная политика пробуждает к жизни противоречие И требованием национального централизмом суверенитета. Тем самым процесс интеграции в руководимом КПСС многонациональном конгломерате превращается взрывчатку, хотя КПСС и опирается в своей деятельности на предпосылку, что связи между нациями интегрированного блока установлены не будут и что с точки зрения мировой политики (детанта) лишь КПСС рассматривается как равноценный партнер. В этом смысле детант, как недооценка исключительно многонациональных отношений блока, плюсом для КПСС.

Таким образом, учитывая факт недобровольности интеграции со стороны европейских наций блока, мы видим, что основная проблема заключается в следующем:

В то время как интегрирующая часть организована и связана между собой, интегрируемая сторона разобщена. Так что серьезным вопросом становится вопрос установления связей и в этой, интегрируемой стороне.

Франтишек Силницкий, 1976 г.

## сообщения и заметки

#### ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Р. Б. Гулю, "Новый Журнал".

Дорогой друг.

Я не понимаю, как вкралась в мое письмо в редакцию в № 121 "Нов. Журнала" такая ошибка, ляпсус, что я написал, что Софья Перовская была сестрой А. Успенской, тогда как тут дело идет о Вере Засулич. Большое спасибо за исправление этого маленького erratum.

Сердечно Ваш: Борис Суварин.

#### ОБ "АСКАНИЯ НОВА"

Глубокоуважаемый Роман Борисович,

В номере 121 "Нового Журнала" напечатана статья Н. Озерова под заглавием "В Аскания Нова". Сама по себе статья интересна по содержанию, но во втором абзаце (стр. 111) в ней есть совершенно неверная или вернее вводящая в заблужление начальная фраза: — "Создан этот заповедник (Аскания Нова) на территории бывшего большого имения Фальц-Фейна, основное хозяйство которого заключалось в овцеводстве крупного масштаба".

Это, конечно, не вина автора статьи (Н. Озерова), это он, полагаясь на советские источники пишет определенную неверность. И жалко, что редакция ее не исправила. Дело в том, что заповедник "Аскания Нова" был создан всецело "овневолом", но и известным (даже почти всемирно известным!) зоологом и ботаником Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном, начиная с конца прошлого столетия, и довел его до общерусской (и опять-таки почти мировой!) известности в начале нашего столетия. Об Аскании существует небольшая, но интеренснейная литература дооктябрьского времени. В Аскании бывали зоологи и другие ученые со всех концов Европы. В Аскании были зубры, купленные Ф.Э. Фальц-Фейном у наря и бизоны Buffalo Bill'а. Сам Ф. 3. Фальц-Фейн учился у знаменитого Брэма в Дерпте (Юрьеве). Его близкими друзьями и сотрудниками были профессора Павлов, Иванов и спутник Пржевальского ген. П. К. Козлов.

Советское правительство "возобновило" или верне "реставрировало" этот зановелник, изъяв из публикуемого о нем материала имя и фамилию его создателя, как изымались из Советской Энциклопедии многие "неугодные" имена.

В книге моих воспоминаний, вышедшей по-английски в 1975 г. в издательстве "Атенеум" пол названием "Bagazh", Аскания Нова кратко но точно описана, а также описана история культурнейшей семьи обруссвших колонистов Фальц-Фейнов, к которым я принадлежу по моей матери Лидии Федоровне Фальц-Фейн.

С искренним уважанием Ваш Николай Дм. Набоков

#### О СЛУШАНИИ САХАРОВА

Уважаемая редакция,

Не откажите в любезности опубликовать в Вашем журнале нижеследующее письмо, как ответ на статью 3. Шаховской в "Новом Русском Слове". Заранее извиняемся за причиняемое беспокойство.

В своей статье "В датском королевстве" гжа Шаховская нападает на Комитет Междупародного Слушания Сахарова, при чем ее критика включает и личные выпады против одного из членов Комитета, а именно — г-на Бернарда Караватского.

Г-жа Шаховская утверждает, что Слушание было организовано "любителями". В данном случае мы с ней согласны. Мы были и есть любители, по мы были *единственной* группой на Западе, которая откликнулась на московский призыв Сахарова, где он предложил — Международное Слушание по запите прав человека в СССР.

Бернард Караватский был исключительно активным членом этой группы любителей и именно ему в значительной мере мы обязаны тем, что Слушание было успешным, несмотря на трудности создаваемые некоторыми людьми, в частности, г-жой Шаховской. Мы признаем большой опибкой наше приглашение г-жи Шаховской принять участие в Слушании. Вместе с тем мы выражаем нашу благодарность и доверие г-ну Бернарду Караватскому.

У Комитета лаже нет желания дискутировать необоснованные и ложные обвишения о работе и лействиях Бернарда Караватского. Аррогантный тон, в котором эти нападки были сделаны, больше вредит г-же Шаховской, чем Комитету. Однако мы хотим указать на четыре факта, в которых действия г-жи Шаховской шли против целей Сахарова и тем самым вредили Слушанию.

- 1. Ее необоснованная дискриминация г-жи А. Стецько.
- 2. Ее использование письма Сахарова, которое она привезла дабы огласить на Слушании, но употребила, как средство давления на Комитет в своих личных интересах.
- 3. Ес попытка сорвать Слушание угрозами повлиять на переводчиков, чтобы они отказались от своих обязанностей.
- 4. Ее нарушение доверия со ссылкой на решения, принятые на частном совещании. Живя на Западе больше 50 лет она должна бы была понимать, что это песовместимо с запалными традициями, и что такие действия могут принести вред привлеченным ею лицам.

Комитет Междунаролного Слушания Сахарова считает себя в праве отклонить все обвинения, сделанные г-жой Шаховской, которая с нашей точки зрения, оказала илохую услугу Слушанию.

Мы призываем всех советских изгнанников не заниматься вредными склоками, а объединиться в борьбе за права человека в СССР.

По поручению Организационного Комитета С лучшими пожеланизми, искрение Ваши:

Эрно Эстергаз, председатель

О. Фельдштед Андресен, вице-председатель.

### Я ВАС ОБВИНЯЮ, ГОСПОЖА ШАХОВСКАЯ!

Всё, что здесь написано может быть подтверждено документами и свидетелями описанных событий.

Госножа Шаховская была приглашена в Копенгаген принять участие в Межлупародной Слушании Сахарова в качестве члена жюри слушания. Она была приглашена *исключительно и*ля этого. Её роль должна была сводиться к тому, чтобы выслушать все показания свидетелей, задавать им вопросы и обобщить услышанные сведения в окончательной резолюции совместно со всеми членами жюри. Место, отведенное ей в составе жюри, пустовало. Госпожа Шаховская не задала ни одного вопроса свидетелям, но зато проявила пеобычайную активность, чтобы попасть в об'ективы телевизионных камер с единственной целью — слелать себе рекламу, так как у неё в руках оказалось по странному стечению обстоятельств — обращение А. Д. Сахарова к слушанию в Консигатене. Госпожа Шаховская уверяла организаторов слушания, что у неё в руках единственный экземпляр этого документа, что дало ей возможность оказывать давление на организаторов и добиться устранения из зала Датского парламента американского священника Михайла Вурмбрандта (к этому я ещё вериусь). Как оказалось впоследствии, документ этот был зачитан в немецком радно за час до того, как госпожа Шаховская попала в поле зрения телеоб'ективов. Вывод прост: она говорила неправду организаторам слушания, добиваясь свосго. Она превосходно знала, что существует кония этого документа. Если бы организаторы знали об этом, они преспокойно показали бы госпоже Шаховской, находится выход из здания Парламента, когда она, возмущённая присутствием настора Вурмбрандта в составе жюри, демонстративно покинула зал, размахивая обращением Сахарова.

Никаких иных полномочий, кроме полномочий равноправного со всеми члена-жюри, ей пикто не давал. Организаторы слушания в её советах не пужнались. Никто не давал ей права влиять на состав свидетелей, а уж, тем более, на состав членов жюри. Более года небольшая группа энтузиастов идеи Сахарова старательно и с любовью готовила международное мероприятие. Никто им не номогал. Ни один профессионал, — хотя именно это ставила госпожа Шаховская в вину организаторам, что её, профессионального политика, не приглашали. Госпожа Шаховская знала о готовящемся мероприятии не менее полугола зарансе, но свою профессиональную активность проявила всего за две нелели до слушания, когда все уже было готово и решено. Вот в чём её активность проявилась.

Во-первых, она потребовала устранения невыгодных с её точки зрения свилетелей, причём — это я хочу подчеркнуть — всё время она подчеркивала, что она — лучший друг А.Д. Сахарова, знающий его сокровенные мысли и пожелания, и давала советы, словно они исходили из уст Сахарова.

Кто же эти нехорошие свидетели?

Первой её жертвой оказалась Анна Стецько, представительница украниского парода. Госпожа Шаховская добилась устранения её из числа свидетелей, так как она уверяла организаторов, что в состоянии отозвать всех переволчиков, что практически равнялось срыву слушания. Незаслуженно оскорблённая, госножа Стецько может послужить всем русским примером, как следует поступать во имя общего дела. Эта украинская патриотка сумела проглотить обилу; она была всё время в зале Парламента и выслушивала показания другого нредставителя украинского народа, которому было предоставлено едоно. Я пользуюсь случаем поблагодарить её, извиниться перед ней от имени организаторов на этот раз публично-и ставлю её в известность, кто был главным виновником устранения её из числа свидетелей.

Следующими в очереди неугодными Шаховской оказались Дмитрий Панин и Авраам Шифрин. Устранить Панина Шаховская никак не могла, так как он был лично приглашёй председателем комитета Эрно Эстерхазом, и в данном случае Шаховская натолкнулась на непреодолимое сопротивление комитета, как и в елучае Шифрина. Тогда Шаховская за несколько часов до слушания собрала несколько человек из состава жюри на тайное совещание в гостинице, и это совешание порешило исключить Шифрина из состава свидетелей. Трудно не всномнить ОСО и "тройки", так как обвиняемый Шифрин был ими осуждён, не получив даже возможности защищаться, а решение должны были вручить Шифрину ни в чём не повинные организаторы слушания от своего имени. Все оставиниеся часы перед слушанием я посвятил разговорам с участниками этого совещания (ОСО) и по очереди убедил их всех в том, что устранение Шифрина будет равносильно моральному убийству человека. Как выяснилось во время этих разговоров, — а мне удалось убедить всех, кроме Шаховской, — никто толком не понимал, почему именно Шифрина нужно исключить. Все в один голос уверяли, что Шифрин фантазирует и преувеличивает, но когда я ставил конкретный вопрос: "Прошу привести примеры, цитаты, факты, подтверждаюпше Ваши слова!" примеров, цитат и фактов не находилось.

Об отпониснии госпожи Шаховской к свидетелям я хочу добавить ещё одну важную деталь. Едва узнав от меня, что Люба Маркиш выступит на слушании (её имя удерживалось в тайне до самого конца, так как организаторы слушания серьёзно опасались за её жизнь), госпожа Шаховская вскричала: "Да ведь она парапончка!" Во время моего очень невежливого разговора с ней выяснилось, что Шаховская никогла Любы Маркиш в глаза не видела, но осудить её по методу: "плюнуть и бежать" она была готова.

Устранение пастора Михаила Вурмбрандта из зала Датского парламента останется навсегла, вероятно, вершиной её "достижений". Шаховская мотивирована своё требование удалить этого члена жюри из зала тем, что Вурмбрандт — ярый антикоммунист, и что, если он не будет удалён, она сорвёт слушание, не зачитает обранцения А. Д. Сахарова.

Анна Стецько — антикоммунистка. Антикомунистами являются Вурмбранит, Шифрин, Панин. Неужели госпожа Шаховская думает, что это преступление лаже на Западе — быть антикоммунистом? Неужели она считает, что антикоммунистам уже на Западе надо могилу рыть? Она так и не ответила на валанный мною публично вопрос, вышла ли бы она, возмущённая, из зала Парламента, если бы ей пришлось сидеть вместе в составе жюри с представи-

телем Датской компартии, которая была официально приглашена.

Устранение пастора Вурмбрандта имело очень печальные последствия для самого слушания, так как Вурмбрандт был ключевой фигурой для "паблисити" в США. В результате выходки Шаховской, слушание прошло почти незамечанным на территории Америки.

А на территории Европы? Здесь оно было принято должным образом, если не считать реакнии "Русской Мысли" Шаховской. Две коротенькие статейки. В одной говорилось о том, как госпожа Шаховская читала обращение Сахарова к слуппанию, а в другой были лишь вскользь упомянуты 3(три!) фамилии свилетелей из обшего числа 24 и даже не было сказано, о чём, в сущности, свилетели говорили. Разве это не странно?

Кому-кому, а не госпоже Шаховской обвинять организаторов слушания, так как не буль госножи Шаховской в Копенгагене — всё мероприятие прошло бы без елиного сучка и залоринки, а международная пресса смогла бы занять читателей более интересными сведениями, которые сообщали свидетели западной общественности, чем скандалами, возникшими исключительно по вине Шаховской. Винить организаторов можно лишь за то, что они пригласили на свою белу госножу Шаховскую в состав жюри Международного Слушания Сахарова.

Уже пролаётся в Норвегии и Дании книга — документ о Слушании. Готовятся к выходу в свет немецкое, итальянское и английские издания. Возможно, что и русское тоже появится, если "добрые люди" не помещают.

Бернард Караватский Копенгаген, 1976 год

Р.S. Я ни в коем случае не намерен обвинять госпожу Шаховскую в какой-то "просоветской" деятельности, невзирая на вышеприведенные факты. Я обвиняю её дишь в непонимании происходивних событий и прежде всего в том, что она думает слинком много о собственной персоне. Я глубоко уверен в том, что госпожа Шаховская стала игрушкой в руках неизвестных мне лиц (или олного дина — не знаю). Кто-то из её окружения подсказывает ей, что надо делать, пользуется её полным доверием и снабжает её информацией типа: "Люба Маркиш — нараноичка".

Я верю и чувствую, что госножа Шаховская-глубоко порядочный человек. Мне пришлось в польской тюрьме иметь дело с провокаторами и я каждый раз (Солженинын говорит о том же состоянии) интуитивно чувствовал, что передо мной предатель. Так же сильно я чувствую, что Шаховская — честный человек, по в её среде есть кто-то, кто является Иудой. Прав ли я, время покажет. И тогда большинство обвинений по отношению к Шаховской отпадёт само по себе, так как опи принисаны не тому лину. Кому же?

## БИБЛИОГРАФИЯ

В. Н. ГРАЩЕНКОВ. РАФАЭЛЬ. "ИСКУССТВО". 1975. ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ. МОСКВА. 214 с р. 188 РЕПРОДУКЦИЙ.

Растущий интерес к творчеству Рафаэля в СССР безусловно радует. Автор книги говорит, что "Мадонны" Рафаэля понятны с первого взгляда, возвышенная поэзия их земного бытия радостно открывается каждому... Это счастливое христианство, воспринятое сквозь светские идеалы гуманизма Возрождения".

Не знаю, конечно, сколь может отражаться искусство Рафаэля в советской живописи, но надо признать факт, что его искусство изучается в СССР с любовью, о чем свидетельствует труд В.Н. Гращенкова. Еще в 1968 году Гращенков писал о рисунках Рафаэля в журнале "Искусство".

"Прирожденное чувство меры, это естественное тяготение к гармонии получили в творчестве Рафаэля свое полное и потому счастливое осуществление", — говорит Гращенков и признается, что "самая важная и характерная особенность искусства Рафаэля это — синтетичность. Как всякий редкий дар, эта особенность его искусства была врожденной".

Тут всё же надо заметить, что не одни врожденные свойства были причиной особенного дарования художника. Рафаэль учился всю свою недолгую жизнь, и достижения его великих учителей и современников — Перуджино, Пьеро делла Франческа, Леонардо и Микеланджело — во многом обогатили его восприятие и формы его произведений.

Гращенков прослеживает постепенный путь развития и рост Рафаэля от лирических "Мадонн" юности до величавых работ в Ватикане в конце его жизни. К сожалению, интересный и вдумчивый текст сопровождается плохими красочными репродукциями, которые излишне красны, тёмны и как-бы "поджарены". Качество репродукций — постоянная беда многих советских типографий. Поэтому с большим вниманием останавливаешься на черно-белых репродукциях, где можно убедиться в необычайном даре Рафаэля — рисовальщика.

В конце книги даны пространные примечания к иллюстрациям с объяснением содержания картин и фресок; в примечаниях упоминаются также заказчики работ и владельцы картин. Но в примечаниях не упоминается, что картины Рафаэля "Георгий Победоносец" и "Мадонна Альба" были проданы сов. правительством из Эрмитажа в Америку. Об этом знать в СССР не полагается.

NORMAN W. INGHAM, "E.T.A. HOFFMANN'S RECEPTION IN RUSSIA". WÜRZBURG, 1974, 303. pp.

Эта работа является шестым томом недавно начатой серии "Colloquium Slavicum" под релак. проф. Генриха Кунстмана из Мюнхенского университета и проф. Всеволода Сечкарева — из Гарвардского. За короткий срок своего существования (с 1973 года) и "Colloquium Slavicum", состоящая из оригинальных ученых исследований, и "Analecta Slavica", представляющая ряд старых, трудно доступных изданий, добились признания среди учёных за высокое качество редакторского отбора и подготовки материалов.

Работа Н. Инхама основана на его докторской диссертации, защищенной в Гарвардском университете. В ней привлекает тонкое понимание произведений Гофмана и совершенное знакомство с русскими источниками, которые тщательно исследовались автором в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедина в Ленинграде и в библиотеках Гарвардского университета.

Автор разбирает сульбу художественных произведений Гофмана в России за голы 1822-1845 по отдельным периодам, отмечая появление переводов, критических статей в журналах и отражения мыслей и творческих приемов Гофмана в оригинальной русской литературе того времени. В тринадцати главах книги рассматривается его влияние на художественные произведения Погорельского, Пушкина. Полевого, Мельгунова, Гоголя, Одоевского, Олина, Алексея К. Толстого и Лермонтова. Охват материала весьма широк: говорится и о франнузских переволах произведений Гофмана, поскольку и они были источником знакомства с ним русского читателя.

Формы влияний и "перевоплощений" гофманских сюжетов и творческих приемов в произведениях русских авторов особенно интересно представлены в работе Иихама. Однако характерное для романтического миросозерцания слияние действительного и фантастического отражения у них почти не получило. Разбирая творчество А. Погорельского, Инхам пишет: "У Гофмана взял он много спенифических мотивов, в то же самое время не проникая ни капельки в миропонимание немпа". Это наблюдение подтверждает и польский ученый Иосиф Смага, который в книге "А. Pogorielski, Zycie i twórczość na tle epoki" (Wrocław, 1970), не булучи знаком с работой Инхама, отмечает: "Категория фатализма, предназначения, обращение к человеческой психике со стороны ее мистической запутанности — всё это осталось чуждым Погорельскому-рационалисту".

Хотя влияние Гофмана на таких выдающихся писателей, как Пушкин и Гоголь, рассматривалось уже раньше, Инхаму часто удается прибавить кое-что новое к прежним наблюдениям и даже иногда корректировать их. Что касается таких малоизвестных писателей девятнадцатого столетия, как Мельгунов и Олин, Инхам оказывается пионером в рассмотрении вопроса о влиянии на них творчества Гофмана.

Богатство и своеобразие литературоведческого анализа в книге Инхама несомненны. Она в совершенстве достигает того, что ожидается от ученой

работы: побуждения к дальнейшим исследованиям и размышлениям. Надо надеяться, что Инхам будет продолжать свою тему далее 1845-го года, на котором его исследование кончается.

К работе приложены подробные примечания, библиография (все переводы и русские критические статьи о Гофмане за период с 1822-1845) и индекс.

Проф. Иоахим Бэр Университет Северной Каролины

### "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В СССР". Составитель: Роман Купчинский. Изд-во "Сучасність". Нью-Йорк. 1975.

В этом сборнике 440 страниц. Его составитель, Роман Купчинский, сформулировал цель этой работы как необходимость информировать читателей, прежде всего русских, о тех процессах, которые в течение длительного времени протекают в среде нерусских наций СССР, о стремлении этих наций добиться национально-политических прав и о существующих среди нерусских наций взглядах на межнациональные отношения внутри СССР. Опубликованные материалы датируются периодом с 1949 по 1974 год. Касаются они Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Грузии, Армении, крымских татар, евреев в СССР, народа Месхетии и поволжских немцев. Наибольшая часть сборника посвящена Украине.

Я не ставлю себе задачей поддержку тезисов материалов, с которыми я согласен, или полемику с теми положениями, которые я отрицаю. Издание этих материалов — прежде всего информация, отражающая существующее положение, настроения и чувства, как они воспринимаются отдельними людьми и группами в СССР.

Опубликованные документы дают представление об определенной, я бы сказал, психологической стороне этой проблемы, не исчерпывая, естественно, ее в целом. Но с другой стороны — национальная психология, национальное сознание и национальное чувство являются исключительно важными факторами самого существования многонационального сообщества. И в этом смысле сборник безусловно дает определенное представление о положении в многонациональном СССР.

СССР является многонациональным государством, центрально управляемым КПСС. Это — государство с идеологией наднационального "интернационализма", который в последнее время наряду с первоначальным "пролетарским" стал также называться и "социалистическим" интернационализмом. Но формальное изменение терминологии мало что меняет по существу.

В многонациональном СССР русский народ численно является самым многочисленным. Во многих аспектах русский народ определенным образом отождествляется с народом государственным. Прежде всего в том смысле, что население делится на народ русский и нерусские народы. Народы нерусские автоматически считаются нациями, проживающими внутри государства, но в то

же время и нациями, подверженными различным формам национального ущемления, нациями негосударственными.

Нет сомнения, что КПСС своими действиями и самой своей организацией создает и питает представление о том, что как в качественном, так и в количественном отношении она тождественна народу русскому и что русский народ является доминирующей силой.

Составитель сборника в своем предисловии подчеркивает, что национальные движения нерусских наций в СССР направлены не против русского народа, а против империалистической верхушки, подавляющей все начии, в том числе и русскую. Он учитывает это и тогда, когда утверждает, что в интересах демократического будущего России нужно не только признать право на самоутверждение нерусских наций, но более того, русская политическая мысль должна занять активную антиимпериалистическую позицию по отношению к нерусским нациям. Не случайно он поместил на первом месте статью Осипа Горнового (Дьякова) от 1949 г., то есть того года, который относится к периоду ставки Сталиным на русский шовинизм и его использования им как политического инструмента. Статья называется "Наше отношение к русскому народу". Сам автор статьи погиб в НКВД в 1950 г., он был одним из руководителей Организации украинских националистов. Отношение украинцев к русскому народу автор делит на отношение к русской народной массе, которую он считает в такой же степени подавляемой и угнетаемой КПСС, как и другие, перусские нации государства, и на отношение к русским империалистам, т.е. к коммунистическим вельможам. Отношение автора к массе русского народа положительное, а решение национальной проблемы Горновой видит в создании самогосударств — русского и украинского народов, которые, освободившись от власти коммунистической партии, смогут жить в дружбе и успешно сотрудничать во всех областях.

В сборнике содержатся документы о языковой проблеме украинцев в СССР, об украинской истории, о положении украинской культуры и дискриминации национально чувствующих украинцев, об их преследованиях и арестах. Особое место уделяется вопросу "присоединение или воссоединение" Украины с Россией (автор М. Брайчевский), здесь делается вывод, что украинское госуларство было присоединено к русскому в результате добровольного акта в 1654 году с сохранением украинской автономии, но что, начиная с 1667 года, царское правительство считало Левобсрежную Украину завоеванной территорией.

Включен в сборник и отрывок из работы И. Дзюбы "Интернационализм или руссификация" о том, что руссификация нерусских наций вредна для самого русского народа. Мы находим в сборнике заявление украинских коммунистов от 1964 года, в котором говорится, что результатом существующего в СССР политического режима является национальная политика КПСС, порождающая опасную ксенофобию. В книге опубликована также статья В. Мороза о Космаче, гуцулах, украинской культуре и разрушаемых национальных традициях (Хроника сопротивления) и его "Вместо последнего слова". Это выступление является завершением той части сборника, которая посвящена Украине. В этом выступлении он говорит: — "Национальное возрождение — это процесс,

имеющий неограниченные ресурсы, так как национальное чувство живет в душе каждого человека — даже такого, который духовно, казалось бы, давно умер. Это проявилось, скажем, во время дебатов в Союзе писателей, когда против исключения И. Дзюбы голосовали люди, от которых этого никто не ожидал".

Далее идут документы о других нациях. Как свидетельствует весьма обоснованный документ от 1972 года, положение в Латвии быстрыми темпами ведет к потере латышского характера республики. И особого внимания заслуживает документ эстонской технической интеллигенции, реагирующий на брошюру академика Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосушествовании и интеллектуальной свободе". Эстонцы обращают внимание на вакуум, возникший после насаждения материалистической идеологии коммунизма, которая уничтожила взращенные цивилизацией моральные ценности. Авторы этого документа считают, что в интересах всего общества необходимо осуществить широкую демократию как единственную гарантию против диктаторской власти, и что только такая демократия положит конец классовому эгоизму и бессмысленной экспансивности власти. А поглощаемые постоянно усиливающимся милитаризмом средства должны быть использованы в сфере культурного и экономического развития. Этот документ уже выходит за рамки национального, так как относится к проблемам СССР в целом. К числу эстонских относится также документ, который формулирует решение Балтийского вопроса и который документирует политику правительства СССР. ставящую под угрозу само существование эстонцев как нации.

"Хроника литовской католической церкви" и другие документы Литвы дают яркое свидетельство немилосердного преследования верущих Литвы и тех страшных потерь, которые несут литовцы как нация в результате политики КПСС.

Значительная часть сборника посвящена документам о проблемах крымских татар. Сталинская политика геноцида по отношению к крымским татарам — это одна из наиболее темных глав истории правления КПСС в многонациональном государстве. Документы о борьбе крымских татар — это не теоретическое обоснование национальной проблемы, а демонстрация практической политики нации в существующих условиях: нации, которая стремится к подлинному национальному равенству в фиктивно провозглашающем это равенство многонациональном государстве. Вместе с тем борьба крымских татар — это обвинительный акт против коммунистического правительства, которое внесло в национальную политику в многонациональном государстве такие элементы национального гнета, которые нельзя сравнить ни с чем во всей предшествующей истории многонациональной России.

И белорусские документы свидетельствуют о росте национального самосознания (речь В. Быкова на V съезде союза писателей Белоруссии в 1966 г.). Последние 100 страниц сборника — это документы о проблемах евреев и об их праве выезда в Израиль; исторический обзор взаимоотношений между Грузией и Москвой до 1917 и после 1917 года, показывающий, что грузины могут жить в дружбе с русским народом, но что для этого необходимо ликвидировать

колониальный режим в СССР и предоставить нациям право на самоопределение. Этот документ содержит также очень интересное предупреждение советским властям относительно того, что планируемое исключение из внутренних советских документов графы "национальность" и внедрение лишь паспорта советского гражданина вызовет новую волну национального раздражения.

В сборнике напечатаны и документы о борьбе за права преследуемого и выселенного народа Месхетии и поволжских немцев, о преследовании национально настроенных армян, послания представителей различных наций СССР, заключенных в мордовские концентрационные лагеря за проявление своего национального сознания.

Сборник на большом количестве материалов показывает, что господство КПСС над многонациональным государством вызывает к жизни исключительно острые проблемы, что это господство угрожает национальному существованию нерусских наций и является основной причиной растущей ксенофобии. Есть все основания предполагать, что в случае преобразования многонационального сообщества в демократическое общество с политическим плюрализмом и соответствующим ему реальным равенством автономных в своих делах наций значительная часть национальных проблем нынешнего СССР стала бы носить совершенно другой характер. Я, конечно, полностью исключаю в таком случае возможность межнациональных войн. Избавленные от страха за свое существование нации гораздо легче нашли бы базу взаимно выгодного сосуществования. А основанная на насилии национальная политика КПСС враждебна всем нациям этого сообщества, включая русских. Такая политика КПСС преврашает национальные проблемы СССР в пороховую бочку.

Франтишек Силницкий

#### ПОРУГАНИЕ ПУШКИНА

(Абрам Терц. "Прогулки с Пушкиным", Париж, 1975)

— Что он про Гоголя писал, это — еще пустяки; а уж что теперь про Пушкина!... — сказал мне продавец в русском книжном магазине. И впрямы новое произведение Абрама Терца подобно анекдотическому блюду, вовсе не вкусному, но зато горячему.

Думаю, что эти "Прогулки" Синявского исторгнут у всей эмиграции дружный вопль негодования. Кроме религиозного кошунства, — что более обидного и возмутительного можно было бросить в лицо русским людям, россиянам в широком смысле слова, всем, уважающим русскую культуру, чем эти 178 страниц концентрированной злобы, клеветы, набора грубых, непристойных выходок по адресу нашего самого великого и самого любимого национального поэта?

Только худший враг России способен на такое творчество. И, с этой точки зрения, — он метко целится: что останется от нашей литературы, если дискредитировать имя того, о ком давно известно, что он — "наше все"?

На первых порах вздрагиваешь, как от удара хлыстом, и хочется воскликнуть: "Позвольте! Вы ничего не поняли; это совсем, совсем не так!"; ну а потом и желание проходит, потому что чувствуешь: отлично сочинитель сознает, что вся эта чушь, все эти его взвизги дурным голосом построены на подтасовках и плутнях.

Просто он усвоил эту манеру в расчете на скандальный успех. Но ничего, кроме раздражения и отвращения, сей опус не вызовет.

Можно бы предложить и иное объяснение для поведения Синявского. В СССР он привык высмеивать общепринятые ценности, издеваться вкупе надо всем, что принято почитать. К несчастью, он перенес тот же метод и на Запад. Приемы ошельмования Пушкина, практикуемые Синявским, грубы и однообразны: да они даже и не новы для тех, кто читал его пасквиль на Гоголя. Вместо аргументов — везде потуги снизить образ Пушкина путем употребления о нем совершенно неподходящих выражений, вроде — в применении к его лицейским годам — "пятнадцатилетний пацан" (!). Нам тут вспоминается одна сценка из Алданова, где профессор Черняков предостерегает своего юного племянника, пристрастившегося из бравады вставлять в речь уличные выражения:

— Друг мой, ты, кажется, принимаешь меня за Ваньку-Каина!

Пусть Синявский с нами не объясняется на блатной музыке; мы и вообще-то не обязаны ее разуметь и уж во всяком случае не склонны на ней вести литературоведческие дискуссии!

Он нас преизобильно угощает вывертами в этаком роде: Пушкин писал "лежа на боку"; главные его свойства — "расхлябанность", "шалопайство", "бахвальство", "егозливые прыжки и ужимки", "стриптиз", "пустота", "бессодержа тельность" и пр. Не диво, что Синявский его сравнивает... с болонкой!

Или такие перлы: — "Кто ж соблюдает серьезность с барышнями, один звук которых тянет смеяться и вибрировать всеми членами?" Что это, собственно, за "звук барышень", и что за странные "вибрации"?

И как не поражаться сообщению, что Дон Жуан взялся де "ухаживать одновременно за двумя параллельными девушками"? Какие же существуют на свете "параллельные девушки"? На мало вразумительном языке беседует с нами Абрам Терц; по-русски ли?

Но не смешно, когда он, настойчиво и многократно, глумится над смертью Пушкина: "Мальчишка и погиб по-мальчишески". Другие нассажи не буду и приводить: стыдно за Синявского.

Для него весь смысл великой трагедии, непоправимой для России потери, сводится вот к чему: "ну а все-таки, положа руку на сердце, дала или не дала?... целовалась или не целовалась Наталья Николаевна с прекрасным кавалергардом..."

Впрочем, оно и закономерно. Ибо Пушкин Синявского — не подлинный Пушкин, а тот, который существует, как автор сам и уточняет, для "гривуазных тварей низшей породы".

Конечно, наряду с историческим, реальным поэтом, у каждого из нас есть свой его образ; вот написала же Марина Цветаева о "своем Пушкине". Но то был

Пушкин глубокий и прекрасный... Синявский же, натурально, построил себе Пушкина по образу и подобию своему; ну и вышло, что: у Пушкина "нехватает своей начинки", что для него типичны "пустота", "бессодержательность", что "Пушкин был достаточно пуст".

Пушкин-то едва ли; а вот Синявский — да. Ведь, по правде говоря, его собственные литературные произведения ничего дельного в себе не содержат, — вопреки когда-то создававшемуся вокруг них шуму.

Когда автор утверждает, будто Пушкин был "склонен в обществе к нелозволенным жестам", хочется спросить: а как назвать жест которым является выпуск в свет данной книжки?

Немудрено, что в поисках единомышленников Синявский только и нашел. что сослаться на ограниченного Энгельгардта; да и тот вель сулил не о великом поэте, как мы его знаем, а о мальчике, только начинавшем писать стихи.

Аргументация у Синявского всегда никчемная, сводящаяся к скверным каламбурам. Выражаясь его же языком, он пробует "пришить" Пушкину некрофилию, как пытался пришить ее и Гоголю. Доводы его, конечію, не выдерживают никакой критики. Он обвиняет Пушкина, что у того много трупов, а встречаются и привидения. Но если сравнить с любым другим писателем, в разных жанрах, то мы увидим, что у тех еще больше или столько же: у Шекспира, Гейне, Манцони, Сенкевича, Виктора Гюго, Александра Дюма, или у Жуковского, Лермонтова, Некрасова, А.К. Толстого и т.д.

По мнению Синявского, у Пушкина было "поверхностьюе образование". Неужто же Синявский образован лучше? Сомнительно.

Хотелось бы, для равновесия, хоть что-то сказать в зашиту разбирасмой книжки. Но мало что найдешь... Ну, вот о негритянском происхождении поэта сказано несколько довольно метких слов... Или, вернее, они представляются таковыми, плавая в море нелепой, беспардонной, развязной — и, самое хулшес. — злобной и клеветнической чепухи.

Если на *таком* уровне А. Синявский читает лекции студентам Сорбонны – печальные должны быть результаты... если не катастрофические.

Владимир Рудинский

Вячеслав Иванов. Собрание сочинений. Том II-ой. Под релакцией Д.В. Иванова и О. Дешарт. С введением и примечаниями О. Дешарт. Брюссель, 1974 стр. 852.

Недостаток классического образования помещает многим (включая меня) понять литературное наследство Вячеслава Иванова. Всё же, и тенерь немало ученых эллинистов и романистов, которые смогли бы разъяснить классику В.И. Но не все филологи понимают поэзию, а В.И., при всей учености, был, прежде всего, поэт. Еще кос-что может помещать читателям: не столько герметизм, сколько книжность, отвлеченность поэтического языка В.И.

Мне посчастливилось побывать на озере Неми около Рима. Это "зеркало Венеры", как его называли римляне, В.И. дважды воспел, по в его поэзии я этого

озера не увидел. Возражаю самому себе: вероятно, В.И. изобразил не реальную видимость Неми, а "реальнейшую" его сущность (здесь я пользуюсь терминологией В.И.). Вообще, стоит потрудиться, стоит вчитаться в стихи сборника Сог Ardens (Пламенеющее сердце в переводе В.И.), который включен в эту книгу. Сколько динамики в этой алгебре страсти:

Люблю тебя, любовью требуя,

И верой требуя, любя.

Непривычные для современного читателя стихи В.И. несомнено могут быть усвоены и могут восхищать вопреки нашим предубеждениям. Бердяев говорил: у В.И. больше культуры, чем натуры, а Гумилева расхолаживала в Пламенеющем сердце "однообразная напряженность". Что и говорить: В.И. был перегружен культурой, но его сердце иногда разгоралось. Пламенна, взрывчата его вакхическая Мэпада: и, по отзывам современников, он изумительно читал этот гимн. Взрывчат и его Эрос:

Виясь, ползешь ко мне на грудь — Из уст в уста передохнуть Свой яд бесовств и порчь.

Более предметны другие его стихи, не включенные в этот том: автобиографическая поэма *Младенчество* и римские сонеты 20-30-х г.г. Но есть образность и в некоторых стихах *Пламенеющего сердца*: Дверь, как бельмо, бела... Или: Ты тела вес воздушный оперла (Мне на ладонь...)

В книге две трагедии В.И. — Тантал и Прометей, а также неоконченные драматические произведения. В драмах В.И. пересматривает и по-своему истолковывает древне-греческие мифы. Его мятежный Прометей призывает покорствовать не богам а "Бессмертному в себе". Это теургия: свободное религиозное действо. Драматургию В.И. (как и стихи) проясняют многие его статьи в этой книге (Игры Мельпомены или О существе трагедии).. В.И. мечтал о возрождении трагедий, мистерий, в которых принимали бы участие и зрители. Мечтал о новой хоровой культуре, о новой органической соборности. Но соборность он понимал иначе, чем славянофилы. В.И. жил предчувствием эпохи, в которой "хоровой голос будет подлинным референдумом воли народной". весь народ образует "единомысленное множество" В.И. хотелось преодолеть осуждаемый им безответственный индивидуализм интеллектуалов, ту дезинтеграцию современного общества, которое все более разлагается в нашем мире. В этом смысле В.И. до сих пор остается современником. Увы, муза истории Клио жестоко посмеялась над его утопическими чаяними. Гнусный тоталитаризм, советский или нацистский, оказался злой пародией одухотворенной хоровой культурой В.И. Не будем клясть одну Клио. Видно, В.И. не удалось создать жизнеспособный миф. А оправдание его в том, что человеку всегда снились облагораживающие "золотые сны". Или — в измерении прошлого (в античном мире). Или — в измерении будушего. Это национальный мессианизм Ветхого Завета, который раскрылся в универсальном мессианизме Нового Завета. Был и русский мессианизм: его кульминация — Достоевский. Ему В.И. был многим обязан и написал замечательную книгу о его романах-трагедиях. Но В.И. не русский мессианист: он был в равной степени

человеком и Востока и Запада. В эмиграции перешел в католичество, но но существу оставался православным.

Бердяеву (и не ему одному) казалось, что В.И. иногда путает Христа и Диониса, даже как-то их отождествляет. Это недоразумение убедительно опровергает О.А. Дешарт в своих комментариях. Об этом же писал и Ф.А. Степун (во Встречах). Дионис был космический страдающий бог, не знающий жалости, не спасающий, как Богочеловек. Это В.И. хорошо знал. Почему же он тогда тянулся к Дионису? Для него весь античный мир был вторым — античным Ветхим Заветом по отношению к Новому Завету, который предчувствовался в вакхических или орфических мистериях. Но было и другое. В.И., как и близкий ему Вл. Соловьев, думал, ощущал, что космос, природа как-то полностью не раскрылись в христианском мире. Не поэтому ли (отчасти нод влиянием Ницше) В.И. и влекся к Дионису, как до него Вл. Соловьев (и позднее о. Павел Флоренский и о. Сергий Булгаков) влеклись к Софин — "душе мира" или Божьему замыслу о мире. Если это и соблазн, то поучительный. Вообще: надлежит быть и ересям, которые иногда многое проясняют. Между тем, разве не космично православное пасхальное ликование (раскрывшееся R поэзии Мандельштама)? Эта христианская радость остается реальностью и вне нашего светского искусства и до сих пор одушевляет православие.

В.И. (по воспоминаниям О.А. Дешарт) не переносил кошунств против христианства. Он резко осудил А.М. Ремизова за какую-то его причудливую шутку, порочащую христианство, а Блока за его двусмысленное *Благовещение* и, в особенности, за привидившегося ему Христа в эпилоге *Двенадцетии*. В *Пламенеющем сердце* звучат (но не доминируют) и христианские мотивы. Есть гимн Воскресшему Христу, но — холодный, какой-то официальный. Вакхические стихи В.И. полнозвучнее. Всё же, повторяю, Христа и Диониса он не отождествлял.

Едва ли можно назвать В.И. декадентом. Есть строгость в его философии символов. Он отмежевывался от субъективного и, при этом, зачастую декадентского символизма. В.И. утверждал "реалистический символизм", который стремится угадать и раскрыть в нашей земной яви высшую реальность. Французские символисты, за исключением католического Поля Клоделя, казались поверхностными. Он ценил творчество русских (Мережковского, Анненского, Брюсова, а также Блока) и со многими дружил, но и их укорял за поверхностность, за безответственный индивидуализм. Всё же, В.И. признавал: в их творчестве чувствуется "смутное воспоминание о священной лирике жрецов и теургов" Сам В.И. хотел быть и жрецом и теургом, но остался непонятым. Его высокий замысел хоровой культуры не осуществился. Эллинские мистагоги во что-то верили. Еще сильнее была вера в средние века. тоже привлекавшие В.И. Культура этих эпох и была отчасти хоровой в вячеславоивановском смысле. Пламенно верил и Достоевский — поистине новый пророк, совестный судья своего и нашего времени. А у В.И. не было ни античной ни средневековой, ни "достоевской" веры. В этом смысле — он сын нашей эпохи. Может быть, некоторые замыслы В.И. и осуществятся. Многое он только наметил, напр., в дневниках, где не яснее, чем в статьах, говорил о религиозоном действии — теургии. "Если ты видишь убивающего, узнай в нем Бога страдающего (...) и взглядом своим прекрати убийство (...) Если ты видишь страдающего неизлечимым недугом, узнай в нем бога страдающего и излечи недуг, взяв его на себя (...) Так станешь ты теургом", т.е. религиозным творцом жизни. Можетбыть, лучше и понятнее сказать: так станешь ты святым; и именно этого всегда хотела христианская Церковь (почти всех вероисповеданий).

Из Автобиографического письма 1917 г. мы узнаем, что в гимназические годы В. И., как многие юноши 70-80х г.г., был атеистом (но недолго). Пытался нокончить с собой. Знал отчаяние и еще не был тем умиротворяющим В.И., которого мы знаем по мпогим воспоминаниям. Заметим: это его качество не всеми ценилось. Берляев, Блок или Белый укоряли его за неприемлемое для них "соглашательство", за легко достигаемые синтезы. Не будем входить в эти споры... Но заметим: сколько угловатости, непримиримости было в т.п. максимализме русской предреволюционной жизни, уже поэтому нужно пенить В.И., пусть и неудачного миротворца.

А из дневников В.И. 1908 г. мы узнаем о некоторых странных событиях в его жены, Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал. смерти скончавшейся осенью 1907 г. от скарлатины. Она ему часто являлась. Он слышал ее загробный голос и писал под ее диктовку измененным почерком (как медиум). Л.Д. требовала, чтобы он женился на своей падчерине Вере Шварсалоп (ее жочери от первого брака): "Отец дает воскресение в теле мне. Отец волит твоего воскресения в Духе. Дар тебе дочь моя..." Позднее В.И. на Вере женился. Именно в это тяжелое для В.И. время на его "башне" жила загадочная А.Р. Минилова, прислапная в Россию каким-то тайным обществом (антропософами или розенкрейцерами). Берляев и Е.К. Герцык в своих воспоминациях говорят о ее гипнотических способностях. Ей было поручено обратить выдающихся русских интеллектуалов. В.И. в годы после смерти Л.Д. был в ее ауре. Все же, Минцлоной никого обратить не удалось и В.И. с ней разошелся. В 1910 г. она бесследно исчезла из России. Как бы то ни было, В.И. был песомненно очень счастлив в браке и с Л.Д., своей Диотимой, как он ее называл, и с ее дочерью. В книге помещены ценные семейные снимки. Есть и фотография нетербургской "бании" В.И. Это причудливое здание т.п. "нового стиля".

Бердяев, часто с В.И. споривший, дает эту очень верную общую характеристику своего постоянного собеседника и совопросника: "Вячеслав Иванов один из самых замечательных людей той, богатой талантами, эпохи. Было что-то неожиданное в том, что человек такой необыкновенной утонченности, такой универсальной культуры народился в России. Русский XIX век не знал таких людей". (Самопознание, 166).

Юрий Иваск

## В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛИ КНИГИ

# РОМАНА ГУЛЯ: «ОДВУКОНЬ»

Советская и эмигрантская литература. Нью Иорк. 1973 (322 стр.) Цена 6 долларов

## «АЗЕФ»

Исторический роман.
Издание 4-е исправленное
Иью Иорк. 1974 (319 стр.) Цена 6 долларов

# «ДЗЕРЖИНСКИЙ»

(Начало террора) Издание 2-е исправленное Нью Иорк. 1974 (160 стр.) Цена 4 доллара

## «БАКУНИН»

Историческая хроника
Изд. 3-е. Нью Иорк, 1974 (208 стр.) Цена 6 долларов

## «КОНЬ РЫЖИЙ»

Автобиография, 2-е издание Нью Иорк. 1975 (288 стр.) 11 фотографий. Цена 6 долл.

# «СОЛЖЕНИЦЫН»

Статьи

Нью Иорк. 1976, (96 стр.) Цена 4 долл.

# «КОТОВСКИЙ»

Анархист-Маршал

Изд. 2-е. Нью Иорк. 1976. (66 стр.) Цена 2 долл. 50 ц. Все эти книги можно заказывать в редакции «НОВОГО ЖУРНАЛА»

и во всех русских книжных магазинах.

# НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ, Л. РЖЕВСКОГО

тридцать пятый год издания

В 1976 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена на 1976 год 20 долларов (за 4 книги)

> Цена одной книги — 6 долларов Во Франции — 20 франков

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня